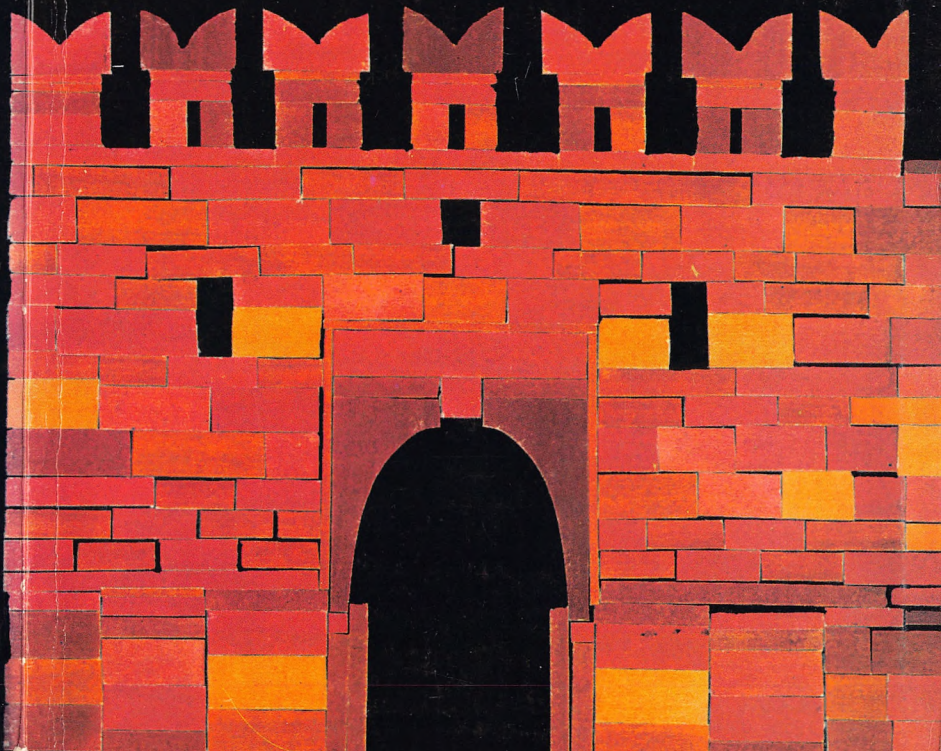
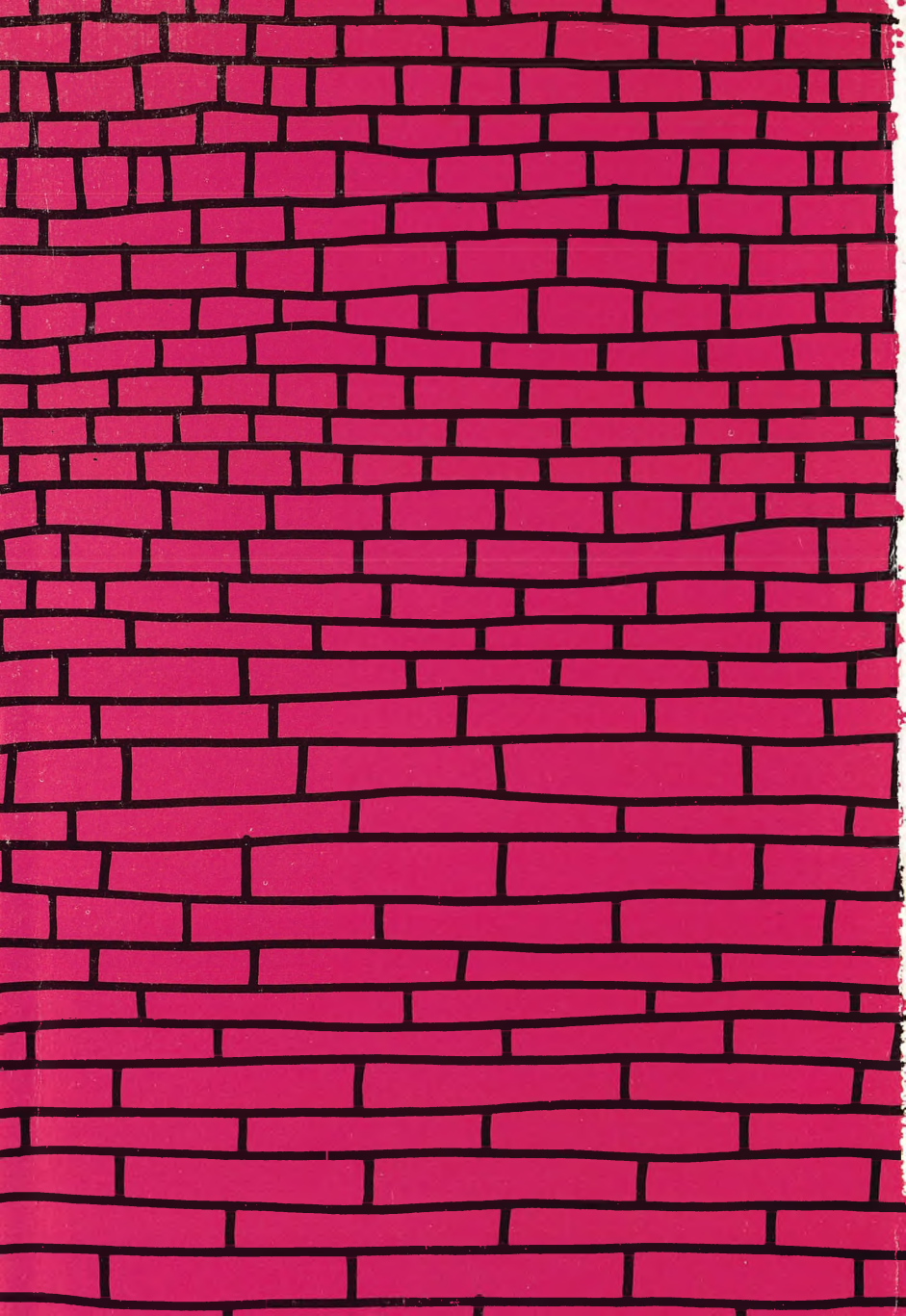


ПЕРЕКРЕСТОК
ЦОМЕТ

1994 РОССИЯ

ИЗРАИЛЬ 5754





ПЕРЕКРЕСТОК

Ц О М Е Т

ЛИТЕРАТУРНЫЙ АЛЬМАНАХ

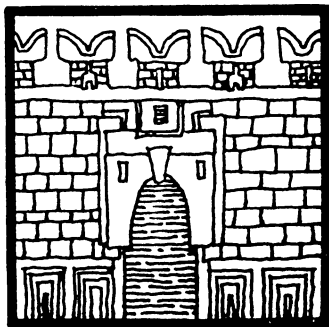
ВЫПУСК ПЕРВЫЙ

Главный редактор
Леонид Гомберг (Израиль)

Соредактор
Рада Полищук (Россия)

Составители выпуска:
Марк Котлярский (Израиль)
Рада Полищук

Художник
Марат Закиров (Россия)



Тель-Авив Москва
5754 1994

Альманах «Перекресток - Цомет» издается совместно
независимыми литераторами Израиля и России.
Произведения печатаются в авторской редакции.
Авторские права на произведения, опубликованные в альманахе,
принадлежат авторам.
Часть тиража этого выпуска распространяется в Израиле, часть – в России.

Альманах выпускается при участии фирмы

Ивоя Кассеров и Ко.

П 27 Перекресток – Цомет: Литературный альманах. Вып. 1. –
Тель-Авив – Москва, 1994. – 304 с.

ISBN 5-86225-033-6

В первый выпуск альманаха «ПЕРЕКРЕСТОК – ЦОМЕТ» вошли произведения московских литераторов, ныне живущих в Москве, и тех, кто по тем или иным причинам покинул Россию, избрав местом проживания Израиль. Это проза, поэзия, публицистика, воспоминания, написанные в разное время и по разным поводам.

П $\frac{4702010000-12}{335(03)-94}$ Без объявл.

ББК 84 (2 Рос-рус) 6

П $\frac{4702010000-12}{335(03)-94}$ Без объявл.

ISBN 5-86225-033-6

- © Составление и название
Литературный альманах «Перекресток – Цомет», 1994
Россия, 125015, Москва, Бутырская ул., д.53/63, кв.43
Р.Е.Полищук
St.Ben-Zion Israel 19-13, 59621 Bat-Yam, Israel,
Leonid Gomberg
- © Оформление Марата Закирова

СОДЕРЖАНИЕ

Россия

ПРОЗА

Лев Разгон

Ерушалаим (из книги «Позавчера и сегодня»)

6

Рада Полищук

Сумасшедшая

15

Кирилл Ковальджи

Маленький сверхчеловек

(из романа «Лиманские истории»)

28

Асар Эппель

Одинокая душа Семен

39

Алексей Андреев

Театр марионеток

55

ПОЭЗИЯ

Юрий Левитанский

Разные времена

70

Надежда Григорьева

Дом на берегу вселенной

87

Булат Окуджава

Новые стихи

94

Александр Иванов

Выход из положения

106

ОЧЕРКИ, ЭССЕ, ВОСПОМИНАНИЯ

Юлий Крелин

Города без предместий в Израиле

114

Семен Коган (Молдова)

На то она и война...

130

ПЕРЕКРЕСТОК – ЦОМЕТ

Да будет свет на перекрестке

*

ПРОЗА

Лев РАЗГОН
Рада ПОЛИЩУК
Кирилл КОВАЛЬДЖИ
Асар ЭППЕЛЬ
Алексей АНДРЕЕВ

ЕРУШАЛАИМ

(из книги «Позавчера и сегодня»)

Гило. Так называется район, где я живу. Он несколько напоминает небольшие южноевропейские города, какие мне пришлось видеть. Дома, облицованные белым камнем; дворы, заросшие цветами; гладкий, блестящий чистотой асфальт мостовых; длинноногие девицы и мужественные ковбои на рекламных новых американских фильмах; изящные и комфортные автобусные остановки.

Так мне показалось в первые дни после приезда. Но в первый же раз, когда я вышел в скверик напротив дома, сел на скамейку и огляделся, я быстро понял, что ошибаюсь, настолько не похож этот город ни на один мною когда-либо виденный. И никогда и нигде я такой город не увижу. Гило – самая верхняя точка города. И передо мною во всю полуокружность горизонта раскрывается его панорама: белоснежные районы на холмах. Половину этой панорамы занимает беспорядочное скопление зданий, храмов, башен. Я различаю знакомые по книгам, буклетам, рассказам золотой купол знаменитой мечети, башни старого города, небоскребы фешенебельных стилей.

И все вокруг, если взглядеться, – не европейское, совершенно другое, непохожее. Два одинаковых, абсолютно круглых – как шатры – железобетонных дома. В одном – синагога, в другом – Миква – бассейн для ритуальных омовений. А под стандартными кинорекламами подписи на незнакомом языке, незнакомым алфавитом, ничего общего не имеющим ни с латинским, ни с кириллицей, ни с арабской вязью. Хотя начертание этих букв мне знакомо с детства. Знал я с

первых лет моей жизни и название этого города, произносимое в традиционном пожелании в конце праздничного застолья: «Ибер аер ин Ерушалаим» – «Через год в Иерусалиме». В Иерусалиме я оказался, однако, не через год и не через два, а когда мне исполнилось восемьдесят четыре года.

Я – в Иерусалиме. Ерушалаиме. Том самом. И холм, где я нахожусь, и другие, на которых видны россыпи белых домов, – это иудейские холмы из Библии, Евангелия, прозы Фейхтвангера, Манна, Булгакова, стихов Пастернака и других великих поэтов. Здесь как бы все знакомо. И все – совершенно незнакомо. И непонятно. Сквер, где стоит моя скамейка, еще молодой. Здесь отцветает миндаль, трепещут на ветру молодые оливы, густо усыпанные лиловыми цветами деревьев, которые мы в Крыму почему-то называли «иудиними». По каменистой земле вьются резиновые шланги капельного орошения, и невысокая, но густая трава свидетельствует об эффективности этого чудо-изобретения.

Напротив сквера улица. Почти европейская улица. К обочинам припаркованы новенькие автомобили самых популярных европейских, американских и японских марок. Такие же машины с легким шорохом проносятся мимо меня. И сквер – как в итальянском или греческом городе. Но тут пасется стадо овец. Большие, белогрязные, длинношерстные, они, не пугаясь машин, щиплют траву, тычутся мне в ноги своими задумчивыми мордочками. Их пастух-араб (в джинсах, но в традиционной платке на голове) прислонился к дереву и равнодушно рассматривает знакомую, совсем не деревенскую улицу. А деревня его позади меня, позади сквера. Она в лощине, видна как на ладони и так и называется: арабская деревня. Хотя ничего деревенского в ней нет. Такой же, только поменьше, микрорайон из красивых облицованных камнем домов. Дома разные: и многоэтажные, и рассчитанные на несколько квартир, и виллы. Внизу, на первом этаже, – гаражи, магазинчики. Тоненький минарет новой мечети. Европейский район и арабская деревня – все это один город: Иерусалим. Но они существуют, как вода и масло в одном сосуде, не сливаясь друг с другом, совершенно раздельно. Мне еще предстоит понять, почему это так...

Чтобы подумать об этом, а также о другом, одолевавшем меня, я и выхожу почти каждый день в этот сквер, сажусь на удобную, провинциально-деревянную скамейку. И начинаю приводить в порядок накопившиеся впечатления. Их много. Я ехал в Иерусалим к своим близким, в семью брата, умершего год назад, и думал спокойно отдохнуть в великом знакомом и незнакомом городе.

Но спокойствия не получилось. За несколько месяцев до этого одна из популярнейших газет на русском языке ежедневно, подва-

лами, печатала мою автобиографическую книгу «Непридуманное». Мне это не дало ни одного шекеля, но обрушило на меня вихрь телефонных разговоров, неожиданных встреч и нахлынувших воспоминаний. Я встречался с бывшими диссидентами и бывшими партийными работниками с ритуальной кипой на лысеющей голове. Из далеких (по здешним масштабам) поселений мне звонили мои «корешки». С одним я был в Устьвымлаге, с другим в Усольяге... Меня разыскал старый, с одышкой, грузный человек, в котором я с великим трудом узнал мальчика, жившего по соседству в деревянном доме на Оршанской улице в Горках, маленьком городке в «черте оседлости» Могилевщины. Городе, где я родился и провел первое десятилетие своей жизни. С Додей Хаитом нам было что вспомнить, о чем повздыхать, о чем задуматься. Городу моего детства я обязан и другой поразившей меня встречей: она была предметом многих размышлений и тогда, в жарком Иерусалиме, и теперь, в холодной дождливой Москве.

Среди множества телефонных звонков этот был одним из самых неожиданных. Молодой, очень русский голос сообщил мне, что со мной говорит переводчик по просьбе генерала... и он назвал мне фамилию, мгновенно мною забытую. Из газет генерал узнал, что я земляк его родителей. И он обязательно хочет со мной встретиться, могу ли я – и так далее... Конечно! Я немного разволновался. Израильский генерал с горечками корнями – я ощутил даже некую гордость...

Но прошло несколько дней, переводчик не звонил, и я уже перестал надеяться, что пощекочу свое провинциальное самолюбие знакомством с генералом – полувыходцем из Горок. Но однажды раздался звонок в дверь, и я услышал, как моя золовка – москвичка Зоя безуспешно пытается объясниться с каким-то господином, очевидно, владеющим только ивритом. Я услышал свою фамилию, понял, что речь идет обо мне, и поспешил ей на помощь. Не понимая ни одного слова и не зная, кто передо мною, я догадался, что это тот самый генерал... Он был точно таким, каким по моим представлениям должен быть израильтянин, добившийся в долгих кровопролитных боях такого редкого в этой стране звания. Он был высокий, поджарый, мужественный и моложавый, несмотря на немолодые годы. Я мало чем мог помочь моей милой родственнице, но знаком пригласил его войти. После того как он спросил «Ду ю спик инглиш?», а я на чистейшем английском ему ответил «Ноу», он вдруг задал мне тот же вопрос на идиш... Знаю ли я идиш? Действительно, знаю ли я язык, который был для меня родным в детстве, на котором со мной разговаривали мама и почти все мои друзья?

Знаю ли я идиш? Ведь я еврей и еврейский был некогда моим родным языком. Я говорю «еврейский», потому что слово «идиш» в переводе на русский означает «еврейский» и потому, что другого еврейского языка мы не знали. Древнееврейский язык «лошенкейдеш» существовал только для молитв, которым мы были не очень привержены. Но я знал еврейский язык! Я знал все его тонкости, словечки, непристойности, песни... По вечерам мама нам читала Шолом Алейхема, Переца, Менделе Мойхен-Сфорима, она нам читала стихи, и после ее смерти я узнал, что некоторые из них были ее собственными...

А потом этот родной язык стал вытесняться другим, ставшим тоже родным, еще более родным, – русским. Нет, я не разлюбил свой первый родной язык, я по-прежнему любил еврейские песни, я не пропускал ни одного спектакля в Еврейском Камерном театре, я с удовольствием ввертывал в речь еврейские пословицы и поговорки. Но постепенно он перестал быть моим языком, я говорил и со мной говорили только на русском. И даже мама говорила со мной по-русски, и писать она научилась по-русски, чтобы переписываться с двумя сыновьями, обитавшими на далеких островах ГУЛАГа.

Я не забыл идиш, не перестал его понимать, я по-прежнему знал его настолько, чтобы получать удовольствие от игры Михоэlsa и Зускина. Но беспомощно улыбался и отвечал по-русски, когда ко мне обращались по-еврейски.

Зимой тридцать девятого года на 3-й штрафной командировке нашего лагпункта ко мне подошел немолодой и достаточно потрепанный лагерем еврей. Он заговорил со мной по-еврейски. Я ему ответил, конечно, по-русски: Мой собеседник покачал головой.

– Нет, пожалуйста, – настаивал он. – Я прошу вас говорить со мной по-еврейски.

– Но я не умею. Я только понимаю. Почти все понимаю.

– Вспоминайте. Говорите, как умеете. Вы – единственный, с кем я могу здесь разговаривать на своем языке. Доставьте мне такую радость!

Как было отказать товарищу по штрафной командировке! И я стал с ним говорить по-еврейски. Запинаясь, подолгу вспоминая слова. Мой собеседник терпеливо ждал, очень редко подсказывал. У лагерного костра мы садились рядом, и он мне рассказывал про свою незадачливую жизнь минского еврея. Он был ко мне внимателен, добр и однажды, недели через две после нашего знакомства, сказал:

– Вы даже не замечаете, что уже свободно говорите со мной по-еврейски!

Я действительно понял это лишь после его слов. И мне захотелось перед ним похвастаться: не просто с ним беседовать, а рассказывать о прочитанных книгах, петь ему песни моего детства, вспоминать Пурим и Хануку... Но не успел. Меня скрутил скорбунт, полуживого меня увезли на головной лагпункт. Болезнь, розыски жены на неведомых лагпунктах Устьвымлага, известие о ее смерти, ежедневная борьба за выживание – все это оторвало меня от человека, вернувшего мне мой первый родной язык. И я не знаю его судьбы, не помню его имени... И вот только сейчас, более чем через полвека, сидя перед генералом и выдавливая из себя забытые слова, я вспомнил, как однажды воскресал во мне еврейский язык, который здесь, в Израиле, никто не называет еврейским.

Не сразу догадался я, что идиш для моего собеседника никогда не был родным языком, скорее более чужим и трудным, нежели арабский, нежели английский. Мы оба напоминали людей, пытающихся объясниться на языке, полужнакомом обоим. Но объяснились, но поняли друг друга. Я уж, во всяком случае, понял всю необычность разыскавшего меня человека.

С большой натяжкой мог я считать его своим земляком. Он родился не в Горках, а здесь в Иерусалиме в 1920 году. А вот родители его были горьцами, они родились и жили в Горках, пока в 1919 году не уехали в Палестину. Очевидно, не только разорение и принадлежность к преследуемому классу погнало их не в ближнюю Европу и не в богатую и наполненную соплеменниками Америку, а в далекую, малоизвестную и нищую Палестину. Они еще были неофитами-сионистами и ехали в Эрец-Исраэль – на Святую землю своих библейских предков. Тогда еще не было современного иврита, для них бытовым и единственным языком был лошен-кейдеш, в их доме никогда не звучал не только русский язык, но и идиш. И, как это было принято у первых сионистов, они и свою, с немецким привкусом фамилию, сменили на другую – библейскую.

– Гиндеман была их фамилия, – сказал мне потомок горьцев евреев.

Гиндеманы... А я ведь знал, помнил эту фамилию; она была достаточно известна в нашем маленьком городке. Гиндеманы были богатыми людьми не только по масштабам нашего города. Это были торговцы мануфактурой, у них на Дворянской улице были большой богатый дом и собственные места в самой привилегированной синагоге на Синагогальной площади.

Но что от меня хочет их сын? Ради чего он разыскивал и разыскал чужого человека из чужой страны, родившегося в чужом ему городе? Его объяснение удивило и тронуло меня. Он чувствует себя обязанным показать своим детям человека, родившегося в том

городе, где родились и жили их предки, где находятся корни их рода... Он просит меня поехать с ним, чтобы познакомиться с его детьми. Я был несколько растерян. Через час за мной должен был приехать мой друг Игорь Губерман и мне предстояла давно запланированная и приятная встреча.

– Через час я вас привезу сюда, – сказал мне генерал.

Мы спустились вниз, генерал сел за руль своего «мерседеса», и мы покатались в сторону той, далекой панорамы центра Иерусалима.

– Я живу в Старом городе, – сказал генерал.

Это уж было совсем интересно. В Старом городе я успел побывать несколько раз. Маленький, но кажущийся огромным из-за смещения улиц, переулков, закоулков, тупиков, храмов всех христианских конфессий, мечетей, синагог, лавок и лавочек, восточных базаров. Как почти во всех городах Европы, разложив товар на земле, продают свою нехитрую бижутерию негры. Расталкивая друг друга, движутся в разных направлениях немецкие туристы в шортах, арабы в белоснежных бурнусах, ортодоксальные евреи в строгих черных костюмах, с котелками на голове, а то и в лапсердаках и круглых меховых шапках – штромеле. Я, конечно, знаю, что в этом необыкновенном городе живут и обычные люди. Об этом легко догадаться, потому что на свободных пяточках – как во всем мире – расчертили классики и играют дети, не пришлые, свои, живущие здесь.

Мы въезжаем через Яффские ворота, протискиваемся через узенькие улицы и крошечные площади и останавливаемся на небольшой стоянке. (Очевидно, она предназначена только для жильцов этого города и, судя по маркам машин, живут здесь не растерянные олим¹, недавно прибывшие в страну, и даже не обустроившиеся ватиким², считающиеся почти коренными жителями, ибо приехали сюда 12 – 15 лет назад.) Наверное, чтобы жить тут, надобно пребывать в каком-то другом, более высоком качестве. Старый город поделен на четыре квартала: христианский, армяно-христианский, мусульманский и еврейский. Мой спутник ведет меня по узеньким – разминуться трудно – извилистым улочкам еврейского квартала, останавливается у одной из дверей, открывает ее и пропускает меня вперед.

Квартира столь же необыкновенна, столь же поражает, как и весь этот город. Покрытый коврами пол из больших, отполированных временем каменных плит, сводчатые потолки, каменные винтообразные лестницы, комнаты на разных уровнях – настоящий восточный, очевидно, арабский дом.

¹ Олим – новые репатрианты.

² Ватиким – репатрианты-старожилы.

– Дому триста лет, – объясняет мне генерал. – Как и все дома в еврейском квартале, он был разрушен арабами во время Войны за независимость. А потом, когда мы в шестьдесят седьмом году освободили Иерусалим, дома здесь были восстановлены, я получил эту квартиру и живу в ней вот уже двадцать лет.

Он участвовал в самом кровавом сражении Шестидневной войны – сражении за Старый город, он и получил квартиру здесь. Мы проходим мимо множества помещений разного назначения: зал, столовая; жилые комнаты. Все тут восточное: стены, диваны, низенькие столики, пуфы, ковры. Только кабинет хозяина – совершенно европейского вида: книжные шкафы до потолка, видеотехника, компьютер, ксерокс, огромный письменный стол, на нем рукописи и книги на иврите и английском.

А потом начинается самое поразительное. В кабинет приходит жена генерала, высокая, стройная и очень красивая женщина. Наверное, не ашкенази – не европейка. Красота ее – сефардская: Испания, Португалия, страны Магриба... На вид ей не больше сорока лет, она когда-то работала с приезжими олим и немножко знает русский. И мне объясняет: у них семеро детей – пять мальчиков и две девочки. У старшего уже была «бармицва»¹ – ему 13 лет, самому младшему полтора года. Они стоят рядом – семидесятидвухлетний муж и сорокалетняя жена – оживленные, красивые, я восхищенно смотрю на них, и мне кажется, что вот в таких-то и выражено прошлое и будущее этого государства.

А потом мать приводит в кабинет всех своих детей. Они обступают нас и все – от долговязого подростка до маленькой девочки – внимательно смотрят на меня. И столь же внимательно слушают отца. Мне, конечно, непонятна его речь, я могу только догадываться, что он им рассказывает о своих родителях, об их предках, о далекой северной стране, где они жили и откуда через сотни лет, через много поколений вернулись на свою Святую землю. А потом, по старшинству, каждый генеральский ребенок подходит ко мне и протягивает руку. И каждому отец что-то говорит, показывая на меня. Дети смотрят на меня с напряженным вниманием, может быть, с почтением или волнением. И, выслушав отца, снова протягивают мне руку. Я растерянно и осторожно пожимаю эти детские, нежные, в цыпках и ссадинах, ручонки. Потом генерал берет у жены самого маленького, сосредоточенно меня разглядывающего младенца, и я неловко глажу его пушистую беленькую (да, беленькую!) головку.

¹ Бармицва – иудейский ритуальный обряд для мальчиков, достигших тринадцатилетнего возраста.

Я растерян и взволнован, и глаза мои полны слез от этой мне еще не понятной церемонии. Что это? Знакомство, благословение? В каком качестве я выступаю перед этими детьми, которые должны меня запомнить? Кто я для них? Все это проносится в моей голове, пока я торопливо отказываюсь от угощения, пока генерал записывает мне свой адрес, телефон, пока я прощаюсь с библейски красивой и библейски богатой хозяйкой этого почти библейского дома. И в машине, везущей меня домой, не могу отделаться от этих мыслей и вполслуха слушаю, как мой новый и не совсем обыкновенный знакомый объясняет мне, что я обязательно должен снова приехать на нашу общую Святую землю, приехать к нему, чтобы он смог мне показать всю страну, отвоеванную у истории такими людьми, как его родители...

Эта скамейка – такая простая, провинциальная, совсем горькая – была главным местом, где я пытался привести в порядок мои новые, волнующие, трогательные и раздражающие впечатления. После поездки в Старый город к израильскому генералу я на своей скамейке часами думал о генерале и о себе, о Горках и Иерусалиме. Что для него и для меня значил далекий и мало кому известный город – место моего рождения? Что нас с ним соединяло? Еврейство? Но Гиндеманы уехали из своего родного города в далекую страну именно в поисках еврейства. И еврейское прошлое, настоящее и будущее для генерала и его детей существовало не в старой России, а только здесь, в Израиле.

А для меня? Что для меня значили Горки? Около восьми тысяч жителей, пять церквей, семь синагог, три школы, один кинотеатр «Иллюзион»... Когда еще существовало наше родовое гнездо на Большой Ордынке – одна большая комната, где жила вся наша семья, – мы вспоминали город, откуда мы вышли, только в те часы, когда приходили в гости земляки и родственники, когда застолье перебивалось смешными воспоминаниями, расспросами об общих знакомых и друзьях горьковского происхождения. Этим знакомых и друзей становилось все меньше и меньше, расселялась наша большая семья, утончались и рвались связи с земляками, у каждого из нас появлялась своя самостоятельная судьба, в которой уже не было места воспоминаниям. Стали москвичами, ленинградцами, харьковчанами, уральцами и сибиряками те, с кем в Горках дружил, играл, учился... Воспоминания о Горках и горьковских расплывались, тускнели и постепенно исчезали, вытесняемые другими, более важными и интересными для меня мыслями, переживаниями.

Я почти никогда не думал об оставшихся в Горках. А там остались – старые тетки, так и не вышедшие замуж, немощные старики, дальние и не очень дальние родственники.

Почему же я вспомнил об этих людях, когда их не стало, после того, как погибли они страшной мученической смертью? И почему я не вспоминал о годах и людях моего детства, когда был благополучным, жил интересной и увлекательной жизнью? И только этот израильский генерал вернул меня к моей давней отчаянной попытке сделать для моего ребенка то, ради чего чужой, родившийся в Палестине человек, разыскал меня и привез к своим детям...

Потому и пишу эту книгу.

СУМАСШЕДШАЯ

Три дня назад совершенно неожиданно умерла сумасшедшая тетя Соня.

Вы скажете – смерть всегда неожиданна. Конечно, конечно. Но тут особый случай.

Во-первых, сумасшедшая тетя Соня была старая-престарая, давно схоронила она всех своих сверстников, а то даже их детей или детей детей, всяко бывало, не одно уж поколение помнит ее старухой, да и сама она не только смирилась со своей старостью, но и тесно сроднилась с ней. Посему ее старость как бы стала синонимом вечности, а где вечность – там и бессмертие.

Во-вторых, тетя Соня уже однажды умирала. Да, да, как это ни смешно, но такое с ней уже случалось. К счастью, в тот раз все обернулось шуткой. Но поскольку все же следует признать, что смерть – не слишком подходящий предлог для шутки, сколь бы ни была благотворительна преследуемая цель, в итоге получился конфуз. Правда, малый конфуз, но это уж исключительно благодаря удивительному характеру сумасшедшей тети Сони.

Незадачливым автором, режиссером и исполнителем провалившейся шутки был Илюшка, самый юный отпрыск по всем четырем родственным ветвям. Интересно, что до поры до времени не только сам Илюшка, но и никто из старших не знал, кем они друг другу доводятся, Илюшка и сумасшедшая тетя Соня. Потому что давным-давно никто не помнил, чья она родственница, да никого, по правде сказать, этот вопрос и не занимал: свыклись с тем, что она есть и без нее не обходится ни один семейный сход, каким бы ни был его повод, и довольно.

А если кто что и помнил, как, например, дядя Гриша-маленький, самый старый после тети Сони родственник, о котором вы

еще узнаете, то по каким-то непонятным причинам вносил полную путаницу, утверждая всякий раз с пеной у рта прямо противоположное тому, что рассказывала тетя Соня.

В общем, разбираться во всем пришлось дотошному Илюшке. И надо сказать, что он с честью справился с этой непростой задачей, проявив изрядную смекалку и упорство, после чего не без некоторого превосходства сообщал всем желающим:

– Все предельно просто: первый муж бабушки моей матери по женской линии вторым браком был женат на своей кузине, бабушке моего отца по мужской линии. А вторая кузина, Соня, состояла в браке (первом из трех) с братом дедушки моей матери по мужской линии. Так что тетя Соня мне двоюродная прабабушка с дополнительными перекрестными связями, возникшими из-за легкомыслия наших предков.

Последнее замечание шло от неточного знания некоторых трагических страниц семейных хроник, но уличить в этом Илюшку было некому, кроме самой сумасшедшей тети Сони. А она счастливо улыбалась, глядя на него влюбленно-восторженным взглядом юной девы, и трепетно прижимала к груди руки, словно придерживая рвущееся на свободу сердце.

Тетя Соня была влюблена в Илюшку. Это ни для кого не было секретом, всех в той или иной степени забавляло и служило неиссякаемым источником вдохновения для корифеев семейной юмористики.

Вы думаете – это оговорка: влюблена. Как же так – старуха, юноша и вдруг влюбленность? Нелепица. Но именно, именно – влюблена. Потому что любила тетя Соня всех: больных и жадных, глупых и самовлюбленных, беспомощных и сильных, здоровых и неудачливых. Всем находилось место в ее сердце, все уживались в нем, примиренные ее любовью. Так что и Илюшка еще до своего появления на свет был обречен на ее любовь, равно как и она на свою любовь к нему.

Разнообразны были истоки ее любви: от иссушающей душу жалости до гордого снисхождения, но традиционна внешняя форма проявления: незванное, незримое соучастие, бессменная вахта милосердия.

Всегда начеку. Авось – да и она пригодится.

Авось – а она уж тут как тут: больного обиходит, за ребенком приглядит, кулебяк напечет, рыбу нафарширует, денег одолжит, а назад не возьмет, невесту обрядит, покойника обмоет, оплатит, родных утешит. Постоит тихонько в уголке, коль снова места за столом не нашлось, погорюет, порадуется со всеми вместе. И душа

успокоится. И уйдет, никто ее не остановит, не окликнет. До следующего авось.

К ней так привыкли, что вроде бы перестали замечать, но, случалось, вдруг один говорил другому:

– Тебя-то тетя Соня обожает, а вот меня не одобряет, нет, не одобряет. А за что, спрашивается?

И слышалось в этом вопросе сквозь привычную насмешливость давнишнее беспокойство, которое нет-нет да заскребется в душе солидного, благополучного и вполне преуспевающего человека. И ночью вдруг проснется и тоскливо делается и страшно, от страха одеяло на голову натянет, но ноет, ноет, как больной зуб, то ли вина какая, то ли предчувствие беды.

А причина-то смехотворная, стыдно признаться самому себе – неявное, невыказанное, каким-то глубинным чутьем угадываемое неодобрение старой сумасшедшей старухи.

Кстати, о сумасшествии тети Сони.

На интересующий Илюшку вопрос: кто, когда и по какому поводу пришпандорил тете Соне этот ярлык, сколь-нибудь вразумительного ответа не было.

Смутно помнили, что в семье было три Сони: Соня-старшая, Соня-графиня и Соня-сумасшедшая. Соня-старшая перед самой войной умерла от туберкулеза, счастливо избежав таким образом страшной участи своих трех сестер, погибших в еврейском гетто со всеми домочадцами, старыми и малыми, за исключением бывших на фронте мужей. Соня-графиня в двадцатые годы, легкомысленно помахав ручкой оставшимся на берегу родичам, вместе со своим мужем, одесским цирюльником по кличке Граф уплыла в далекие края, где и живет поныне, если, конечно, не умерла – то ли в Аргентине, то ли в Америке, точных сведений никто не знает, так как никаких связей с ней, упаси Господи, не поддерживает.

Таким образом, если верить правилу последовательного исключения, получалось, что Соня-сумасшедшая – это сумасшедшая теть Соня.

Но почему сумасшедшая?

На этом месте, с какой бы стороны Илюшка к нему ни приближался, как бы ни перегруппировывал участников своего скрупулезного и хитроумного дознания, какие бы ни устраивал очные ставки или заочные перепроверки, всякий раз натыкался на глубокий провал как единичной памяти отдельного индивида, так и суммарной памяти поколений. Что лишь подтверждало элементарное арифметическое правило: нуль плюс нуль дает нуль.

И ничего более.

Но не такой человек Илюшка, чтоб нулем успокоиться.

Коль дознание зашло в тупик, он решил действовать иначе, исходя из принципа, аналогичного презумпции невиновности: ввиду отсутствия каких-либо доказательств сумасшествия тети Сони следует безоговорочно признать обратное.

По этому поводу он выпустил воззвание и немало потрудился, собирая под ним подписи. Родственники, все, как один, поразили Илюшку своей бдительностью и осторожностью: подписи ставили нехотя, с оглядкой, прикрывая снисходительными к детской игре шуточками и смешками какую-то всамделишную озабоченность, словно неожиданно и не по своей воле сделались участниками по меньшей мере противоправительственного заговора.

А дядя Гриша-маленький вообще отказался подписывать воззвание:

– Это что такое?! Что за бумага?! – испуганно и возмущенно тарыхтел он. – В жизни я бумаги посторонние не подписывал. Ишь придумал – воззвание! К чему взываешь-то – она ж сумасшедшая, это все знают.

Не желая сдаваться, Илюшка дерзко спросил:

– А что сумасшедшая – подпишете?

– Никогда я ничего не подпишу, – твердо ответил дядя Гриша-маленький, прямо совсем как партизан на допросе.

И вдруг забрюзжал:

– И не приставай больше! Нечего глупости разводить. С них всякое вольнодумство начинается, с глупостей. А там уж пошло-посхало и прости-прощай, поминай, как звали. Так что – смотри у меня!

И он притопнул ногой, пристукнул палкой и грозно засопел носом.

Во дает! Илюшка просто обалдел от такой абракадабры и даже немножко испугался, хотя толком и не понял, чего.

И все же он торжествовал победу. Отныне он будет защитником тети Сони, ее покровителем, а если понадобится, и опекуном.

Он был славный мальчик, очень впечатлительный и очень начитанный, и шел ему тогда тринадцатый год.

А тем временем сумасшедшая тетя Соня, ничего не ведающая о счастливой перемене своей участи, тонула в сладких, томительных грезах, из-за чего, кстати, и получила столь взволновавшее Илюшку прозвище. Да, да, не что иное, как прозвище: вначале – мечтательница, выдумщица, фантазерка, после – дурочка, чокну-

тая, полоумная, а уж потом, с чьей-то легкой, хоть и недоброй руки, раз и навсегда – сумасшедшая.

Только зря старались обидчики, понапрасну тужились – ее нельзя обидеть, так уж она устроена. Такая уродилась, наверное. С кроткой ласковостью и негаснущим огоньком надежды в душе.

Если бы ее кто спросил по-хорошему, откуда это в ней да как сохранилось – не сторело, не рассыпалось, не вытекло слезами, да потом, да кровью – ведь как крутила, корежила ее жизнь, топила, топтала, душила, она бы все объяснила, как смогла.

Но никто ее не спрашивал.

«Блаженная», – говорили зло, с оттенком жалостливого превосходства, глядя на нее, согнувшуюся, но не сломленную, битую-перебитую, но не озлобившуюся.

«Сумасшедшая», – говорили, осуждая за то, что живет, когда давно уж помереть должна была от горя.

И то сказать: сколько бед пережила, а все землю топчет, спешит куда-то – помочь, не опоздать, успеть вовремя и надеется, и мечтает, и ждет чего-то.

А чего можно ждать после всего, что было.

И впрямь, видать, сумасшедшая.

Ведь ума лишиться можно от того, что ей пережить довелось.

Первого мужа ее, желанного, недоцелованного, ненаглядного, в двадцатом году бандиты забили насмерть шомполами, требуя:

– Ты, жид, – коммунист, признавайся!

А ему не в чем было признаваться, никаким он не был коммунистом, мечтателем был и поэтом.

И ей никак не верилось, что это он лежит, зарывшись в грязь лицом, недвижимый, с изодранным в клочья телом. Окаменевшая, прижимала она к себе сынишку восьмимесячного Мотеньку, зашедшегося в истошном плаче, как будто горе до него дошло прежде других. Его отчаянный крик не прекращался ни на миг, терзая ей душу, и вдруг оборвался – один из бандитов, зло выругавшись, вырвал у нее из рук ребеночка и удушил.

Больше уж она ничего не помнила.

Долго не помнила. Так долго, что, казалось, из беспамятства этого ей никогда не выбраться...

А вспомнив, ушла из родного местечка Покатилово, что близ Юстинграда, ушла безоглядно, унеся с собой лишь две лампадки крошечные, два огонька немеркнущих – мужа своего любимого и сыночка маленького, безвинного.

А больше ей и брать было нечего.

И шла она в неизвестность, как говорится, куда глаза глядят, потому что идти ей было некуда.

Плутала она, плутала по жизни, бедовала, голодала, непосильным трудом надрывалась и вот-вот уж погибнуть должна была, а все же на нужную дорожку в конце концов выбралась.

Людей добрых встретила, на фабрику швей-мотористкой устроили, жилье в общежитии выхлопотали. И все у нее наладилось, и хороший человек замуж ее позвал – инженер с военного завода. И зажили они дружно, на зависть соседям. Он в ней души не чаял, она его уважала, хоть и стеснялась, на «вы» называла и по имени отчество, никак не могла привыкнуть: инженер да на десять лет старше, и понять не могла, что он в ней такое разглядел, чего она сама в себе не находила.

Только недолго ее сладкая жизнь продолжалась.

Нашли ее мужа с проломленным черепом на соседней железнодорожной станции, а портфель с документами, что при нем был, пропал. Следствие началось, и слухи поползли, темные, неприятные. И так выходило по этим слухам, что сам он себе голову нарочно пробил, чтоб бумаги секретные врагу достались.

И житья ей не стало.

И те же люди добрые, что помогли ей когда-то, косились враждебно, кто молча, а кто и обвинял в открытую. С фабрики ее уволили, чудо, что под суд не попала – по тем временам недолго было. А уехать пришлось. И снова куда глаза глядят, а она уж беременная была, на седьмом месяце.

Лишь третий муж ее хорошо погиб, по-людски, на фронте. И похоронку она получила, как другие, многие, и ничем не выделялась среди людей в горе своем. Да и жалела она всех погибших одинаковой жалостью, не обособляя свое личное. Тем более с мужем погибшим пожить ей довелось чуть больше полугода. Случайно подобрал он ее на дороге, задыхающуюся от схваток, роды у нее принял, выхаживал потом их с Диночкой, сердечный, намучился и перед самой уж войной уговорил ее расписаться. Подумала она, подумала и согласилась. Ради Диночки: они с ее отцом неоформленные жили, жена прежняя ему никак развод давать не хотела, и выходило, что у дочки ее отца вроде как и не было. И хоть в результате его все равно нет, но не одно это и то же: дочь солдата, погибшего на войне, или просто безотцовщина.

Хотя, если вспомнить, им с Диночкой ох, и лишенько жилось. Да только и другим не слаще было, не одни они мыкались, всем тяжело приходилось в послевоенные годы. Чего только не было тогда в этой радости с горем напополам: калек увечных – героев войны, пьяных, плачущих, брошенных, от жизни отринутых, – слезы смотреть на них, а помочь нет сил, а детей-сирот, голодных, оборванных, одичавших, а вдов, судьбу свою женскую в мужниних мо-

гилах по чужим краям растерявших. А домов пустых, нетопленных, своих ли, чужих – все перемешалось. Одной надеждой жили, иначе б конец всему.

Потому, быть может, сумасшедшей тете Соне как раз чуточку легче других было: мечтательница, фантазерка, выдумщица – это же все про нее. Витать между небом и землей – привычное для нее состояние, и ах, Боже мой, как высоко могла она взлететь. И чем страшнее, грязнее, гнуснее окружающий ее мир, тем выше и выше.

Если б все же кто-нибудь спросил ее по-хорошему, откуда это в ней да как сохранилось, вопреки и назло всему, что гнуло, ломало и било, она бы все объяснила.

Никакого секрета от людей у нее не было.

У нее была своя маленькая тайна. Но не та, которую прячут ото всех, берегут пуще зеницы ока, а та, которую раздают по кусочку, чтоб каждому понемножку досталось. Щедрая тайна.

Она ее в подарок получила при рождении – так, ни за что, авансом. И огорчалась безмерно, если над ней кто смеялся. Не над ней самой, конечно, это, пусть, это ничего, а над ее тайной. И опять-таки не за себя огорчалась, а за тех, кого неверие и безнадежность по рукам и ногам так опутали, что узлы и узелочки проглядывают сквозь любые одежды, как ни рядись.

А и тайна-то вся в том состояла, что она помнила момент своего появления на свет, когда выбравшись из удобного и теплого мира материнской утробы в многоцветный и многозвучный прекрасный, неведомый мир, ощутила светлую радость, как единственное, извечное предназначение человека на земле. Это не было ни осознанным ощущением, ни осмыслением, просто миг полного, всеобъемлющего счастья, короткий и яркий, как вспышка молнии в грозовой ночи.

Она запомнила его навсегда.

И всю жизнь стремилась вернуть себе ту, ничем не замутненную радость, искала ее, придумывала. И верила, что она сбудется. И сегодня старая, всю свою жизнь отмерившая горем и потерями, она радуется и голубому небу, что не выцвело, и доброму слову, что не пропало, не сгнуло, и первому снегу, и запоздалой весне, что дождалась, и чужому счастью, и улыбке незнакомого ребенка, и тихой печали своей, и светлomu ожиданию.

А без этой веры ее, поди, давно б уж не стало. Ох, как давно.

Ну вот и вы тоже подумали – сумасшедшая. Потому подумали, что не поверили. И зря, и жаль, и очень, очень обидно.

А Илюшка сразу поверил, без всяких сомнений: очень уж красивой показалась ему ее тайна. Он даже позавидовал ей и напряг свою память, тшась выудить из ее недр нечто, хоть отдаленно подобное. Увы!

Тогда он взвалил на себя просветительскую миссию, избрав сам себя проповедником тети Сониной тайны, ее проводником в массы. Чтобы не тратить времени на долгое и постепенное хождение в народ, он решил собрать всех родственников вместе, возлагая при этом большие надежды на эффект толпы. А поскольку подходящего повода для большого сбора не было, он его придумал, самонадеянно полагая, что когда ко всеобщему удовольствию все разъяснится, его, непутевого, простят и помилуют.

Короче, он хотел, чтоб тетя Соня при нем, под его защитой и покровительством передала свою тайну родственникам – из рук в руки, из уст в уста. А те – детям, а дети – своим детям. Дальше уже само пойдет, на молекулярном уровне: гены, хромосомы, мутации всякие, а в результате – генетическая память поколений. И никакой мистики. У кого какие семейные реликвии, а у них будет своя семейная тайна. И не простая, а щедрая – бери, кто хочет.

В запале, спеша поскорее приступить к осуществлению своего проекта, Илюшка обзвонил всех родственников и объявил, что тетя Соня умирает и перед смертью хочет сказать им что-то важное.

Илюшка не знает, о чем подумал каждый из оповещенных. Вероятнее всего, о чем-то гораздо более материальном, чем он собирался им предложить, но съехались все. Даже дядя Гриша-маленький.

Этот, как всегда, был недоволен и, не закрывая рта, брюзжал, ни к кому не обращаясь:

– Даже умереть по-человечески не может. Поболела бы хоть для приличия, а то вдруг с бухты-барухты – помирает. Вчера еще мне звонила, полная голова глупостей, как всегда. А сегодня, видите ли, умирает. Как вам это нравится?

Поскольку никто не отвечал на его дурацкий вопрос, он продолжал, распаляясь все сильнее:

– Нет, а что такого особенного она может сказать мне, чего я не знаю? Так я, старый, больной человек с другого конца города приехал, еле добрался, а она спит себе. Умирать устала. Нет, как вам это нравится, я спрашиваю?

В другой бы раз Илюшка давно уже обезвредил дядю Гришу какой-нибудь коронной шуточкой, от которой тот на некоторое время впадал в состояние, сходное с анабиозом. Но в тот раз он почти с нежностью слушал дяди Гришину галиматью, которая если и не

спасала его, то во всяком случае на время оттягивала неминуемую расправу.

Он не на шутку оробел и, прислонившись спиной к двери, за которой якобы спала умирающая тетя Соня, готов был сам умереть или превратиться в комара и вылететь в форточку, или исчезнуть еще каким-нибудь способом, лишь бы не открылся его идиотский розыгрыш.

Разговор не клеился, каждый думал о своем, все вместе чего-то напряженно ждали, и Илюшке казалось, что на него, телом своим закрывшего дверь, словно амбразуру вражеского пулемета, поглядывали с сомнением. В плотной тишине, воцарившейся в комнате, начало скапливаться недоверие.

И тут стукнула входная дверь, послышалось шарканье чьих-то ног, негромкое, но бодрое «ля-ля-ля, ля-ля-ля», и в комнату вошла раскрасневшаяся после утреннего моциона, ни о чем не подозревающая тетя Соня. В руках у нее был торт «Птичье молоко».

Что тут началось! Ни описать, ни рассказать, ни передать никакими другими средствами. Это надо было видеть и слышать, в этом надо было поучаствовать, чтоб пережить во всей полноте то, что пришлось пережить Илюшке.

А окончилось все неожиданно миром. Разрядившись, казалось, до полной потери пульса, быстро пришли в себя, встрепенулись и дружно стали накрывать на стол к чаю.

Воскресение тети Сони вернуло всем на время утраченную стабильность, выправило что-то, что еще совсем недавно показалось непоправимым. Впрочем, ввиду быстротечности событий все прошедшее не было никем до конца осмыслено и прочувствовано.

Однако все явно испытали облегчение.

Категорически не желал примирения лишь дядя Гриша-маленький. Он клокотал, бурлил, захлебывался негодованием, издавал нечленораздельные звуки и замахивался палкой на тетю Соню, которая терпеливо и ласково увещевала его:

– Гришенька, миленький, да что ж ты так разволновался? Я так рада, что ты, наконец, ко мне в гости выбрался. Или тебе непременно нужно, чтоб я умерла? Так погоди, не огорчайся, умру, куда ж я денусь.

Дядя Гриша снова затрясся, взмахнул палкой и, наконец, словно выбив пробку из горла, зло выплюнул ей в лицо:

– Сумасшедшая!

На кончике носа у него висела большая капля, рот был судорожно приоткрыт, как при удушье, глаза злобно выпучены. Он был сам себе противен и жалок.

В эту минуту они оба вспомнили, что это именно он, Гриша-маленький, жалкий, сопливый, всеми всегда обижаемый и гонимый, словно родившийся с каким-то комплексом ущербности, воплотившимся после в мелкорослости, некрасивости и отчаянной неуживчивости, первым назвал ее сумасшедшей. Так же враждебно и необратимо, как сейчас, плевком в лицо.

И он вдруг подумал – почему? за что? Ведь именно она, сумасшедшая, и никто больше за всю его долгую, сирую и серую жизнь, пыталась защитить, оправдать и приветить его, в то время как другие только больно и безжалостно пинали, словно он оплочный мячик, и самое страшное, что может с ним случиться, – это потеря прыгучести. И он изо всех сил держался – отпрыгивая и подпрыгивая вовремя. А что он человек, понимала лишь сумасшедшая Сонька.

Его охватило смятение и, не умея выразить того, что чувствовал, он ушел, в сердцах громко хлопнув дверью.

После ухода дяди Гриши-маленького чаепитие все же состоялось. Однако над столом, празднично украшенным тортом, зависло неловкое молчание. Гости, вдруг снова вспомнив, по какому поводу были званы, смутились, никто не решался заговорить первым или протянуть руку за тортом. Илюшка же томился непоправимостью совершенной им глупости, он сгорал от стыда, страдал за бездарно загубленную им прекрасную тайну и был, что называется, безутешен.

Одна только виновница розыгрыша тетя Соня сохраняла полное спокойствие и даже более того, вела себя так, будто была именинницей. Только Илюшка беспокоил ее. Она то и дело искоса поглядывала на него. Ей хотелось снять с его души камень, она знала, что никакого дурного умысла у него не было, и нисколько не сердилась на него.

Да и разве могла сердиться?

Она любила его. Нет, она была в него влюблена. С неразрешенным пылом своей загубленной молодости, несбывшихся надежд и прекрасных, о, каких невообразимо прекрасных и чудных фантазий – даже теперь не было в мире лучшей фантазерки, чем она, старая и дряхлая старуха.

Она любила в этом мальчике свое прошлое, его будущее, все, что, незабытое, сбудется. Сбудется – и какое имеет значение, что не для нее.

Она была и у последней черты и за. И казалось ей, ничего уж не может случиться, особенно ничего плохого. А вот все же четыре года назад ей впервые по-настоящему захотелось умереть. И проклясть свою жестокую и ненасытную судьбу: сколько жертв,

сколько стойкости и неугасимой веры – все проглотила, не подавилась. И все ей мало? Все мало?! Но больше у нее ничего не осталось, только криком, срывающимся на хрип, рвущаяся из сердца обида – за что? За что?!

Диночка, доченька, единственная, ненаглядная, замуж вышла. Ей бы радоваться-не нарадоваться – так ждала она, мечтала, чтоб у ее Диночки все, как у людей было: и дом свой, и семья, и дети. Да только ничего этого не было, не складывалось. Диночка никого на свете не любила, открыто, воинственно, напоказ, неся свою непреклонную нелюбовь, как развернутое боевое знамя. Так никто и не смог к ней подступиться и до пятидесяти лет доживала, смирилась вроде, да и она, старуха, о внуках мечтать перестала – не судьба, значит. А тут вдруг замуж за старого да вдового, и то бы не беда, так ведь не по любви, не по душе даже, а назло матери. Так и сказала: «Мне все равно, куда и с кем, только бы подальше от твоей благотворительности. Устала я от тебя, да и стыдно мне».

А что она такого постыдного делает, все по-людски, по-хорошему, как сердце велит. И ведь ругала ее Диночка всегда-всегда, всю жизнь, почитай, с малолетства, и чем взрослее становилась, тем обиднее и больнее. Словно плетью безжалостно хлестала словами, измываясь над материнскими добрыми чувствами, обвиняя в неразборчивости и отсутствии гордости. И все тщилась помыкать матерью, отвращая ее от людей, отваживая людей от дома. А она так и не нашла противоядия той отраве, зловонными испарениями которой отравила Диночка свою душу. Везде и всюду, наперекор всем словам материнским искала Диночка зло, отбрасывая, расшвыривая все прочее, не любопытствуя даже, что там в отходах.

И вот ушла, в другой город уехала с чужим, немилым человеком, мается там, уж она-то чувствует, а все лишь бы подальше от матери. Вот горе так горе. И людей стыдно, и душа от обиды рвалась на части. И письма Диночкины терзали, редкие и недобрые, словно разделила на равные порции и в каждый конвертик вкладывала – щепотку неудовольствий, щепотку наставлений, щепотку раздражения и ни грамма тепла, участия, раскаяния. И ни слова о себе и ни единого вопроса – как ты там, мама?

За что же, о Господи, за что такое на краю жизни? Нет бессмысленней вопроса, нет на него ответа, нет тупее отчаяния и нет выхода из этого тупика.

Она замкнулась в себе, перестала мечтать и одного лишь желала – смерти, как избавления. Больше ей ничего не нужно.

И тут возник на пороге ее квартиры Илюшка. Будто перемахнув через пропасть, разделяющую ее вчера и ее завтра, он успел выскочить ей наперерез на последнем, финишном отрезке пути.

И попросился к ней на постой. Временно, якобы в силу каких-то сложных и запутанных обстоятельств и, разумеется, конечно же, с согласия и ведома родителей, пусть она нисколько не беспокоится – все исключительно законно и легально.

В облезлых джинсах и кроссовках, то с наглой косицей, то бритый наголо – никаких полумер: не желаете так, получите эдак, с непонятным, почти туземным жаргоном, неумно жизнерадостный, кипучий, он вторгся в ее смиренную и скорбную отъединенность от жизни, в несвойственное ей и гнущее непоправимостью затворничество души и, словно разворошив догоревший костер, выгреб из-под кучи серого пепла обжигающие ладонь живые, горячие угольки.

Почувствовав боль от ожогов, она очнулась. Тоненько, на одной необрывающейся ноте звучал в душе тихий, печальный плач, но уже начали потихоньку возвращаться к ней ее мечты, сперва лишь только во сне, и все словно тонуло в тумане, после, как и раньше, – наяву, живые и внятные. И легко, как пушинку с ладони, как воздушный поцелуй, она тайком посылала их Илюшке. Все до одной.

Нет, конечно же, она не сердилась на Илюшку.

Она вообще не умела сердиться. Огорчаться – да, а сердиться – нет, не умела.

Вот сегодня, например, в очереди за тортом молодой симпатичный парнишка, похожий даже чем-то на Илюшку, слегка оттеснив ее в сторону, нахально и весело сказал:

– Тебе, бабулька, макинтош деревянный пора заказывать, а ты туда же – птичьего молока захотела.

И такая у него была замечательная улыбка, такой он был весь ладный, красивый, такой ласковый был у него взгляд, что она невольно залюбовалась им.

Тем паче Илюшкина шутка не могла ни задеть, ни обидеть ее. Она так давно жила на свете, что все у нее уже было позади, даже старость. Впереди – одна лишь смерть. И она ее совсем не боялась. Пространство и время, вчера и завтра, все, кто уже оставил землю и кого оставит она, – все слилось воедино, смешалось и обволакивало ее теплой мякотью, внутри которой была она, как песчинка, крупинка, как зернышко, которое непременно прорастет.

Поминок как таковых не было.

Дядя Гриша-маленький, как всегда, топал ногами и кричал:

– Не положено, не положено!

Тем не менее после похорон многие вернулись в тети Сонину квартиру и теперь неприкаянно топтались по углам, группируясь по интересам. Разговаривали, как и приличествовало случаю, вполголоса, но по выражению глаз и жестикеуляции было ясно, что беседы ведутся на вольные темы, весьма далекие от только что свершившегося.

Особняком ото всех, чопорно и строго держалась прилетевшая уже после смерти тети Сони Диночка. Она ни с кем не заговаривала, нетерпеливо прохаживаясь из угла в угол, и явно не могла дожидаться, когда все, наконец, разойдутся.

Илюшке сделалось жутко обидно, он вспомнил свою недавнюю дурацкую шутку, подумал вдруг, что это он накликал беду, пожалел так и не раскрытую тети Сонину тайну, и ему захотелось хоть что-то исправить, пока не поздно.

Он выскочил на середину комнаты и единым духом выпалил:

– Она говорила, что смерти не надо бояться, что смерть – это как рождение: открытие нового, неизведанного...

Все разом смолкли. Даже Диночка посмотрела на него с настороженным любопытством. И подошла поближе, словно хотела уточнить что-то. Но тут тишину пронзил громкий судорожный вскрип и визгливый, невыносимо противный плач.

Отплакав долго и безутешно, как ребенок, которого некому успокоить, дядя Гриша-маленький обвел всех посветлевшими, словно помолодевшими глазами и тихо, скорбно и нежно сказал:

– Сумасшедшая...

Вышло так, будто этим словом он попрощался с ней, просил прощения и раз и навсегда безоговорочно признавал ее правоту. И еще в этой обнажившейся тоске прозвучала робкая, но светлая надежда.

Илюшка, осмелев, достал припасенную тетей Соней на Новый год бутылку шампанского, осторожно, без хлопка, откупорил ее, и все молча выпили. И Диночка тоже.

То, что помянули тетю Соню игристым и сладким шампанским, а не как заведено, горькой водкой, как бы превращало ее смерть в событие скорее торжественное, чем печальное.

И Илюшка подумал, что тете Соне это наверняка бы понравилось.

МАЛЕНЬКИЙ СВЕРХЧЕЛОВЕК

(из романа «Лиманские истории»)

За несколько лет до войны в Лиманске стояла обманчивая тишина.

— Повезло нашему городу, — говорил Аристид Аристович, — первая треть века его пощадила, войны обошли его стороной. Первая мировая рыскала совсем неподалеку, грозилась вот-вот нагрянуть сюда, да вовремя выдохлась. Гражданская война тоже ходила по самому краешку — бушевала на том берегу лимана. Бывает так — на море буря, а лиман не шелохнется. Нередко слышали мы перепалку, рассказывались всякие страхи, будто в Одессе по два раза в день меняются власти, а то и хуже — налетают сразу две-три и, пока разберутся, кто они и за кого, делят город по веревочке. Кого там только ни было — французы, немцы, турки, белые, красные, зеленые и даже зуавы, что ли?

«И что себе думает этот мир?» — вздыхали лиманцы, наблюдая грозу из окна.

Так-то оно так, но того и гляди, шаровая молния влетит тебе в окно. Никто не знал заранее, что все обойдется. Обошлось, да только с виду. Из года в год терял город своих сыновей, век с самого начала брал с города дань — выбирал молодых парней и совал в руки ружье. Сколько их не вернулось из Маньчжурии, из Галиции, сколько разлетелось во все стороны, по всем лагерям и станам! Не потому ли в городе через двадцать лет объявилось целое сословие старых дев?

На том берегу лимана страсти вроде угомонились, шли слухи, что большевики отвоевались и теперь копают картошку. Между берегами пролегла незримая граница — она жила, как больной зуб,

который дал тебе передышку, да не сказал, на сколько: носишь тихий зуб с собой, но, обмирая, вспоминаешь о нем на каждом шагу. Лиманцы точно сговорились не напоминать о себе, не лезть со своим мнением в Лигу Наций – авось большой мир забудет о них между делом. Лиманцы равно опасались и знаменитых преступников, и прославленных благодетелей, воспитывали детей с тем расчетом, чтоб им не захотелось ни того, ни другого. Они учили их дурачиться на развалинах крепости, как на безобидной львиной шкуре. Мол, зарубите на носу себе, детки: все, что гремело тысячи лет, – казни, козни, победы и беды – все это навсегда отгремело и теперь никому не нужно, ни мне, ни тебе, ни дяде Илюше...

Но мальчишки мечтали о войне. Они бог весть откуда подхватывали сведения о новейших видах вооружения, они поднимали в воздух саранчовые тучи самолетов, опускали на дно океанов субмарины, на их картах сшибались стрелки и перекраивались границы...

А взрослые, устав от длительного напряжения, были оглушены внезапной тишиной и поторопились ей поверить. Они очнулись с первобытной жадью жить, варить кофе, подвязывать виноград и просто лущить семечки у ворот. Захотелось жить им, заткнув уши, чтоб не слышать мира, как морского прибоя, – слава Богу, на лимане прибоя нет.

Не потому ли в городе подозрительно много глухих или тугих на ухо?

Не герой, не палач,
Ты, пожалуй, дурацкий с пеленок,
Ты трепач и скрипач,
Ты и тертый калач, и теленок,
Но сердито тебя, городок,
Время дергает за поводок
Взад-вперед... Только истина скрыта.
Не ища ни побед, ни беды,
Словно ослик, расставив копыта,
Упираешься ты...

Лиманцы жили тихо-мирно, но вот объявился то ли человек, то ли черт – пришпорить, встряхнуть, пробудить этот город из вековой спячки, как он выразился. Этого молодого человека звали Ремус Корня, и прибыл он летом тридцать седьмого – казалось бы, отдохнуть...

Приезжий подкатил к гостинице на извозчике, щеголяя тростью и перчатками. Жесты его были небрежны, несколько вялы и изысканны, он казался человеком слегка усталым и презритель-

ным. А его вытаращенные глаза с розовыми прожилками производили какое-то странное, назойливое впечатление. Он погулял, но не с целью осмотреть город, а, скорей, чтоб его самого осмотрели. В ресторане он замучил кельнера, требуя мититеи¹ какого-то особого, хитрейшего приготовления, потом – после шампанского – полчаса держал его стоя, все выпрашивал да выпрашивал. Зато на чай отвалил сполна.

Вечером Ремус зашел в клуб. Сыграл несколько партий в бильярд, но неудачно. Проигрывая, вдруг начинал тыкать кием не глядя, – дескать, вы думайте, что хотите, а мне плевать. Вскоре поил шампанским целый взвод бильярдистов. Следующим вечером проиграл в покер, причем уплатил денежки небрежно, нимало не огорчаясь. Компания вокруг него росла как снежный ком. Стало известно, что он знает Париж и Вену как свои пять пальцев и денег у него куры не клюют. Сначала он расписывал Европу, женщин, но по отдельным его высказываниям было неясно, куда он гнет: то ли аристократ, то ли карбонарий. На восторги наших бедных провинциалов: «Ах, Париж, ах, Вена!» – он ответил, мягко улыбаясь, как человек, вынужденный вразумлять младенцев:

– Париж – сладкая зараза, расслабленная лакомка, красивая шлюха.

Это произвело впечатление. Дальше – больше. Причем частенько он, как бы проговариваясь, ронял: «мы считаем», «мы решим эту проблему». Это «мы» окутывало его смутной и жутковатой тайной. Молодежь мотыльками вилась вокруг Ремуса. Он предложил как-то вечером:

– Айда в крепость с шампанским!

Так и сделали. Забрались на башню, нависшую над лиманом. Это была первая «трапеза» проповедника и апостолов. Кстати, апостолов было как раз двенадцать, но это чистая случайность. Важно, что Ремус понимал толк в романтике: тосты под небом, Млечный Путь, как цена шампанского, мертвые загадочные контуры стен с бойницами, высота башни – все это заставляло предчувствовать нечто значительное, необычное.

И Ремус заговорил, сперва тихо и устало, потом резко и властно:

– Вот крепость. Она мне нравится и не нравится. Нравится, что она была могучим воплощением силы, не нравится, что одряхла. Как вам не стыдно жить в этом паршивом городишке, когда крепость живым укором торчит перед глазами? Вы мне тоже не нравитесь и нравитесь. Противно, что вы по уши сидите в этом тихом

¹ Мититеи – мясное блюдо.

болоте, но здорово, что вы молоды. А значит, если вас надоумить, вы свое возьмете. Но сначала возненавидьте обывателей, которые хотят вас вылепить по образу и подобию своему. Как вам не тошно среди старых дев, юродивых и жалких кротов? Неужели вся жизнь в том, чтобы ходить в клуб, в парк, в церковь, жениться, растить брюшко, болеть подагрой, умереть в своей постели и перебраться вон на то кладбище? Видите, там много крестов, но места еще есть.

– А что делать? – спросил с тоской Николенька, сын дяди Мити, владельца ресторанчика.

– Друзья, вы спрашиваете, что делать. – Ремус встал во весь свой средний рост, сцепил пальцы и хрустнул ими. Апостолы вздрогнули. Ремус развел руки и стал дирижировать в такт словам. – Сначала надо понять, что происходит в мире, потом разделить мир на друзей и врагов. Точней: ищи врагов, а друзья найдутся.

– А что особенного происходит в мире? – спросил Сюня, сын паприкмахера.

– Скоро война.

Тут у Николеньки и мелькнула впервые догадка, что это черт. Правда, он подумал возвышенной – дьявол, Мефистофель, а не просто черт с хвостом и рогами.

– С кем? – спросил Титус, сын Стратана, гимназист, приехавший на каникулы.

– Будет великолепная война, веселая очистительная гроза, ураган! Вверх дном такие вот городишки, долой мусор! Останутся сильные, смелые, необузданные, которые хотят все и которым все позволено. Вот и решайте – с кем вы. Пробудится ли в вас орел или останетесь курами? О войне еще поговорим. Теперь – будем искать врагов. Пугливых прошу уйти.

Никто с места не стронулся. Тут уж и Титусу почудилось, что это демон, который заставил содрогнуться Париж и Вену, пролетел, презрительно усмехаясь, над ночной Европой и опустился на вершину этой старинной башни. А то, что он был в модном зеленом костюме, что руки с тонкими пальцами выглядывали из белых манжет, – так это было еще острее и замирательней.

– Отлично. Во-первых, долой церковь. Ее идеал – девственность, манная каша и сухие мускулы. А мы за грех! Мы хотим женщин, мяса и силы!

Во-вторых, долой буржуазию. Она ожирела, копит золотишко, трясется над ним и хочет, чтоб за нее воевали другие. А мы хотим жить ненасытно и молодо, транжирить золото и воевать!

В-третьих, долой социалистов. Их идеал – уравнивать всех, свети к той серединке, которая ни рыба ни мясо. Они хотят всего в меру и чтобы мир превратился в единый муравейник, над которым висит серая радуга. А мы хотим неравенства! Высокие должны стать выше, низкие – ниже. В свое время обезьяны разделились: одни до сих пор обезьяны, другие уже человеки. Теперь человеки должны разделиться. Меньшинство – полубоги, герои, совершенные и ярые. Большинство – волы и рабочие лошади.

– Но полубоги переделерутся, если их много! – сказал юркий Милька, сын вдовы.

– Конечно. Мы за войну. Она – вечный огонь прогресса. Только у властителей и война – под стать им. Дуэли полубогов! Турниры! На шпагах, на кулаках! А пулеметы – это против рабов. Впрочем, пулеметы могут не понадобиться. Волы и лошади не бунтуют. Достаточно кнута.

– А как же я? – спросил простодушный Владик. – Я вот ростом не вышел, да и драться, честно говоря, не люблю. Выходит, мне в волы?

– От тебя зависит. Если пойдешь с нами, плевать на рост. Полубог – это конечная цель. Пока что научишься стрелять. А мы тебе найдем высокую женщину, чтоб дети сказали спасибо.

Все рассмеялись. Владик тоже. Выпили еще шампанского. И тут Ремус перегнул. То ли поторопился, то ли хмель ударил в голову. Он жестом попросил тишины:

– Но главное – мы должны очистить и возродить нацию! Мы и только мы – вот те дрожжи, на которых взойдут полубоги. Остальные в силу внутренней неполноценности и с нашей помощью станут волами. Сначала должна победить белая раса. Потом в белой расе должны победить европейцы, и наконец среди европейцев должны победить мы – потомки римлян. Многие из нас уже начали это великое дело: в Италии – Муссолини, в Испании – Франко, в Португалии – Салазар. Теперь очередь за нами.

– Значит, мы вместе с русскими будем сначала громить негров или китайцев? – спросил удивленно Титус.

– Ни в коем случае! – увлекся Ремус. – Русские – это Азия, татарская помесь, болгары – тоже монголы. Нет! Мы сначала очистим белую расу. Мы, например, постараемся, чтобы в Румынии жили только румыны.

Вот тут, что называется, проповедник дал маху. Он почувствовал недоуменное молчание апостолов, но не догадался, в чем дело. Он решил, что сразу слишком много вывалил на их неокрепшие головы.

– А ну, друзья, споем. Давайте! – И он начал:

Проснись, румын, стряхни-ка
Смертельную дремоту,
Какой тебя сковала
Врагов твоих орда.
Пусть молятся народы,
Ты будь готов к полету,
Часы судьбы пробили –
Теперь иль никогда!

Апостолы подтянули, но как-то не очень воодушевленно. Правда, Николенька загорелся. Он представил себе, как героем вышагивает по главной улице Лиманска, тротуары полны народом, и любая девушка кинется ему на шею – только моргни.

– Виват, Рома! – воскликнул он, когда кончили петь.

– А при чем тут ты? – съязвил Титус. – Ты армяшка.

Николенька страшно удивился – он об этом не подумал. Действительно, несколько столетий назад его предки армяне поселились здесь. Но теперь Николенька чувствовал себя полноценным лиманцем и вполне мог воевать за идею. Потому он коротко возразил Титусу:

– А ты дурак.

– Я румын! – гордо отпарировал Титус.

Сюня опустил голову – он был еврей и не забывал этого.

– Да? – ехидно протянул Афоня. – А по-моему, Титус, твоя мать наполовину гречанка!

– Сам ты грек! – обиделся Титус.

– Ну и что? – стал кривляться Афоня. – Зато моя мама знала твою бабушку, она жила на Харлампьевской, она была гречанка, как и моя мама. Фанариотка!

Апостолы заволновались.

– Тихо, юноши! – сказал Ремус. – Драка – хорошее дело, но не надо так примитивно. Я завтра объясню, что такое раса. Греки были предтечей римлян, не кипятитесь. Давайте завтра ровно в семь соберемся здесь же. Идет?

Однако между «трапезами» произошли некоторые события. Во-первых, еще той же ночью, пока Ремус спал, Титус и Николенька подрались, Митька пытался разнять противников, ему тоже попало, Владик тихо смылся, остальные с интересом наблюдали и мотали себе на ус.

Во-вторых, два скрипача из ресторанного оркестра – Яша и Григ, не участвовавшие в «трапезе», постучали после полудня в

номер гостиницы, где остановился Ремус. Он почивал, принял их недовольный, растрепанный, в немыслимо лиловой пижаме, как у фокусника. Того и гляди выпустит из рукава сову или чего похлеще. Яша и Григ долго мялись, извинялись и никак не приступали к делу.

– Я слушаю! – сказал Ремус, причесываясь перед трюмо. Яша и Григ с беспокойством следили за двумя упругими вихрами, которые упорно выскакивали из-под расчески и – торчали!

– Домну¹ Ремус, – начал Григ, – у вдовы Мильштейн есть сын скрипач. Боже мой, какой скрипач, хоть и самоучка! Но не в этом дело! Моисей лежит с весны, у него чахотка. Моисей умрет, если его не послать в Италию. Но у него нет средств. Не могли бы вы...

– Нет, – прервал Ремус не оборачиваясь. Его глаза, как белые шары, выпирали из розовой сетки прожилок.

Яша и Григ оторопели. Солнце заглянуло в окно, пижама Ремуса вспыхнула лиловым издевательским пламенем. Прошла минута молчания. Ремус наконец кончил причесываться – волосы ровно улеглись, но явственно топорщились спрятанные рожки.

– Ну? – Ремус подошел, ослепляя их лиловым.

– Домну Ремус! – вскинулся Яша и коснулся руками пижамы. – Мы вас умоляем! У вас же есть деньги! Одолжите – талант погибнет! – Он чуть не выпалил: «Возьмите мою душу, но спасите Моисея!»

– У меня есть деньги. Правильно. Но ему не дам.

– Почему, домну Ремус? Чем он вас обидел? Это ангел. Если бы вы услышали, как он играет на скрипке! Плакать можно!

– Во-первых, он дохлый, во-вторых, он... не румын. Зачем ему оставлять потомство? Это преступление против жизни. Я не собираюсь быть пособником преступления, – улыбнувшись, объяснил Ремус.

Григ взорвался.

– Вы... вы просто жадный! Денег жалко!

– Сколько нужно? – холодно спросил Ремус.

Григ осекся. Яша сделал большие глаза и обрадованно пробормотал:

– Хотя бы... пять тысяч.

Ремус достал из шкафа пиджак на плечиках, вытащил бумажник и не торопясь отсчитал пять тысяч. Яша и Григ следили за ним в оба, боясь пошевелиться. Ремус посмотрел на них, усмехнулся.

¹ Домну – господин (рум.)

– Я совсем не жадный, – щелкнул зажигалкой, взял две хрустящие бумажки и поднес их к огню. – Еще? – спросил он и зажег следующие две.

Запахло паленой шерстью. Адским дымком потянуло, и предательский хвост шевельнул лиловое пламя пижамы.

Яша и Григ выскочили из номера. Григ быстро перекрестился, а Яша сплюнул и бессмысленно спросил кого-то:

– Зачем?

Титус почувствовал себя новым человеком. В его душе совершился яркий и радостный переворот. До сих пор он следил за жизнью как за неясной, путаной игрой, а Ремус, словно чародей, сорвал пелену с глаз, открыл смысл игры и указал цель. Прежде всего он должен стать беспощадным и сильным: одолей себя, тогда и других одолеешь... Но, Боже мой, как тесно переплетается новое со старым! Новый человек Титус поймал себя на том, что идет по улице с коробкой конфет для тети Розы...

Тетя Роза лет до семи была его нянькой, и он всякий раз, приезжая на каникулы из Бухареста, привозил ей гостинцы. Не Бог весть что, но все-таки внимание... Правда, Титус на этот раз не заскочил в первый день к тете Розе, отложил на завтра, а завтра как-то забыл... Прошла целая неделя, и мать Титуса раздраженно сунула ему в руки эти несчастные конфеты и приказала отнести. Титус по инерции взял коробку, думая о более важных вещах. И только заметив впереди себя тетю Розу, которая тяжело шла с двумя ведрами воды в руках, он понял, куда идет и зачем. Это его потрясло. Он увидел тетю Розу в совершенно ином свете, как бы с высоты орлиного полета. Он еще приближался к ней широким шагом, прицельно глядя в ее сутулую спину, но озарение уже разделило их непроходимой пропастью: он устыдился прежнего Титуса, сентиментального птенца, устыдился своей привязанности к этой жалкой безродной курице, квочке, высиживающей без разбору чужие яйца. Кроткая старая дева, провинциальная дура, она – вязкая тина, засасывающая дерзкий порыв. Последняя столичная шансонетка свободней и выше ее! Титус понял: жизнь – дикий жеребец, оседлай его, вцепись в гриву, оттолкни свое прошлое, рабское, кисейное детство, дурацкую родню и все рыбье царство этого города!

Титус швырнул коробку на тротуар, наступил на нее ногой и, круто повернувшись, ушел прочь.

А тетя Роза тяжело несла ведра, стараясь не расплескать воду. Она так и не узнала, как с ней справился Титус.

...Через два часа Ремус вышел из гостиницы, поигрывая тростью, и направился к крепости, куда должны были сойтись апостолы.

За это время известие о его поступке облетело город. Среди поклонников Ремуса разразился кризис. Большая часть города ужаснулась, отпрянула, отреклась от дьявола – главарями этой партии были Яша и Григ. Они перебежали из дома в дом, собирали прохожих на улице и наконец решили объявить лотерею в пользу Моисея, чтоб все-таки снарядить его в Италию. Другие стали молиться на Ремуса: необыкновенный, высшего сорта человек, – кто знает, может, таким и уготовано будущее...

А Ремус шел к крепости. По дороге он встретил Аристиду Аристидовича, остановился и почтительно приподнял шляпу.

– Честь имею... Я ждал случая познакомиться...

– Вы утверждаете, что скоро будет война? – спросил тот в лоб.

– Поверьте, господин Мутафолов, вы мне нравитесь. Я много о вас слышал и преклоняюсь перед такой молодой и сильной старостью. Вы, Аристид Аристидович, патриарх этого города, вам верят, вас слушают – вы должны быть с нами.

– Будьте добры, объясните.

– Да, Аристид Аристидович, война будет. Гитлер готов обрушиться на Россию...

– Позвольте, у Германии и России нет общих границ!

– Будут! Между ними – цепь небольших государств: прибалтийские страны, Польша, Румыния. Что делать им, чтоб не попасть в жернова? Кажется, ясно – стать на сторону сильнейшего. Но в правительствах этих стран засели тупые и слепые буржуа. Нам надо заменить их настоящими азартными политиками, которые пойдут с Гитлером и разделят его добычу. Другого выхода нет. Вот мы в Румынии постараемся сделать это. Нашему кораблю нужен дерзкий капитан, а не коронованный бабник! Всех нынешних политических импотентов мы заставим мостить автостраду Бухарест – Берлин.

– Позвольте, господин Ремус. По вашему мнению, высшая, что ли, раса – потомки римлян. А Гитлер считает иначе. Дойчланд юбер аллес.

– Господин Мутафолов, это неважно. Гитлер ошибается, называя немцев избранной нацией. Германцы ходили на четвереньках, когда римляне уже владели миром. Но мы выиграем на этой ошибке. Гитлер выдохнется, пока разобьет Россию. Тогда мы потихоньку и оттесним его!

– Вы надеетесь перехитрить Гитлера?

– Именно.

– Еще вопрос: вы проповедуете нечто в духе Ницше – дескать, смерть слабым, падающего подтолкни?

– Допустим.

– Так Ницше первым подлежал уничтожению – он был немощным, несчастным, глубоко больным человеком. По-видимому, ненависть к собственным слабостям родила в его душе мечту о сверхчеловеке. Но если б его кокнули в колыбели, кто бы создал такое учение?

Ремус не нашелся что ответить. Старик не дал ему опомниться и продолжал:

– Полагаю, вы зря спешите в крепость.

– Это почему?

– Никто не придет.

– Вы? Вы их отговорили?! Ты, старик, объявляешь нам войну?

– Молодой человек, нервничать не к лицу сверхчеловеку. Честно говоря, я их не отговаривал. Это дело ваших собственных рук.

– Что вы мелете?

– Это не я. Просто Лиманск не разбирается в национальностях. Не понимает, когда говорят, что родиться румыном – преимущество, а русским – недостаток. Или наоборот... Этот город на мякине не проведешь.

Ремус двумя пальцами быстро и ловко крутанул трость пропеллером, произнес с высокомерной досадой:

– В таком случае этот город – лишний. Придется скрыть до основания и на его месте построить военно-морской лагерь. Называться будет «Восточный форт». Я вам обещаю.

И Ремус твердо зашагал в сторону крепости.

Аристид Аристидович остался посреди тротуара. Он покачал головой:

– Старая песня. Ой, какая старая!

До сих пор историки не пришли к согласию, сколько было названий у этого города – две дюжины или три. Доподлинно известно лишь то, что от Адама до наших дней на него натякался каждый завоеватель, а наткнувшись, брал штурмом, первым делом сравнивал с землей и тут же в донесениях о победе переименовывал – то ли потому, что завоеватели не терпят всего, что было до них, то ли предчувствуя неминуемое возрождение городка.

И действительно, само пепелище немедля начинало сортировать завоевателей: одни, как перекасти-поле, уносились дальше, другие оглядывались и прикидывали – был здесь город, и, кажется, не зря.

Во-первых, прекрасная бухта для кораблей. Река перед морем образует широкий тихий лиман – ни тебе бурь, ни приливов. Во-

вторых, если смотреть с севера, то это ворота к морю, путь к Царьграду и проливам – за ними берега греческие, итальянские, африканские и прочие. Если смотреть с юга, то опять же это ворота, тот же путь, только не туда, а обратно. В Литву, Московию и мало ли еще куда. Если смотреть с востока, то здесь берег Черного моря как бы переламывается, круто поворачивая на юго-запад и открывая путь на Балканы. Кто переступит этот порог, кто пройдет эти ворота, тот, считай, оседлал Дунай. А если, наконец, смотреть с запада, то здесь ворота, которые, будучи закрытыми, спасают от сквозняка азиатских просторов, а распахнутые – указывают путь к Днепру, Волге и Кавказской гряде.

Короче говоря, здесь не может не возникать становище, само место приказывает граду быть. Именно здесь, а не левой или правой.

Так не сдуру ли покуражились, спалив и порушив все, что могло гореть и рушиться?

Между тем возвращались невесть откуда уцелевшие старожилы и с удивительной сноровкой и упорством брались за старое – вили гнезда, ибо воители огнем натешились вдоволь, но их праздник весть вышел и настали будни.

И замешкавшиеся пришельцы начинали ощущать зуд в руках, сначала как бы от нечего делать оглядывали уцелевшие стены, потом устанавливали камень на камне и не могли удержаться, чтоб не приладить к крыльцу. Город возрождался – под новым именем.

Однако почему жители, принимаясь за старое, не возвращались к старому названию? Может быть, потому, что надеялись впредь не подвергнуться опустошению, скрыв под псевдонимом прежнее имя – невезучее или ставшее кому-то ненавистным. Но если столько псевдонимов, то поди отыщи настоящее! Нет, пожалуй, всякий раз новая жизнь, начинаясь, меняла и паспорт, именно по мужу, по завоевателю... Но скорей всего, что и это не так: здесь чаще всего пахло не супружеской любовью и даже не браком по расчету, а просто насилием. Завоеватель довольствовался тем, что ставил клеймо, и оно держалось до следующего нашествия. Но упрямый этот город исподтишка завоевывал завоевателей, превращал их в оседлых жителей своих, и они, питаясь соками этой земли, в который раз смыкали разорванную цепь, полагая, что начинают с чистого листа...

ОДИНОКАЯ ДУША СЕМЕН

Семен уже второй раз с тех пор, как зажил в Москве, направился стричься в эту парикмахерскую. Тридцать девятый, помывшись от вокзалов по хорошим улицам, за Ржевским мостом зазвонил и вкатился в деревянную трухлявую окраину, конца которой не было. На остановке «Ново-Алексеевская» в него сел Семен. По пути к парикмахерской три больших дома все-таки попались – два справа, один слева – и Семен, на этот раз тоже, отметил их как предвестников нового.

Ближе к парикмахерской, слева от разогнавшегося трамвая, появились пустые пространства, среди которых – на холме-не на холме – росла прекрасная сосна. Тридцать девятый, грохоча, миновал одинокое, как душа Семена, дерево и остановился. Когда Семен сошел, трамвай укатил в сторону какого-то Останкина, и у Семена снова, как в прошлый раз, заколотилось сердце: прямо перед ним стояла гора с церковью на макушке, а по всей горе, от подножья до церкви, толпились бурые домишки. Семен в смятении рванулся направиться к крайнему возле церкви дому, где его, Семена, заждались, но спохватился. Церковь была непохожа на ту, возле которой его заждались, а все остальное, хоть и было похоже, но не было тем, а того, похоже, уже и в помине не было.

Того не было точно, – не было того больше! – но Семену по молодости пока еще не удалось удостовериться, как что-то берет и исчезает, и хотя Семен мыслил вообще-то здраво, в данном случае он обольщался, на что-то надеясь, хотя правильно делал, надеясь на что-то. Пока то существовало в нем, пока Семен не стал покойником, то исчезнуть не могло, только Семен по простоте своей не знал, что с этим поделаться. Семен не знал, а один человек знал.

Но Семен человека этого не знал и никогда не слышал о нем. Да и не услышит.

Семен подстригся «под польку», но одеколониться не стал, чтоб не срамиться и людей не смешить. Потом он прошел по хрустящим под подошвами черным клочкам собственных волос – взять на вешалке кепку и встретился с очень внимательным взглядом, создаваемым с помощью тревожных, но все постигших глаз низенького гардеробщика, который очень внимательно спросил:

– У молодого человека еще нет жены? Что ему это мешает? Хватит уже, прекратите ваши случайные встречи!

Откуда знал гардеробщик, что случайная встреча у Семена была, – непонятно!

...Вот Семен идет вдоль картофельного поля, далеко уже ушел, а идет к оврагу накопать глины, чтобы печку в сушилке переложить, которая кирпичами из дымохода завалилась и уже год не топится. Идет Семен давно, устал даже. Места пустые – люди не встречаются. Видит, на меже сидят две девушки; они бесконвойные и до вечера привезены картошку окучивать. И одна говорит, когда он подходит:

– погоди, парнек! Сядь-ка с нами, парнек!

А когда он садится, начинают зубоскалить, смеяться и подталкивать его плечами. Он тоже смеется и возится с ними, но девки смеяться перестают, начинают сопеть, щипаться и прижимать его к своим кофтам.

– Чего ж ты? Чего ж ты? Шворь давай скорей! – сопя, бормочут они непонятные слова. – Ну отшворь ты нас, сучонок! Ну!

Потом, поняв что-то и хрипло захохотав, одна опрокидывает его, грузно наваливается сбоку и всасывается в его рот, а вторая шарит по Семеновым штанам.

– погоди, черняшка, погоди, не вертись! – дышит первая, слюнявя Семена мокрыми губами, а вторая, не найдя пуговиц, рвет высохшую резинку, на которой держатся его шаровары, и пристраивается, как верхом.

– Держи его теперь, Варя, держи! – сдавленно сопит она и начинает сильно вихляться, а Варя держит, как гирия наваливаясь на грудь Семену, и тоже сопит:

– Потом меня! Меня, сучонок, тоже... после подружки!.. – И вдвигает свой толстый язык в разинутый рот Семена...

– Пора уже, молодой человек! Что это вам мешает? – говорит гардеробщик доверительно и доверительно рассказывает, что у него самого нету желудка, который ему вырезал один профессор, что такое пищеварение пусть имеют враги, но жить все-таки можно, и слава Богу за это.

Семен, по просьбе человека без желудка, тоже кое-что сообщает о себе, а тот, неодобрительно вертя Семенову кепку-восьмиклинку, выслушивает все внимательнейшим образом, однако сообщение о том, что на предприятии Семена работает знатный мастер товарищ Российский, чем Семен справедливо гордится, почему-то пропускает мимо ушей, зато спрашивает:

– Какую же вам там дали службу?

Услыхав, что Семен – токарь-модельщик, новый знакомый говорит:

– А Фаина Токарь, что живет при почте, не ваша родня? Нет? Я на вас удивляюсь, но пусть будет, как будет! И, чтоб я так имел свой желудок обратно, у меня есть для вас невеста!

Затем он достает толстую тетрадь в клеточку, о каких там, где образовывался Семен, только мечтали, и, заглядывая в нее, начинает бормотать:

– Видите, я, слава Богу, до сих пор смотрю без очков... Но что здесь?.. Два института, у него магазин... это не для вас... А здесь?.. Дают пианино... тоже не для вас; они хотят Мишу Фихтенгольца... Пара глаз... живут и с сестрой, не гарантируют взять в дом... Ха!.. А что это?.. Девушка честная, мать – учительница на немецкий язык... сюда я знаю, кому сказать... Она врач, мужа убили... это я должен подумать... Здесь не дадут ни гроша... В Первомайке пискастая мать, а вам не надо пискастая мать, вы – сирота... От!.. Это, я думаю, для вас!.. Вы сказали – токарь? Там будут рады иметь токаря!..

Человек без желудка знал свое дело, и Семен переселился в Останкино, чуть левее тех мест, куда после парикмахерской укатывал тридцать девятый.

Семена женили на Еве, перезрелой и топорной. Странное даже для травяной улицы имя еще в раннем Евином девичестве породило прибаутку «Ева – старая дева», со временем сбывшуюся.

Разные обстоятельства сработали на женитьбу Семена, и среди прочих такое, казалось бы, второстепенное, что семья невесты происходила из тех же улетевших с дымом мест, куда рванул было Семен, сойдя на остановке у парикмахерской.

Семья эта была очень непривлекательна. Мама, Созильвовна, с насморчным голосом и в клопиного цвета шали хорошего впечатления не производила. Младшая сестра, Поля, не будучи горбатой, все же на горбунью смахивала – отсутствие шеи, маленький рост, короткое туловище при длинных ногах, выпирающая вперед уже большая женская грудь сильно отклоняли ее от привычных пропорций. Виноват был, конечно, отец. Это он первый получился

низеньким, с очень коротким туловищем и длинными ногами в синих галифе, уходящих в узкие хромовые сапоги с галошами.

Работал он в керосиновой лавке. Разливал черпаком керосин и продавал москательные товары: фитили, стеариновые свечи, когда они бывали, а их почти никогда не бывало, гуталин, нафталин, персидский порошок, веревки, когда они бывали, дратву, сарайные петли и гвозди.

У всей семьи была странная кожа: чуть-чуть сальная, она словно была налита тоненьким слоем болотной водицы, просвечивавшим под тоненькой пленкой, и это производило прозрачный коричневый лоск, переходящий в блеск, когда кто-нибудь из них потел. А они были потливы.

Еще в керосиновой лавке продавалась замазка, а замазка – товар тяжелый, и нужно хорошо уметь ее развешивать. С пользой для всех и для себя тоже. Поэтому финансовых затруднений при выдаче замуж дочерей у Евиного отца не предвиделось. Были бы охотники. Поэтому Семен, женившись на Еве, сразу же переехал с ней в купленную для молодых стойкую значительных денег комнату.

Евина семья жила в мезонине у домовладелицы Дариванны. По правде сказать, ни Ева, ни ее близкие, ни, наконец, остальные обитатели травяной улицы понятия не имели, что верхнее помещение в обширном доме Дариванны называется мезонином, и называли его словом «наверху»; а если бы и узнали, то не придали бы этому ни смысла, ни значения и наверняка забыли бы непригодное для жизни слово.

Хотя Евин папа деньги имел, много из этих денег выжать было нельзя – ну, трельяж, ну, зеркальный шкаф, ну, пару отрезков! Купить семье другую квартиру не имело смысла – «наверху» было тепло, даже если внизу у Дариванны было холодно. Ее дымоход проходил по их стене. На двор же – внизу ты живешь или наверху – в большой мороз или ночью не пойдешь, для этого есть горшок. Зато «наверху» не обкрадут – вся же улица увидит...

Девочки росли и выросли. Общим нужны были мужья. Ева просто сильно пересидела. Выдавать ее нужно было во что бы то ни стало – на травяной улице сколько хочешь других девочек и девушек. Правда, улица всегда знала, что землестокожую Еву – кто ее возьмет, да и капитал папин был даже не двадцатый в округе.

Но есть все-таки Бог, и есть человек без желудка. Первый захотел, а второй похвально постарался и вознагражден был за это шестьюдесятью рублями по нынешним деньгам.

В доме напротив, где молодым купили комнату у Клюковых, сильно заплошавших после революции, а прежде состоятельных

мещан, остальные помещения были давно уже распроданы. Наверху, например, – тут было тоже свое «наверху», – жила Татьяна Туркина с маленьким сыном, но без мужа. Это была птица залетная. Она по-особенному одевалась, не опасалась ходить в манто и даже красила губы, хотя продажной не была, а работала в наркомате.

Еще жила там с мамой и бабушкой нежная девочка-старшеклассница. Стоило ей выйти на травяную улицу и направиться куда-нибудь, как из прекрасного дома на другой стороне улицы появлялся мальчик с голубым аккордеоном, садился на скамейку и, не обращая на девочку внимания, играл что-нибудь.

Левую – тыльную – часть жилья занимали замкнутая мать и замкнутая дочь Богдановы. Им принадлежал задний двор с небольшим вишневым садом.

...На ветках вишен бывают такие зевобразные трещины – у них вывернутые края, как, скажем, у раковины, и виднеется желтая интимная полоска изнанки. Из этих трещин появляются выпльвы, прозрачные и темноватые, похожие на смолу, – своеобразная вишенная камедь. Когда такой выпльв попадается, его очень приятно отлепить от сизо-черной вишенной коры. Его можно и нужно жевать. Особенно в детстве, потому что слабый и странный вкус этой древесной капли только и можно счесть ощутимым и обильным в нежном возрасте. Семен помнил этот вкус и один раз принес Еве мутную вишенную мармеладку, но Ева сказала:

– Я не беру в рот неизвестно чего!

Семен не ожидал, что на этой улице почему-то съединится разорванная связь времен. Правда, он не знал такой категории, ее знаем мы, повествующие об одинокой Семеновой душе, но на травяной улице Семен почувствовал себя как дома. Вернее, почти как дома.

Поясним это: гармонический мир Семена прекраснейшим образом не удивился козе, привязанной к колышку в конце улицы; это было нормально – на травяной улице должна быть коза, но две коровы со своими хозяйками или мальчишки, поливавшие друг друга из оставшихся от «студебеккеров» насосов-огнетушителей, – эти оказались для Семенова инстинкта чем-то беспокойным. И подобные мелочи, совершенно не конкретизируемые его восприятием, самовольно подвигали Семена сохранять себя в одиночестве.

Каким вообще образом Семен получился Семеном? Трудно сказать. Это был очень редкий молодой человек. Он не только не умел отличить добро от зла, он просто не знал об их существовании, ибо не имел ни малейшей склонности к анализу событий или чьих-то (включая свои) поступков. Ему повезло – его почти ни-

когда всерьез не обижали, а те небольшие обиды, попользоваться которыми посчастливилось, не стали поводом для опыта, осторожности или осмотрительности.

Нельзя сказать, чтобы Семен легко сближался с людьми или, будучи благодушным, стал добродушным. Он был сам по себе. Но не от озлобления, не от желания уберечься, не от дурного характера. Он был одинок генетически да плюс к тому обречен на одиночество, силою обстоятельств оказавшись в заброшенном монастырьке под Пензой, где было ремесленное училище всего с десятью учениками и четырьмя взрослыми.

Монастырек располагался далеко от самой Пензы – ни страсти, ни влияния этого городишки до ребят, каких-то одинаковых по вялому темпераменту, не доходили; а учили их ремеслу люди тихие и добрые.

Вот почему Семен прожил детство и юность хоть и скудно, хоть и замкнуто, но зато безмятежно. Тощая еда, учение, самостоятельный ремонт ветхих помещений, огород для самопропитания, заготовка дров на долгую зиму – всем этим притормозилось даже возмужание мальчиков, и дьяволу в ремесленном училище, то есть в стенах монастырька, делать было нечего, а сладострастия и похоти негде да и не у кого было научиться. Шли, правда, кое-какие разговоры: например, если девушка позволит поцеловать себя в часы – значит, она согласна обниматься и прочее. Кое-что подросткам снилось, но все это было нормально, как дыхание.

Итак, Семен, не обученный почти никаким страстям, движущим действие то ли вперед, то ли назад, что пока неясно, Богом все же кое на что был наставлен. Семен был расположен к красивому. Это не значит, что красивое он распознавал вопреки некрасивому. Не обученный предпочитать, он не предпочитал и первое второму, хотя все пять его чувств воспринимали из окружающего мира в первую очередь что покрасивей.

Вот почему он не понял, что был куплен в мужья, вот почему совершенно не был обескуражен Евиной внешностью, вот почему не был осчастливлен мягкими стульями, трельяжем и диваном с полочкой, которые заимел в придачу к Еве. Вот почему не почувствовал изумления и осуждения, вызванных таким корыстным даже с точки зрения травяной улицы браком, и не расслышал, как однажды Ревекка Марковна сказала: «Примак с дырявой шляпой!». Ева, она-то расслышала.

Но, что ни говори, а он, что ни говорите, женился и стал жить вместе с женщиной, которая неделю в каждый месяц говорила: «Ко мне подходить сейчас нельзя!», и Семен не подходил. Зато в первый раз, когда они после свадьбы остались с Евой одни, он по-

целовал Еву в часы «ЗИФ», и это подействовало – подойти было можно.

Он женился и стал жить в одной комнате с другим человеком. Это ему совсем не мешало, потому что Семен, как оно и положено в общежитиях, сроду жил в комнатах с другими людьми, так что заживши с Евой, особой перемены не заметил, как не заметил и отсутствовавшего девичества Евы, ибо просто был не осведомлен о столь важном для человеческого самоощущения предмете, а если что и слышал, то пропустил мимо ушей или ничего не понял.

Не заметил он и Евиной злобы, хотя Ева была близка к отчаянию, не зная, как провести Семена. Она что-то там придумала, что-то очень древнее, как ее имя, и очень наивное, как наивность Семена, не обратившего на щепетильные подробности внимания, что еще больше остервенило Еву, расценившую это как безразличие к ней и к ее пусть поддельному, но целомудрию. Что же касается утраты истинного целомудрия, об этом Ева старалась не вспоминать.

Вот почему такое счастье, как покупка комнаты, раздражает и взвинчивает Еву – ведь комната куплена у Клюковых! – вот почему заботливые советы матери перед брачным жертвенником и неясность впечатлений Семена в ходе самого свершения бесят ее и делают все угрюмее, а выжидательное и ехидное поведение травяной улицы, которое Ева видит и чувствует, тоже радости не прибавляет.

И жизнь с мужем, который и моложе ее, и, как она считает, глупее, а так считают даже мать и сестра, начинается, в общем-то, сумеречно. Правда, травяная улица могла бы притерпеться к этому браку, забеременной Ева и роди ребенка, но Ева вдобавок и не беременеет, а это уже тридцать три несчастья.

А муж ее, частично обретя утраченную связь времен, по простодушию своему не замечает Евиных терзаний, однако замечает, что, когда Ева появляется в комнате, воздух без причины начинает пахнуть нашатырем, да и сама Ева так пахнет, а когда она приходит из бани, куда отправляется с тазиком раз в месяц, то нашатырем пахнет слабее, хотя начинает шибать мочалом.

Семен живет спокойно. Ходит на предприятие. Носит воду из колонки к себе с Евой и «наверх». Носит дрова и к себе, и «наверх», а печку топит только у себя с Евой. По вечерам он вычитывает Еве из отрывного календаря разные важные вещи, а из двух оторванных уже листков, двух уплывших дней своей жизни, вырезает маленькими ножничками портреты Владимира Ильича Ленина и Иосифа Виссарионовича Сталина, потом берет два блюдца, кладет лицом на дно каждого блюдца по портрету, а сверху зали-

вает гипсом, который заранее принес с предприятия. А в гипсе пристраивает еще и петельки, сплетенные из ниток сорокового номера. Когда гипс затвердевает, Семен переворачивает блюдца, и, сперва постучав по их донышкам, открывает. Получается очень красивая вещь – с белых выпуклых кружков ласково смотрят вожди, и сразу уже петельки есть.

Еве тоже это нравится, и она позволяет Семену повесить красивые вещи возле трельяжа. И кто ни заходит – все удивляются.

Еще Семен читает Еве вырезку из газеты про великого одного артиста, который хотел от других артистов, чтобы на представлении все было, как настоящее; даже если понадобится, чтобы сами были хромовые, – пусть шьют хромовые! Даже если надо, чтобы светила луна в небе, ее привозят из планетария.

Еще Семен уговаривает Еву поглядеть на сосну, одиноко стоящую на взгорке, мимо которого он два раза когда-то проезжал в парикмахерскую. Ева пошла, но всю дорогу была недовольна, потому что новые «лодочки» натерли ей кусок ноги, да и сосна – дерево как дерево.

Семен, любивший свою сосну, не огорчился, как не огорчался ни по какому поводу. Ему еще только предстояло привыкать огорчаться.

К сосне они с Евой ходили уже почти летом, а зимой ходили только в гости, да еще бывали «наверху» у родителей.

Каждый раз собираясь в гости, Ева дожидалась темноты, потому что не стоит, чтобы вся улица видела ее котиковое манто, а в темноте можно пробраться незамеченной. Так поступали многие на этой улице – пробираясь по вечерам в гости в дорогих манто, чтобы те, у кого не было дорогих манто, не раздражались. Разумеется, конечно, если на дворе стояла зима.

В гостях у родителей было неплохо. Семен всякий раз смятенно терял голову, переступив порог комнаты, где сидели люди и на столе стояла красивая еда. Он, как тогда с церковью на горе, решал на мгновение, что пришел наконец в крайний от церкви дом, где его заждались, но сразу спохватывался, хотя в течение вечера что-то опять начинало щемить, возникая то ли в янтарных глазках бульона с вареной фасолью, то ли в серебряной покосившейся чарке, пахнувшей, если пить из нее, как сроду пахли рюмки из потемневшего серебра, а раз сроду – значит, и там, там – в крайнем доме...

Хотя Семен по несколько раз в день бывал «наверху», приходить в гости все же было чем-то совсем другим. Он заметил, что люди в гостях требовательнее друг к другу, но по-особому, не по-каждодневному. Созильвовна снимала свою клопиного цвета

шаль, но зато прицепляла брошку из слоновьего зуба – настоящего, слоновьего! – на которой из настоящей золотой проволоки, на глаз – миллиметровой, были приклепаны две какие-то нерусские буквы.

Вообще вся семья сидела преображенная, и даже из-под пергаментной кожи их как бы уходила желтоватая водичка, зато лоснящиеся места после тарелки горячего бульона с мелкой белой фасолью, которая в зеленоватом бульоне была розоватой и легко выскакивала из своих скорлупок-рубашечек, отсвечивали сильнее.

Молчаливый отец наливал себе и Семену по чарке, они выпивали, а Созильвовна говорила дочери:

– Евка, если мы могли купить для тебя квартиру, то мы можем, чтобы ты хорошо питалась. Дай Семену тоже! Дай ему кныш...

А отец молчал, хотя, когда подносил к губам серебряную чарку, Семену казалось, что отец тоже слышит тот запах, а почему так казалось Семену, неясно.

Помалкивающий керосинщик, между прочим, раскладывал для сохранности мягких стульев на их сиденьях аккуратно вырезанные из оберточной бумаги квадраты. Бумаги такой в доме было полно, и Евина сестра Поля тоже не давала оберточной бумаге пропасть. Она складывала ее в длинные треугольники, а потом, вырезав ножницами несколько клочков в разных местах, разворачивала – и получались красивые, круглые, прямо кружевные салфетки. Семен всегда просил Полю вырезать что-нибудь и даже сам наладился было складывать и вырезать, но Ева вырвала у него из рук даже не начатую работу и крикнула: «Пусть это делают девочки!» – и ошеломленно замолчала, и побурела, и надулась.

...Вот сидит Ева с Райкой Клюковой лет двенадцать назад на пустой кухне. Они в последнее время очень задружили, тем более что в их подростковых жизнях одновременно появились женские новости. Вот сидят они с Райкой Клюковой, самостоятельной и решительной, выросшей в другом мире, хотя и на той же травяной улице, сидят и секретничают. Вдруг Райка краснеет как-то и не своим голосом предлагает Еве кое на что посмотреть. Потом берет кусок оберточной бумаги, в которой Евин отец принес из лавки свечи, продолговатый треугольник, задрав юбку, садится на самый-самый уголок табуретки и на глазах тупо сосредоточившейся Евы засовывает странный треугольник куда-то меж покрытых гусиной кожей худых своих растопыренных ног...

С этого дня Ева начинает избегать Райку Клюкову, но уже через неделю осваивает манипуляции с оберточной бумагой, которые становятся тайным смыслом жизни и проклятием

Евы. А с Райкой она старается не столкнуться на улице даже случайно...

В гостях было хорошо. Отец помалкивал, а Семен сообщал, что знаменитый человек Ферапонт Головатый, первым отдавший все свои сто тысяч государству, тоже вроде бы с тех же самых мест, чем Семен очень гордился, но на керосинщика это никакого впечатления не производило. То ли разговор о больших деньгах, по той или иной причине переходящих в руки государства, казался ему неуместным, то ли еще что-нибудь, но он этой новостью не заинтересовывался.

Когда все, бывало, поедят, Семен брал скрипку – он ведь принесил с собой скрипку! – и вставал, намереваясь поиграть.

Не будем бояться появления Семеновой скрипки – банального аксессуара в историях подобного рода. Ничего не поделаешь – Семен тоже играл на скрипке. Причем неумело и неуверенно, но играл. В основном – разные песни. Скрипка его откопалась в том же монастырьке среди недограбленного в свое время хлама. Откопалась вдруг скрипка, неизвестно кому принадлежавшая – может, регенту, а может, кому еще. Была она, конечно, не в порядке: что-то треснуло, что-то отклеилось, но Семен же недаром был модельщик – с фанерой и долбленным деревом работу знал, – он дал скрипке ремонт, и она, сперва дребезжавшая, заиграла, а Семен стал упражняться.

Семен играл, а Созильвовна тихо говорила:

– Ты, Евка, могла бы иметь принца или фотографа, но разве ты виновата, что не красила губы и не давала к себе пригнуться?..

– Ти-и-ш-ша! – шипит Поля, а Семен играет...

Мы уже сказали, что Семенова эстетика охотнее избирала для изощренных его чувств что получше. Семен не понимал, что своими инстинктивными пристрастиями, хотя и очень непривередливыми, разрушает свою безмятежность, как не знал и того, что в счастливой безмятежности находится. Взявшись когда-то за скрипку, он очень удивился возникновению звука: ведь это он, Семен, помог появиться этому звуку! Выучившись играть разные песни, Семен помимо факта звучания стал удивляться еще и факту мелодии, и тому, что он эту мелодию может сделать тихой и похожей на то, что возникает в нем на меже, когда он повязывал порванную веревкообразную сухую резинку поверх шаровар, чтобы не упали.

Семен играл для своих родственников недолго и немного – песни две, а потом пора было уходить, потому что у Евиного отца был

геморрой и керосинщику предстоял мучительный процесс опорожнения, совершаемый над горшком с горячей водой.

Нужно было еще согреть воду на керосинке, потом остудить, потом подогреть на потом, прежде чем вечерняя жертва отчаянно застонет за занавеской в углу кухни, там, где доски пола неуместно и неудобно для ног покаты, – а что поделаешь, другого места нет, приходится упираться ступнями.

Семен с Евой уходили, а Ева на узкой, почти вертикальной лестнице, а потом, когда переходили улицу, а потом еще и дома вспоминала Семену разные примеры его неотесанного поведения в гостях.

Уже была в полном разгаре весна, даже, можно сказать, раннее лето. Семен пошел позавчера в отпуск и сидел дома у открытого окна и глядел на травяную улицу, которую видел во всем ее летнем блеске, в общем-то, впервые.

Ева с утра ушла на работу. Между прочим, два ее института оказались курсами для счетоводов, и по окончании их она в какой-то промартели сортировала квитанции – вероятно, липовые. Евино недообразование, к слову сказать, считалось на травяной улице невозможным простолоудинством, потому что второе поколение травяной улицы или вообще ничему не училось, или радовало своих родителей улучшением породы в высших учебных заведениях.

Итак, Семен сидел у окна и глядел на половину травяной улицы, слева, там, где колонка, отсекаемую от второй своей половины булыжным трактом, по краям которого к июлю образуется по щиколотку мягкой пыли. Справа улица утыкалась в бессмысленные угодыя колхоза имени Сталина, почему-то существовавшего тут.

Противоположную от Семена сторону улицы занимали семь домов со своими семью дворами; на Семеновой стороне дворов и домов было шесть. Напротив – у самого левого дома – забор был глухой и хороший; у следующего – забора не было, зато росли березы, обводимые вокруг двора большим, но еще молодым тополем; дальше – у дома Дариванны, где «наверху» жили Евины родители, забор был тоже хороший, сплошной, но сейчас он был в виде нехорошем – некому было дать ему ремонт; дальше – снова стоял дом без забора; потом хороший дом с кованой прямой оградой вместо забора; потом – без забора – барак; а дальше – отвратительное на вид жилье с поганим, сколоченным из горбыля штакетником, или, как говорили на травяной улице, «штахетами», на которых мелом было написано БОЛЯВЫЙ.

Вчера было воскресенье, и они с Евой ездили в гости в Маляховку, где Семен опозорил Еву, попросив добавку. Рассви-

репевшая Ева за всю обратную дорогу не сказала ни слова, а поскольку к Еве уже пять дней все равно подходить было нельзя, Семен, не почитавши вслух перед сном отрывной календарь, так и заснул, давно уже привычный к телесному запаху Евиного нашта-тыря.

Сегодня Ева должна была еще пойти в баню, что делала, как известно, ежемесячно и всегда после того, как к ней нельзя было подходить. Она взяла с собой тазик, белье и поехала с работы на Ново-Алексеевскую, потому что ближайшая баня находилась именно там, возле кинотеатра «Диск».

Итак, Семен глядел на травяную улицу и видел траву, березы, небо над березами, белую козу возле кованого забора, взошедшую картошку на раскопанной уличной середке, верхушки яблонь за хорошим забором самого левого дома, людей в том же конце, подходивших к колонке и наполнявших ведра замечательной ее водой, шумящей и белой. Потом люди свои ведра уносили – некоторые женщины, чтобы не расплескать, медленно, на коромыслах, прочие, если по одному ведру, покосившись набок, а если по два – осев и удлинив руки.

Была вторая половина дня. Коров, своей неуместностью несколько нарушавших Семеновы аналогии, с улицы увели, шел кое-какой народ, в глубине четвертого, считая слева, двора два здоровенных парня играли в летнюю уже игру «расшибалку», которая доживала первую неделю своего сезона, а их младший брат увеличительным стеклом что-то выжигал на стене.

...В эту пору дня выжигается хуже, чем с утра, – солнце слабое. Но все равно под увеличительным стеклом, словно осиянный, заселяется деталями кусок разогретой солнцем доски, когда-то давно крашенной жидкой краской за один раз, теперь обшарпанный, но все еще красноватый. Под наведенной линзой он сияюще освещается, становятся видны чешуйки краски в поперечных трещинах, заусенцы, на которых застряли или махрина, или прошлогодняя пушинка одуванчика, или нога косиножки, а то и совершенно целый, но сухой травяной комар. Отсветы от покачивающейся линзы ходят по этому миру туда-сюда, углубляя и уточняя его, а затем эти круглые отсветы равно распределяются в поле зрения, – рука берет расстояние, и на сухом, как сухарь, поле доски появляется крошечное ослепительное солнце; через две секунды из блистающей точки вытекает тонюсенький дымок и пахнет совсем недолго – разогретой краской, Хотите снова почувствовать этот запах? Подоignite спичкой краску на обычном карандаше... Но вот точечное солнце словно меркнет в дыму, и получается на

доске выжженная точка, а на ней иногда – если передержать – крошечный язычок пламени. Дыму становится больше, он теперь синее, и струйка его шире; но тут, не дрожа рукой, надо медленно повести крошечное солнце дальше и, если хватит терпения, что-нибудь написать на горячей, с виду паршивой и старой доске халупки или сарая на задах крайнего от церкви дома...

Еще видит Семен голубей на голубятне, и хотя его пока что сбивают с толку прямизна короткой травяной улицы, непривычный барак, кованный забор, неправильно одетые люди, колонка с замечательной водой, однако белая коза, однако угадываемая под рукой у мальчишки струйка дыма, одинокий пузатый человек, стоящий в свободное время на углу, сложа наверху своего живота руки, – все это обременяет душу Семена не скажем что тоской, но одиночеством.

Как же так получилось, что он попал именно сюда, а между тем, словно бы попал туда, хотя туда не попасть? И почему так получилось, что он попал почти туда? Почти...

Мимо окна проходит нежная старшеклассница, его соседка, направляясь к подруге в крайний справа дом с паршивым штaketником, и – сразу же – из дома напротив появляется мальчик с голубым аккордеоном и пренебрежительно принимается играть песню «Темная ночь». Воодушевленный знакомой музыкой, Семен берет свою скрипку и, встав у открытого окна, начинает подыгрывать мальчику с голубым аккордеоном. Услыхав благородные звуки, каких никогда на травяной улице не слышали, удивленный и уязвленный мальчик замирает, потом сдавливая растянутые мехи, отчего из выпускного клапана и прорванного уголка мехов шумно выходит воздух, и уходит в дом – потому что он очень самолюбивый мальчик.

А Семен, с самолюбием дела не имевший, играет еще два куплета, а потом начинает играть «Марш Буденного». Он не замечает, что травяная улица быстро преобразуется, ибо сроду не видала и не слышала, чтобы человек стоял в окне и играл на скрипке.

Люди, какие были, как бы расходятся по домам или просто куда-то деваются, игравшие в расшибалку садятся в глубине своего двора на скамейку, и все вокруг словно бы конфузится, словно бы испытывает неловкость за такое нелепое поведение человека. В домах за занавесками, поворотясь ухом к окну, стоят женщины и удивляются: вот как успела эта Ева – он еще и на скрипке играет, но дурак есть дурак, стоит у открытого окна и играет.

Семен доигрывает «Марш Буденного», а потом начинает свою самую любимую, которую играет очень редко, потому что песня

невыносима, нестерпима даже для его безмятежного сердца. Он начинает, и песня получается как никогда хорошо-хорошо. Как раз из-за угла дома появляется собравшаяся куда-то, похожая на артистку Татьяна Туркина. Она останавливается перед стоящим в окне Семеном и спрашивает:

– Что это вы играете, такое приятное?

– «Ой-ой, купите папиросы!» – говорит Семен и, глядя в красивые глаза Татьяны Туркиной, добавляет: – Песню такую одну...

А песня эта, такая одна, захватывает Семена настолько, что горло ему вдруг стискивает страшная сила, а ровная линия домов перед глазами изламывается, земля под домами вздувается горой, и наверху этой горы из материализовавшейся струйки дыма вот-вот возникнет церковь. Вот-вот и домики столбятся по склону, березы исчезнут, а домики побуреют, а воротца их посереют, а пузатый человек, стоящий на углу, вытянется в черного, бородатого и тощего.

«Поглядите – ноги мои босы...», – играет Семен, и возникшее видение чуть-чуть тускнеет, потому что здравый смысл Семена быстро учитывает требования великого артиста, желавшего, чтобы все было взаправду; и Семен, уже изъездивший смычком свою одинокую невинную душу, зачем-то скидывает, продолжая играть, обувь и продолжает играть босиком, и на снова определившейся горе возникает не только церковь, но – Господи! – и крайний дом – ну, Господи Боже ты мой! ну, Боже ты мой! – ну ждут же, ждут же, давно его ждут! И стоит босиком, и играет – поглядите – ноги мои босы – Господи Боже ты мой...

Татьяна Туркина, положив со стороны улицы руки на подоконник, слушает, закрыв прекрасные глаза, а со стороны колхоза имени Сталина на улицу входит усталая после бани Ева. Она видит у своего окна Татьяну Туркину, она видит стоящего в проеме этого окна и не замечающего ничего в своем визионерском забытьи Семена. Ева идет с тазиком из бани. Ева уже понимает, какую глупость делает этот идиот, играя в открытом окне на всю улицу; и дело даже не в этой цыпе-дрипе из наркомата, хотя в ней тоже дело. Ева переходит травяную улицу напротив своего дома... Ой-ой, купите папиросы, подходи, солдаты и матросы... Ева не солдат и не матрос, но она подходит к своему дому, всходит на крыльцо... Ой, купите, не жалейте, сироту меня согрейте... Ева входит в дверь, неповоротливо протискиваясь с банной котомкой и эмалированным тазом за спиной Семена...

– Здравствуй, Ева! Спасибо, Семен. До свидания! – говорит Татьяна, и голова ее исчезает за подоконником, где в то же мгновение улетает с дымом гора, так и не закаятая Семеном остаться стоять и стоять.

– Почему это? – говорит Ева, увидев, что Семен стоит босиком возле своих полуботинок. Водичка под ее кожей то сереет, то бурет. – Босый перед всей улицей? – шепчет она скомканным горлом. – Зачем? – Потом берет с трельяжа кусок бесценной канифоли и, когда он разлетается у ног Семена в сахарные брызги, говорит, хрипя:

– И такое габдо мы пустили в дом! Уходи отсюда вон!

И вот Семен видит, как за Евой захлопывается дверь, но, потрясенный ее словами, за ней не идет, а начинает собирать с пола сахарные брызги и желтоватые крошки в пустую коробочку изпод гуталина. Потом искать становится труднее, начинаются сумерки, и Семен на спичке сплавляет в коробочке янтарную слезу; затем, опомнившись, отправляется к родителям «наверх», но там двери заперты, и вода у дверей кем-то принесена, и он идет по траве обратно, и он – уходи отсюда вон! – не знает, что делать, и ложится лицом вниз – уходи отсюда вон! – а диван клеенчатый и скользкий – уходи! – куда уходить?.. И он не знает, что делать со своей обидой – вон! – потому что, потому что это первая его обида – они пустили в дом! – а что такое первая обида, знают все, кроме него, а он узнал только что – уходи отсюда! как это? – он же вот-вот и превратил бы травяную улицу в горбатую гору с домиками, а теперь – уходи отсюда! – он бы оставил эту гору стоять... стоять... стоять... и крайний от церкви дом, где его давно ждут... И он начинает плакать в этих сумерках. Плакать он начинает, вот что. Плачет наш Семен, плачет наш Семенчик. Не плачь, Семенчик, а то коза забодает! Забодает коза тебя, Семенчик, мальчик мой...

И не знает он, что сиротский плач его, что его непоправимая наивность и ненужность, его чудеса в коробочке, его красоты безобразного, его смычок – кривая сабля народа, которая не только не способна с широких плеч отсечь голову татарину, но за пару тысячелетий так и не смогла перепилить свои жалкие скрипочки, всегда останавливаясь на первом же стоне своей жертвы, недоубивая ее, зато истязая и доводя до плача; не знает он, что сиротский плач его уже остановлен в пространстве и во времени, зафиксированы банальные скрипачи, химерические невесты и травяные ули-

цы. Не знает он о сиротских плачах полубанального творца этих чудес, о котором здесь, на здешней травяной улице, никто даже слыхом не слыхивал, а услышит разве что когда-нибудь только мальчик с голубым аккордеоном и то, если не помрет в своих больницах и не зачитается химерами из жития Ферапонта Головатого; не знает он, что этот художник уже исторг из себя все, что неисторжимо и нерасторжимо, плюс себя самого и его самого, и по-сиротски плакал этот художник, каждый раз плакал и не мог заплакаться, пока не уложил на травяной улице меж домов покойника, и тогда сразу же отрыдал по всему. А Семен наш плачет и не знает, что покойник уже провиден, проречен художником, победоносно шлифующим эспланады черт его знает где.

ТЕАТР МАРИОНЕТОК

Вот ты выходишь из дома и идешь, предположим, в магазин – молока прикупить, или хлеба, или еще чего-нибудь из провианта, – мало ли что человеку надо, тем более, когда он один, не обременен семьей и прочими общественными условностями, а посему никто и не взвалил на себя нелегкую, ох как нелегкую в нашей чудной стране заботу о его пропитании, а ведь есть-то человеку надо, даже если он неприхотлив и привык обходиться самым что ни на есть минимумом, – так только, червячка заморить, покидать что-нибудь внутрь, чтобы под ложечкой не сосало; итак, выходишь и идешь в магазин, идешь спокойно, никого не трогая и по сторонам особенно не глядя, так как встретить никого из знакомых не ожидаешь – их здесь просто нет, не обзавелся, хотя и живешь в этом районе уже второй десяток лет, наблюдая с понятным отстранением за его превращением из болота естественного в болото заасфальтированное; минуешь несколько одинаковых как страшный сон домов, отличить которые друг от друга можно лишь по местонахождению и контурам подтеков на некогда, возможно, белых стенах, переходишь улицу, где нередкие автомобили с маниакальным упорством гоняются за редкими пешеходами, подходишь к магазину, покорно встаешь в неизбывную очередь и пытаешься узнать у впередистоящих – что же, собственно говоря, дают? – на что тебе раздраженно отвечают: «Какая разница, хорошо еще хоть что-то дают», – с чем ты, конечно, соглашаешься, потому как давно уже привык определять свой рацион не тем, что хочется, а тем, что в данный момент есть, а так как есть в каждый отдельный момент очень и очень немного (если вообще есть!), то и нечего вы-

пендриваться, действительно, хорошо еще хоть что-то дают, спасибо и на том, интересно только, хватит ли на всех? – что ты и формулируешь в своем следующем вопросе, получая исчерпывающий ответ: «Вообще-то просили больше не занимать», – после коего окончательно утверждаешься в очереди, чтобы в который раз испытать судьбу: становишься поудобнее и даже начинаешь подумывать – а не развернуть ли специально припасенную для такого случая газетку, как вдруг слышишь тихий-тихий шепот: «Мы за вами, дорогуша, давно наблюдаем», – он доносится сзади, из-за спины, и ты инстинктивно вздрагиваешь, хотя и не сразу понимаешь, что голос этот обращается к тебе, а когда, наконец, понимаешь, то вдобавок быстро покрываешься холодным потом, деревенеешь и с трудом, с огромным усилием поворачиваешь голову, ожидая увидеть самое страшное (человека с ружьем? конвой? черный ворон? людей в серых плащах с квадратными челюстями? вохру? и т. д., и т. п. – весь богатый набор, навеянный нехилой историей родного государства), но видишь лишь субтильного мужичонку с вытарщенной истовостью в сильно косящих глазах, одетого то ли в ватник, то ли в зипун – ты в этом плохо разбираешься и, к тому же, на твой взгляд это мало похоже и на то и на другое, зато (и в этом ты уверен больше) торчащая из-под распахнутого ватного зипуна рубаха сильно смахивает на косоворотку, в которых так любят плясать многочисленные ансамбли разной степени самодеятельности. Мужичонка стоит не прямо за тобой, а как-то сбоку – похоже, подошел только что, и, внимательно его оглядев, ты успокаиваешься, у тебя возникает мысль, что подошел он только затем, чтобы пристроиться в очередь, пусть и очень неуклюже, даже довольно странно, но не тебе же его учить, в конце концов, кто как умеет, универсальных рецептов тут нет, каждый действует на свой страх и риск – одни нахрапом, другие вот так, в расчете на неожиданность и слабину, – такое объяснение выглядит вполне убедительно, и ты холодно вопрошаешь: «Ну и что?» – давая всем своим видом понять, что этот номер у него не пройдет, знаешь ты таких, встречался, пусть лучше поищет себе кого другого, кто поглупее, а здесь ему ничего не обломится, – на что мужичонка отвечает: «Ничего, молодец», подхихикивает, мигает сразу обоими глазами, отчего рожа его становится удивительно мерзкой, и как-то незаметно исчезает, чтобы тут же появиться с другой стороны вместе с очень рассыпчатым на вид старичком в номенклатурном каракулевом «пирожке» – живой (пока еще) иллюстрацией на тему брэнности всего сущего. Старичок доверительно берет тебя за локоток, тут же виснет на нем, смотрит прямо в глаза и горячо шепчет: «Да, товарищ, да, вы совершенно правы. Мы с вами. Мы

тоже так считаем, потому что иначе считать истинному патриоту земли русской никак нельзя. Нет у нас такого права в этот роковой для Отечества час!», — добравшись до самой высокой ноты, он закатывает глаза и окончательно повисает на тебе, исчерпав, видно, этой тирадой жалкие остатки своих иссякающих сил. Ты подхватываешь его под руку, смотришь на сцепленное морщинами желтое лицо, испуганно дожидаясь скоропостижной кончины прямо на твоих глазах, затем моляще — по сторонам, надеясь на чью-нибудь помощь, натыкаешься на укоризненный взгляд мужичонки, направленный куда-то сквозь тебя и далеко, обращаешь внимание, что тот тоже поддерживает старичка со своей стороны, слышишь его негромкие причитания — «какой человек, а, какой человек...» — и лихорадочно думаешь, что надо бы вызвать «скорую», но тут вдруг что-то затмевает свет, ты машинально поднимаешь голову и долго скользишь взглядом по потертой шинели, пока не добираешься до самого верха, где парит розовощекое, как у младенца, лицо, явно не подходящее для такого громоздкого тела, — лицо без всякого выражения смотрит сверху вниз, так что невозможно понять, видит ли оно тебя или что-то другое, его взгляд гипнотизирует какой-то совершеннейшей пустотой, заставляет тебя вновь опустить голову и увидеть, как от шинели отклеиваются две руки, берут старичка, легко взваливают на обширное плечо (очередь по-прежнему безучастна) и под неумолкающий речитатив мужичонки (ах, ах, какой ужас, такая потеря, никак не могу поверить, ведь только что... и на вот, уже нет, как же нам теперь...) уносят прочь. «Да, — прерывает мужичонку уверенный голос, когда Шинель со своей скорбной ношей скрывается за домами, — такие дела. Был человек — и нет человека. И какого, блин, человека! У-у, хриstopродавцы, мать вашу!..» — голос прерывается, и неведомо как возникший рядом с мужичонкой начальнического вида мужик угрожающе сдвигает кустистые брови, так что его сытое, холеное лицо обретает сильное сходство с портретом какого-то бывшего члена Политбюро — какого именно, ты не успеваешь вспомнить, так как Начальникообразный с тем же выражением лица вдруг быстро открывает свой кожаный кейс, полный каких-то документов, выхватывает небольшую книжечку и сует ее тебе. «Вот, — говорит он, — почитай, здесь все про них, гадов, есть. Впрочем, — он властно берет тебя за локоть и отводит в сторону, — мы знаем, ты и так — наш». «Да, да, да, — вторит ему следующий за вами, как пришитый, мужичонка, — мы давно за вами, любезный, наблюдаем. Очень правильно вы поступаете, что не женитесь, оч-чень правильно. Риск слишком велик...». «Еще бы, — многозначительно кивает Начальникообразный, — хрен знает что творится. Здесь, в Мо-

скве»... «Матери городов всех русских», – торопливо добавляет мужичонка. «Вот именно», – подтверждает Начальникообразный и, выдержав паузу, продолжает: «И какую ты здесь бабу ни возьми – хоть на десять процентов, но будет еврейка». «Чистокровных почти не осталось, – скорбно вздыхает мужичонка, – а если и осталось, то очень мало». «Сотни три-четыре, не больше», – уточняет Начальникообразный. «И все разобраны нашими», – заканчивает мужичонка, и они на короткое время замолкают – ровно на столько, сколько тебе необходимо, чтобы бросить взгляд на книжечку и прочитать скромное название «Жиды», оттиснутое черной краской на желтоватой обложке. «Только вот в церковь ты не ходишь, – после паузы говорит Начальникообразный, – а зря». «Да, нехорошо получается, – волнуясь, поддерживает его мужичонка, у которого глаза косят уже так, словно каждый из них окончательно задался целью смотреть ровно в противоположную сторону, чем смотрит другой, – храм Божий надобно посещать. Очищаться, так сказать, от неминуемой скверны». «Ничего, ничего, – успокаивающе произносит Начальникообразный, – успеешь еще исправиться. Дурное дело нехитрое», – с ухмылкой добавляет он и смотрит на мужичонку, который от его последних слов вздрагивает, быстро крестится и опускает взгляд, делая вид, что внимательно что-то рассматривает под ногами. «А ты хоть крещен?» – внезапно с подозрением спрашивает Начальникообразный. Ты молча киваешь, не в силах понять – что же такое здесь происходит? «Хорошо-о, – одобрительно тянет Начальникообразный, а мужичонка вновь берет тебя в клещи своих косящих глаз. – Ну что ж... Думаю, можно. Товарищ подходящий». «Да, да, – поспешно соглашается мужичонка с таким видом, будто только что родил тебя сам. – Мы за ним давно наблюдаем». «Знаю, – обрывает его Начальникообразный, – не только вы. – И тут же спрашивает: – И что?» «Прекрасное поведение! – восклицает мужичонка. – К русофобской литературе не склонен, в митингах и демонстрациях масонского содержания не замечен. Сидит дома». «А отношение к партии?» – глубокомысленно, словно слышит об этом впервые и прямо так, на ходу, вынужден принимать решение, продолжает вопрошать Начальникообразный. «Лояльное!» – мужичонка аж щелкает каблуками и вытягивается во фрунт. «Выводы?» – требует Начальникообразный. «Перспективен», – мужичонка расслабляется. «Совпадает, – выудив из кейса бумажку, озаглавленную «Рапорт», и внимательно ее прочитав, констатирует Начальникообразный и вдруг заключает тебя в почти восторженные объятия с тихим криком: «Наш, наш!». «Ура!» – окунувшись в облако душистого лосьона, приглушенно слышишь ты ликующий голос мужичонки, затем ощущаешь соч-

ное троекратное прикосновение к щекам и наконец вновь обретаешь относительную свободу, которой одновременно хочешь и не хочешь воспользоваться, так как, с одной стороны, все это тебе кажется в высшей степени странным и во многом пугающим, а с другой стороны – одолевает естественное человеческое любопытство, круто замешанное на тщеславии: ведь тебя признали, выделили за что-то из ряда многих других, – а это приятно, это действует на самолюбие, не позволяет так просто взять и уйти, не узнав толком – что именно им от тебя нужно? И последнее оказывается сильнее, ты молча выслушиваешь предложение Начальникообразного проследовать для более обстоятельного разговора, киваешь, ощущаешь на своем локте цепкую лапку мужичонки и начинаешь петлять вместе с ним между домами – сначала особенно не приглядываясь, но потом все больше и больше начиная подозревать, что маршрут выбран не без лукавства: вы явно крутитесь по кругу, проходя одни и те же места по нескольку раз, уходя от них и снова возвращаясь с другой стороны, и опять уходя, и опять возвращаясь (Начальникообразный при этом то и дело оборачивается назад, настороженно высматривает что-то за твоей спиной, а наткнувшись на твой вопросительный взгляд, зловеще сообщает: «Возможна слежка»), пока откуда-то сбоку не выныривает Шинель, с которым Начальникообразный быстро перебрасывается несколькими фразами, после чего Шинель выуживает из своей одноименной одежды веник и, пристроившись в кильватер, начинает тщательно заметать за вами следы. С этого момента ваше движение приобретает более целенаправленный характер, из возвратно-кругового оно превращается в прямолинейно-поступательное, вы минуете несколько кварталов, затем следует кратковременная остановка, во время которой Начальникообразный достает из кейса широкую черную ленту и завязывает твои глаза, приговаривая: «Так надо. Лучше меньше, да лучше... Кадры, ядрена корень, решают все...» – потом возникает подъезд с заунывно-скрипучей дверью, спуск куда-то вниз, еще дверь, в нос тебе ударяет затхлая сушь подвала, чьи-то руки развязывают повязку, она спадает с лица, но ты ничего не видишь и в первый момент думаешь, что это тебе только показалось, повязку лишь поправили, но не снимали; тут вдруг вспыхивает зажигалка, на мгновение ослепив тебя и заставив зажмуриться, а когда ты открываешь глаза, то первым делом замечаешь горящую свечу, затем из окружающей тьмы постепенно проявляются человеческие фигуры и скопище толстых труб; ты тревожно силишься разглядеть еще что-либо, что помогло бы тебе выбраться обратно, но в этот момент сопровождающие трогаются дальше и ты волей-неволей вынужден идти вслед за ними, чтобы

не остаться в кромешной темноте неизвестно в каком месте. Теперь тебя уже не ведут за руки да и в проходах этих можно идти только гуськом, что вы и делаете. Впереди со свечой идет Начальникообразный, следом за ним – мужичонка, который все время что-то шепчет, с каждой минутой все громче и громче, пока ты не догадываешься, что это какая-то одна нескончаемая молитва, затем – ты, а сзади над твоим затылком нависает жаркое дыхание Шинели. В таком порядке вы проходите один подвал, по бетонному лазу, пригибаясь, попадаете в следующий, затем еще в один, еще, наконец, когда ты сбиваешься со счета и уже почти уверен, что всю оставшуюся жизнь вынужден будешь путешествовать по бесконечным подвалам, перетекающим один в другой, Начальникообразный вдруг останавливается у массивной железной двери с красным колесом в центре и несколькими запорами по краям, поворачивается, передает свечу сразу замолкшему мужичонке и торжественным голосом с отчетливым оттенком угрозы, обращаясь к тебе, произносит: «Сегодня на твоих глазах от нас ушел видный деятель патриотического движения, скромный боец невидимого фронта, наш друг Иванов Иван Иванович. Сам понимаешь, звали его не так, но настанет день, и мы во весь голос назовем подлинное его имя, которым будет гордиться вся страна, и выьем его золотыми буквами на священной Кремлевской стене. Ты должен не ронять имени героя, на место которого ты входишь в наши ряды. А уронишь – пожалеешь. Аминь». Он пристально смотрит в твои глаза, как бы проверяя, насколько глубоко в твою душу и память проникли эти слова, переводит взгляд на своих соратников, несколько секунд всматривается в них, кивает, поворачивается и начинает крутить колесо, освобождая дверь от запоров. В открывшемся проеме обнаруживается широкий коридор, застеленный ковровой дорожкой, который проходит мимо множества безымянных деревянных дверей, не имеющих даже номеров, и упирается в двустворчатые стеклянные со скромной табличкой «Отец». Мужичонка и Шинель дружно испаряются, оставив после себя лишь странный чмокающий звук, быстро гаснущий в сумрачном коридоре, а Начальникообразный, как-то неуловимо съезжаясь по пути, ведет тебя по дорожке к стеклянной двери. Когда до нее остается несколько шагов, откуда-то сбоку бесшумно появляется бесцветная фигура в кожанке, скособоченная на один бок из-за оттопыренной справа подмышки. Оттопыривается она так, будто там не пистолет, а по меньшей мере миномет с приличествующим тяжелой современной обстановке боезапасом. Фигура делает знак остановиться, обыскивает вас и лишь после этого распахивает одну створку. Начальникообразный, ужавшись до почти полного те-

лесного отсутствия, толкает тебя в спину, заставляя войти, и втекает следом. Немая сцена. Присутствующие разглядывают тебя, а ты – их и все остальное. Лишь один человек в огромной комнате, больше смахивающей на средних размеров конференц-зал, не обращает на тебя никакого внимания, – он стоит на трибуне, перед которой помещен телевизор, показывающий запись какой-то демонстрации, и, горячо жестикулируя, быстро-быстро говорит. Что именно – разобрать практически невозможно, только долетает обрывочно: «у вас будет все... я вам гарантирую... такой же, как вы... мать – русская, отец – юрист... -ая квартира... жена... каждому по миллиону...». Похоже, запись демонстрации он смотрит далеко не в первый раз, принаоровился и точно делает паузы именно тогда, когда из телевизора доносится дружное «ура!». Трое остальных смотрят на тебя и чего-то ждут. Может быть, чтобы ты бухнулся перед ними на колени или закричал «Хайль!». Вместо этого ты говоришь им: «Здравствуйте», а из-за твоей спины начинается торопливый бубнеж Начальникообразного: «Вот, привели кандидата на предмет, так сказать, ознакомления и последующего использования. Похоже, наш человек, но требуется всесторонняя проверка во избежание, так сказать, утечки. Со своей стороны рекомендую, но не совсем, потому как понимаю всю меру ответственности»... Тут его прерывает нечто отъето-волосатое, похожее на давно не стриженного борова, сидящее в центре под киотом с тлеющей лампадой и красным знаменем с серпом, молотом и Георгием Победоносцем на стальном коне времен первой пятилетки, убивающим сразу копьем, мечом, булавой и автоматом Калашникова многоголового змея – не иначе, гидру империализма. Лицом Георгий Победоносец сильно смахивает на Ильича. «Короче», – подчеркнуто вяло говорит Нечто, и выражением и голосом обозначая несопоставимость твоей личности и тех судьбоносных дел, которые он ежеминутно решает и от которых вынужден сейчас отрываться. «Все», – поспешно закругляется Начальникообразный, а ты вздрагиваешь и почему-то, сам того не замечая, встаешь по стойке «смирно». «Ясно», – Нечто медленно кивает и поворачивается к сидящему справа – этакому крепенькому боровичку лет пятидесяти в офицерском френче образца 1913 года и папахе, который тут же устремляет на него ответный немигающий взгляд и утробно рывкает: «Согласен!». Нечто молча поворачивается налево – к обладателю усов, очков и вполне цивильного костюма, из-под которых торчат бесконечные углы, в совокупности составляющие его тело. На первый взгляд кажется, что он весь состоит из кое-как сляпанных друг с другом треугольников, на второй – это впечатление усиливается, а после нескольких минут созерцания ты уже

иначе как Треугольником именовать его не в состоянии. «Хочу поинтересоваться, – ласково, особенно по контрасту с Боровичком, начинает он, – насколько, э-ээ... сударь осознать оказанное ему доверие?». «Да, насколько?» – требовательно вторит ему Боровичок и косится на Нечто. «Говори», – шипит и толкает тебя в спину Начальникообразный, но так как ты растерянно молчишь, перебирая какие-то слова и тут же их отбрасывая, судорожно пытаюсь овладеть собственным голосом и словно застывшим сознанием, то он сам нетерпеливо выкрикивает: «Осознал!» – и сей же момент пугается определенности сказанного и торопливо добавляет: «Но, думаю, не совсем, хотя и в достаточной степени, чтобы вести дальнейшую работу, которая, конечно, будет большой, потому что в целом, считаю, этого явно недостаточно для полного, так сказать, доверия и веры в наше общее дело, которое требует полного подчинения, чистоты помыслов, идейной твердости и самоотдачи. Мне кажется, что...» – договорить ему опять не удастся, так как звуки, которыми обмениваются Оратор и телевизор, внезапно усиливаются и начинают заглушать все вокруг. Некоторое время Начальникообразный еще по инерции открывает рот и выбрасывает из себя порции воздуха, о чем ты догадываешься по упругим ударам в затылок, затем замолкает, испустив на прощание тяжелый и гнилостный вздох. Нечто с недовольным видом начинает копаться в карманах своих штанов, вынимает небольшую коробочку, что-то в ней вертит, нажимает, отчего по экрану телевизора идет рябь, а речь Оратора то убыстряется, то замедляется, кочует от баса до скопческого фальцета, но не становится тише, – Нечто сердится, трясет коробочку, хочет шмякнуть ее об пол, но Треугольник, вскочив с места, вовремя перехватывает его руку, берет коробочку и начинает над нею колдовать. Проходит несколько минут, прежде чем раздается отчетливый щелчок, и Оратор вместе с телевизором разом замолкают. Телевизор при этом еще и гаснет, а Оратор застывает, воздев руки к далекому потолку и глядя со свернутой шеей куда-то назад и в сторону, словно актер, в самый патетический момент вдруг напрочь забывший свою роль и теперь пытающийся обнаружить сзади шпаргалку. Но шпаргалки нет и остается только держать последнюю позу, как единственное, что с ролью еще связано. «В чем дело?» – в наступившей тишине недовольно спрашивает Нечто у Треугольника. «Перепад напряжения», – продолжая разглядывать коробочку, отвечает Треугольник. «Отрегулировать. И найти – кто виноват», – командует Нечто, и Треугольник, все так же не отрывая глаз от коробочки, небрежно кивает. Нечто пристально смотрит на него, как бы решая – то ли двинуть как следует по этому непатриотично-сосредоточенному профилю,

то ли погодить, затем поворачивается к тебе, устремляет свой взгляд насквозь и далее, и недовольство, так и выпирающее из его лица, начинает цементировать брезгливостью. «Кого вы нам привели?» – еле шевеля губами вопрошает он, а акустика, многократно отражая и усиливая его слова, доносит до тебя что-то почти громобойное. «Как... но... это же...» – Начальникообразный тут же впадает в панику, и никакой лосьон не в состоянии уже скрыть звериный запах, исходящий от него. Ты спиной чувствуешь его ненавидящий взгляд и поэтому машинально делаешь шаг вперед и в сторону. «Стоять!» – тут же орет Боровичок и, привстав, начинает скрести пальцами ягодицу, где, видимо, с детства привык ощущать весомое прикосновение кобуры. Но сейчас там пусто, и Боровичок бессильно плюхается обратно в кресло, обозревая шальными глазами рушащийся на глазах привычный мир. Треугольник, спрятав коробочку до лучших времен, одним взглядом оценивает обстановку и как бы невзначай бросает в оцепеневшее пространство: «Подозрительно...». Нечто, замерший от крика Боровичка, шумно выдыхает и спрашивает: «Что? Что подозрительно?». Треугольник, изобразив растерянность человека, внезапно застигнутого за высказыванием вслух своих мыслей, помедлив, отвечает: «Шаг влево». Нечто и Боровичок, прищурившись, пытаются сопоставить твое прежнее и нынешнее положение. Получается явно со скрипом. Краем глаза ты видишь, как Начальникообразный, не желая больше иметь с тобой ничего общего, бочком отодвигается, пока не размазывается по стенке в углу. Тебе даже кажется, что он, как хамелеон, меняет окраску, потому что вскоре его уже невозможно распознать на фоне стены. «Так, – наконец нарушает тишину Нечто. – Интересно...». «Да уж, – отзывается Треугольник, – весьма любопытно». И только Боровичок, намереваясь что-то сказать, бессильно разевает рот, из которого не доносится ни звука. Тебе впервые за все это время становится по-настоящему страшно. «Но послушайте...» – начинаешь ты, пытаясь что-то объяснить (непонятно только что – ведь суть их претензий от тебя ускользает, ты все их слова воспринимаешь как какую-то галиматью, птичий язык, разговор немного с глухим и частично безумным; ясно только, что этот разговор тебе угрожает, знать бы еще – из-за чего?), но тебя перебивают. «Давай», – отрывисто бросает Нечто, Треугольник жмет кнопку на подлокотнике, и в ту же секунду, как чертик из коробочки, заставив тебя вздрогнуть, в комнате появляется Бесцветный. Тот ли это Бесцветный, что встретил тебя, или другой – сказать невозможно, ведь дверь – ты уверен – не открывалась, но если даже и другой, то похож он на первого как две капли воды, как похожи два бройлера из одного инкубатора.

«Дело», – требует Треугольник, и Бесцветный неуловимым движением выхватывает откуда-то из воздуха за своей спиной толстый скоросшиватель. «Родился... Учился... Семья... Поступил... Знакомые...» – скучным голосом заплесневелого бюрократа он начинает перечислять то, что ты и так о себе знаешь. «Без лирики», – пресекает всю небогатую хронологию твоей жизни Треугольник, и Бесцветный, запнувшись, быстро выпаливает: «Племянник соседа по парте эмигрировал в Израиль, сокурсница вышла замуж за американца, а сам четырнадцать раз слушал «Свободу», «Голос Америки» и «Немецкую волну», а также был трижды замечен у посольства ФРГ». «Что скажете?» – со слащавой улыбочкой спрашивает Треугольник, и ты не сразу замечаешь, что вопрос этот обращен к тебе. «Я... как-то... А что?» – мямлишь ты. «Он в этом не видит ничего страшного!» – возмущенно комментирует Боровичок. «Ясно. Дальше», – вмешивается Нечто, и Бесцветный продолжает: «Дважды с ним вступали в контакт иностранцы. Японец и француз. Оба раза спрашивали дорогу и оба раза он указал дорогу правильно». «Видел бы его Сусанин! Патриот называется...» – опять возмущается Боровичок. «Четыре раза был замечен неподалеку от митингов демократов и только один раз – неподалеку от нашего митинга. Интересы к последнему не проявил...» – тускло перечисляет Бесцветный, а в унисон ему из угла вторит нарастающий шепот Начальникообразного: «Я с самого начала его заподозрил, я сразу понял, что дело тут нечисто, но Пономарь уперся – наш это, дескать, наш, я давно его на примете держу, он нам подходит, – а я чувствовал, что не наш, чувствовал, я и вести его не хотел, но Пономарь заставил, надо и его проверить, а я не виноват, это все Пономарь, это он...» – шепот, бесконечно длящийся на одной ноте, точно Начальникообразный не оправдывается, а в сотый раз читает скучнейший циркуляр, давно уже выученный наизусть, читает привычно, без огонька, по обязанности, засыпая от монотонных звуков собственного голоса, который с черспашьей медлительностью набирает силу, оставаясь в то же время не замеченным никем, кроме тебя. Троица по-прежнему слушает Бесцветного, больше не перебивая, а тот все перечисляет и перечисляет твои прегрешения: «Очень плохая наследственность. Прадед по материнской линии был замечен в либералах и любил кричать дома «Долой царя!», впрочем, не очень громко, а прабабка по отцовской линии часто заходила в кондитерскую Циперовича и даже здоровалась с хозяином...» – которые уже еле долетают до тебя, перебитые шепотом Начальникообразного, – этот шепот гипнотизирует, вгоняет тебя в состояние полного безразличия: голоса куда-то отходят, воспринимаются отдаленно, как сквозь вату, и

тебе кажется, что все это к тебе не относится, все происходит с кем-то другим, а ты где-то далеко-далеко, сидишь совершенно в другом месте и тупо смотришь на однообразную серую стену, которая тебя окружает, поглощает, засасывает, постепенно сводит на нет, а затем вдруг с грохотом выплевывает все в ту же большую комнату, к замолкшему Бесцветному и сосредоточенно ползущему на карачках в сторону троицы Начальникообразному. В наступившей тишине слышно только его пыхтение и еще какое-то поскрипывание, доносящееся из-за ближайшей портьеры. Ползти Начальникообразному тяжело, он с усилием двигает конечностями, оскальзывается на натертом паркете, пару раз клюет носом пол, но упрямо продолжает двигаться к троице, пока Нечто, махнув рукой, вдруг не произносит: «Ладно, прощаю. Пока... Но если еще раз...». «Отец родной! – вскакивая на ноги, но не решаясь окончательно распрямиться, кричит Начальникообразный, и в голосе его невозможно уловить никаких следов радости, – так, одна лишь скука и взвинченный до предела звук – продукт истерии, доведенной до автоматизма. – Отец родной! – кричит он. – Дай облобызать ножку твою бесценную, ненаглядную!» – и тянется, тянется к искомому предмету и не старается дотянуться. «Это ты, братец, брось, – помягчевшим голосом говорит Нечто. – Сам знаешь, я этого не люблю. Им, так и быть, целуй, – широким жестом он указывает на двух своих приближенных соратников, – а мне нет, не люблю». Начальникообразный всхлипывает, падает на колени и со звонким причмокиванием начинает лобызать ботинки Треугольника. «Ну рублем-то мы тебя накажем», – любовно глядя на эту сцену, грозит пальцем Боровичок. «Накажем, накажем», – с удовольствием подтверждает Нечто. «И долларом тоже накажем», – со смешком добавляет Боровичок. «Накажем, накажем», – вновь откликается Нечто. «Наказывайте, наказывайте, – соглашается Начальникообразный, перемещаясь к сапогам Боровичка. – Готов, так сказать, понести». «Понесешь, понесешь», – Боровичок наклоняется и ласково гладит Начальникообразного по остаткам волос. «Понесу, понесу!» – торопливо восклицает Начальникообразный и с еще большей истовостью лобызает его сапоги. «У нас ведь тут все запросто, по-семейному, – благодушно обращается к тебе Нечто. – Без всяких там новомодных штучек. Провинился – ответь, а уж коли прощен – значит прощен», – и смотрит на тебя так, будто ждет теперь каких-то твоих ответных слов, будто уверен, что они сейчас последуют. Но ты молчишь. «Покайся, покайся, дурак!» – доносится зловещий шепот из-за ближайшей портьеры. Ты продолжаешь молчать. «Так что?» – уже менее благодушно спрашивает Нечто. «Что?» – делая вид, что не понял, пере-

спрашиваешь ты. «Что делать теперь будем?» – совсем неблагодарно уточняет Нечто. «Не знаю», – вполне искренне отвечаешь ты. «Покайся, дурак, авось простит», – уже в полный голос надрывается кто-то из-за другой портьеры. Но ты уже переступил через черту, ты уже понял, что так не сможешь, не получится, к тому же ты никак не хочешь поверить, что это всерьез, уж больно опереточно выглядит все происходящее, и хотя тебе совершенно не смешно, ты давишься от нервного смеха и боишься раскрыть рот, чтобы он не выплеснулся наружу. «Упорствуем», – как бы про себя замечает Треугольник, «Неисправим», – добавляет Боровичок, «Ну что ж, – подытоживает Нечто, – сам виноват. Не хочет – не надо», – и все трое смотрят на Начальникообразного, который закончил с поцелуями и теперь стоит вполоборота на почтительном, но не очень далеком расстоянии от них. «Начинай», – говорит Нечто, и Начальникообразный, выйдя на середину комнаты, вкрадчиво произносит: «А знаешь ли ты – кто ты такой есть после этого?». «Знает, знает», – раздается из-за дальней портьеры, и, колыхнув тяжелую ткань, в комнате появляется уже знакомый тебе мужичонка. «А знаешь ли ты, – дождавшись, когда он подойдет и встанет рядом, продолжает допрашивать тебя Начальникообразный, – курва вонючая, что мы делаем с предателями?». Твой нервный смех уже давно прошел, но зубы так и остались стиснутыми, а простая мысль о том, что все это не сон, не шутка, а самая настоящая реальность, непозволительно медленно заполняет твое спасающееся в неверии сознание. Ты слатываешь вдруг накопившуюся слюну и неожиданно замечаешь, как, пожалуй, впервые за весь вечер лицо Начальникообразного посещает совершенно искреннее, непритворное выражение радости. «Знает, знает. А не знает – так скоро узнает», – доносится из-за другой портьеры, и в комнате, как ни в чём не бывало, появляется старичок, которого недавно так горько оплакивали. И никого, в том числе и тебя, это не удивляет. «А знаешь ли ты...» – вновь начинает Начальникообразный, но Боровичок его сердито прерывает: «Да все он, сволочь, знает!», а в центр комнаты бесшумно выходят Шинель и Бесцветный. «Тогда последнее слово подсудимому», – Начальникообразный пытается сурово хмурить брови и говорить торжественно и значительно, но радость так и распирает его лицо, плодя чудовищные гримасы и неприлично-звонкие звуки. «Лишается», – вяло машет пухленькой ручкой Нечто, и Начальникообразный, не выдержав, срывается на восторженный крик: «Официант, ядрена вошь, приговорчик!». Все дружно смотрят в угол, где стоят большие напольные часы. Часы начинают бить, и каждый удар – как плеткой по твоим дрожащим нервам. «Раз, два, три... – мучительно отсчи-

тываешь ты, – одиннадцать, двенадцать». С последним ударом в верхней части часов со скрежетом распаивается дверца и оттуда появляется вся морщинистая, как у черепахи, голова в пенсне. На лице ее – раз и навсегда застывшая ухмылка. «Ку-ку», – машинально ожидаешь услышать ты, но голова скрипуче произносит: «Десять лет без права переписки». Следует еще один – какой-то особенно визгливо-протяжный удар часов, и голова исчезает. И тут же, словно давно дожидаясь этого момента, часть стены за троицей отъезжает в сторону, и из образовавшегося прямоугольника в комнату неудержимо вторгаются гул голосов, кокетливый женский смех, звон посуды, удалые звуки цыганского оркестра, запахи духов, хорошего табака и чего-то такого, давно забытого, для чего определение «еда» звучит очень тускло и вульгарно. Троица покидает свои кресла и, переговариваясь, неторопливо направляется к сияющему прямоугольнику, а шеренга ее соратников, изгибаясь по краям, начинает тебя окружать. Ты загнанно пятишься, отступаешь, обходишь трибуну с неподвижным Оратором, натыкаешься на телевизор, – он падает, взрывается, и вся комната мгновенно погружается в тишину и темноту. Исчезают даже манящие запахи ресторации, сменяясь резкой вонью металла и чего-то химического. Проходит минута, другая, заполненные твоим пульсирующим страхом, прежде чем в скудном свете, еле просачивающемся с улицы сквозь удушливые портьеры, ты неожиданно обнаруживаешь, что и троица, и остальные – все застыли в тех позах, в которых застал их взрыв. Отчего, почему – ты даже не пытаешься угадать, а просто с облегчением переводишь дыхание и, настороженно косясь на неподвижные фигуры, начинаешь искать дверь. Двигаясь вдоль стены, ты в какой-то момент вдруг смутно слышишь разные голоса, доносящиеся откуда-то сверху, и даже разбираешь отдельные слова и фразы – «что-то с напряжением... под суд... резервная сеть... пробки, где пробки?... подключите генератор!...» – но лимит твоего любопытства уже давно исчерпан, ты мечтаешь как можно быстрее выбраться отсюда и потому не останавливаешься, а продолжаешь идти, пока рука твоя не упирается в граненое стекло и не нащупывает холодную дверную ручку. Дверь легко поддается, ты выскальзываешь в кромешную темноту коридора и срываешься в панический бег, который не могут остановить ни то и дело встающие на твоем пути стены, ни запертые двери, ни бросающиеся под ноги края ковровой дорожки. Одна из дверей, на которую ты налетаешь вытянутыми руками, внезапно проваливается, и ты с грохотом ссыпаешься вниз по лестнице, врезаешься в другую дверь, вскакиваешь, не чувствуя боли от ушибов, пробегаешь еще один пролет, еще, еще – и вот уже вестибюль,

залитый молочным светом уличных фонарей, запертая стеклянная дверь, рассыпающаяся от удара огнетушителем (упав на мостовую, он скворчит и изрыгает из себя обильную пену, на которой ты, естественно, поскользываешься и каким-то чудом пролетаешь прямо перед носом спешащего неведь куда автомобиля), отдаленный вой сирены, улицы, едва присыпанные первым снегом, из-под которого торчат жалкие скелеты растений, одинокие тени прохожих, замкнуто спешащих в привычный быт за порцией пищи, теленовостей и скудного коммунального тепла, ровные прямоугольники зданий с редкими вкраплениями зубоподобных башен, увенчанных сверху красными фонарями – обретшими новое назначение символами публичного дома, прогорклая вонь мусороперерабатывающего завода, при западном ветре плотно укутывающая весь район, – и над всем этим висит низкое мглистое небо, будто явленное с изнанки, повернутое неприглядным и грязным исподним, напоминающим внутренность ненасытного брюха, заглотившего Землю и теперь пребывающего в задумчивости: то ли начать переваривать, то ли выплюнуть, почистить и опять заглотить, – но на него ты не смотришь и даже не смотришь по сторонам (только оглядываешься иногда – нет ли погони), весь сосредоточившись на беге, который не в силах прервать, так что маршрут твой со стороны выглядит очень хаотически, ты словно решил запутать сам себя (чтобы наверняка уж запутать преследователей), хотя на самом деле желашь лишь одного, немногого – поскорее закрыться в собственной квартире, спрятаться, уснуть, но это желание столь велико, что не оставляет места ни для чего другого, даже простейшего: осмотреться, прикинуть, спросить, – оно заставляет тебя, как безумного, слепо мотаться по бесчисленным улицам, пока что-то знакомое не приводит тебя в относительное чувство, заставляет притормозить, оглядеться, – ну, конечно же! вон магазин, с которого все началось, опустевшая улица, дорога, решительно врубающаяся между домами, чтобы тут же свернуть и дальше продолжаться перпендикулярными кусками, – дорога, по которой ты можешь идти с закрытыми глазами, на автопилоте; и ты бежишь по ней, срезая углы, врываешься в подъезд, взлетаешь на четвертый этаж, коротко звякаешь ключом и захлопываешь настежь за собою дверь... чтобы на следующий день выйти из дома снова...

ПОЭЗИЯ

Юрий ЛЕВИТАНСКИЙ

Надежда ГРИГОРЬЕВА

Булат ОКУДЖАВА

Александр ИВАНОВ

В остальном же, по сути, совсем не существенна
разница эта.
В остальном же незыблем порядок вещей,
неизменен,
на веки веков одинаков.
Снова в землю зерно возвратится,
и дети к отцу возвратятся,
и снова Иосифа примет Иаков.
И пойдут они рядом, пойдут они, за руки взявшись,
как равные, сын и отец,
потому что сравнялись отныне
своими годами земными.
Только все это будет не с ними, а с нами,
теперь уже с нами самими.
В остальном же незыблем порядок вещей,
неизменен,
и все остается на месте.
Но зато испытанье какое достоинству нашему,
нашему мужеству,
нашим понятиям о долге, о чести.
Как рекрутский набор, перед Господом Богом стоим,
неприкрыты и голы,
и звучат все привычней –
звучавшие некогда в третьем лице –
роковые глаголы.
И звучит в окончанье глагольном,
легко проступая сквозь корень глагольный,
голос леса и поля, травы и листья
перезвон колокольный.

ПЛАЧ О ГОСПОДИНЕ ГОЛЯДКИНЕ

Господин Голядкин, душа моя,
человече смиренный и тихий,
вольнодумец тишайший, бунтарь незадачливый,
сокрушитель печальный!
Это что за погода у нас,
что за ветер такой окаянный!
Это что за напасти такие одна за другою
на голову нашу!

Господин Голядкин, душа моя,
старый питерский житель,
утешитель опальный, бедолага отпетый,
страстотерпец строптивый!
Это что там за мерзкие рожи мелькают
за этой треклятой вьюгою
на Невском проспекте,
что за гнусные хари, что за рыла свиные,
Люциферово грязное семя!

Господин Голядкин, душа моя,
человек незлобивый и кроткий,
вольтерьянец смиренный,
Дон Кишот на манер петербургский!
Что за хитрые сети плетет сатана вокруг нас,
что уже нам и шагу ступить невозможно –
это что за потрава на нас, это что за облава,
как словно все разом бесовские силы
сошлись против нас
в этом дьявольском тайном комплоте!

Господин Голядкин, душа моя,
старый питерский житель,
мой двойник, мой заветный тайник,
мой дневник, не написанный мною,
он стоит на холодном ветру, потирая озябшие руки,
отвечает смиренно и кротко – авось обойдется!
Господин Голядкин, душа моя,
в чем воистину его сила,
не подвержен унынию – все авось, говорит, обойдется,
может, все еще к лучшему,
все еще к лучшему вдруг обернется,
к нам фортуна лицом повернется, судьба улыбнется!

А вьюга-то вьюга на проспекте на Невском
все пуще и пуще,
а свиные-то рыла за этой треклятой вьюгою
уже и вконец обнаглели –
то куснуть норовят, то щипнуть,
то за полу шинели подергать,
да к тому же при этом еще
заливаются смехом бесстыжим.

Старый журнал, запыленный, истрепанный,
Бог весть откуда попавший когда-то ко мне,
в мои детские руки.
Желтый рисунок в журнале старинном – огромное судно,
кренясь,
погружается медленно в воду –
тонет «Титаник» у всех на глазах, он уходит на дно,
ничего невозможно поделать.

Крики, стенанья, молитвы, проклятье, отчаянье,
вопли отчаянья, ужас.
Руки и головы, шляпы и зонтики, сумочки, доски,
игрушки, обломки.
– Эй, не цепляйтесь за борт этой шлюпки! –
(вслом по вцепившимся чьим-то рукам!) –
мы потонем,
тут нет больше места!..
Сгусток, сцепленье, сплетенье страстей человеческих,
сгусток, сцепленье, сплетенье.
С детской поры моей, как наважденье,
все то же виденье,
все та же картина встает предо мной,
неизменно во мне вызывая
чувство тревоги и смутное чувство вины перед кем-то,
кто был мне неведом.

...Крики, стенанья, молитвы, проклятья, отчаянье,
вопли отчаянья –
тонет «Титаник».
Тонет «Титаник» – да полно, когда это было,
ну, что мне,
какое мне дело!
Но засыпаю – и снова кошмаром встает предо мною
все то же виденье,

и просыпаюсь опять от неясного чувства тревоги,
тревоги и ужаса –
тонет «Титаник»!

СОН О ДОРОГЕ

И еще такой я видел сон.
Люди,
их несметное количество,
все, кто жил на свете до меня,
двести поколений человечества,
в отблесках закатного огня
по дороге
шли
мимо меня.
Люди эти, малы и велики,
выходя из тьмы своих веков,
на себе несли своих богов
темные таинственные лики,
свои стяги
и свои вериги,
груз венков своих,
своих оков,
книги своих пастырей
и книги
вольнодумцев и еретиков,
древние орудия познания,
множество орудий для дознания
и для целей всяческих других,
чаши для куренья фимиама –
словом, все,
с чем шла когда-то драма
их страстей
и верований их.
Как ее разрозненные звенья,
времена смешав и поколенья,
шли передо мною Брут и Цезарь
и Марат с Шарлоттою Корде,
армии афинян и троянцев,
якобинцев
и преторианцев,
Азия бок о бок и Европа,
впережку Рим и Карфаген.
И почтенный киник из Синопа,
седовласый старец Диоген,
выступив на миг из полумрака,

поднял свой фонарик над собою
и сказал мне строго:
– Для чего! –
И подобно греческому хору,
тысячи людей одновременно
выдохнули разом:
– Для чего! –
Кто-то рявкнул басом:
– Ты ответишь! –
И шепнули рядом:
– Ты все скажешь!
Ты нам головой своей ответишь,
если ты не скажешь –
для чего!.. –
Я хотел ответить,
я пытался,
я кричал,
но звук терялся где-то –
как всегда во мне бывает это,
вымолвить не смог я ничего.
А меж тем
поток уже кончился,
край его вдали обозначался,
и, венчая шествие, качался
одинокий факел позади.
И тогда
над темною дорогой,
где шаги едва уже звучали,
преисполнен гнева и печали,
трубный глас раздался:
– Проходи!! –
И тогда пошел я вслед за ними,
как в конце военного парада
с площади уходят музыканты,
завершая шествие его.
А потом дорога опустела,
лишь трава тревожно шелестела,
и звезда полночная блестела,
грустно вопрошая:
– Для чего?

Нет, не Бог всемогущий, всего только маленький
слабый божок,
сотворил я вселенную в три деревца,
в три рождественских улочки хрупких,
чтоб ныне,
как скряга,
над веточкой каждой трястись,
над иголочкой каждой.

Три рождественских елочки, три одиноких тростинки,
три тонких травинки
всего-то и есть у меня,
вот затем и трясусь,
как скупой над своим сундуком,
над травинкою каждой.

Три травинки, три легких снежинки лежат
на ладони моей,
три снежинки всего и богатства,
три звездочки зябких.

Три снежинки, три звездочки зябких, три зыбких
надежды мои,
осторожно пускаю с ладони,
и вот уже тает ладонь моя,
воску подобно.

Так стою, как свеча среди поля.
И только три звездочки зябких.
Три зыбких надежды мои.
Три звезды Вифлеемских.

НОВЫЙ ГОД У ДУНАЯ

Камень старинный, башни, мосты, ограды.
Гостеприимны древние эти грады.

Благословенны тихие эти веси.
Колокола воскресные в поднебесье.

Под куполами, золотом, синевою
я с непокрытой шествую головою.

Колокол, солнце, елка стоит, сверкая.
День новогодний – Боже, теплынь какая!

День новогодний, теплый, весенний, синий.
А в эту пору снег идет над Россией.

Ветер гудит по нашим великим рекам.
Снег над Россией. Что там, за этим снегом?

Что там за снегом – что он, кого он прячет?
Кто там за ним вздыхает, смеется, плачет?

Кто там сейчас в лесу над костром колдует,
дует в огонь, в озябшие руки дует?

Господи, дай им солнца, тепла, капли!
Дай, чтоб скорее птицы в лесу запели!

Синью наполни очи лесных проталин!..
К старости, что ли – стал я сентиментален.

Даже не думал, что напишу такое...
Хрустнула ветка где-то в лесном покое.

Скрипнули сани и затерялись в поле.
И никуда не деться от этой боли.

Ветер гудит по северным нашим рекам.
Снег над Россией. Что там, за этим снегом?

МАУГЛИ

(из ненаписанных стихотворений)

Когда меня спрашивают,
как же это случилось со мною,
как мог я не понимать,
и не видеть,
когда все это так понятно,
так просто
и очевидно,
я отвечаю –
перечитайте, пожалуйста, этот роман,
там все обо мне рассказано
точно и достоверно.
Я Маугли,
выросший в джунглях,
прилежный воспитанник
волка Акелы,
пантеры Багиры,
усатого тигра Шер-Хана,
впитавший в себя с молоком
их законы и нравы,
их воздух,
их веру, –
как я мог догадаться,
что бывает иначе,
что существуют иные законы,
иные понятия о зле,
о добре
и о прочем!
Я Маугли,
слишком поздно, увы,
выходящий из джунглей,
унося в себе,
как заразу,
их дыханье,
их застоявшийся воздух,
пропитавший собою меня,
мою кожу
и душу.

ЯЛТИНСКИЙ ДОМИК

Вежливый доктор в старинном пенсне
и с бородкой,
вежливый доктор с улыбкой застенчиво-кроткой,
как мне ни странно и как ни печально, увы –
старый мой доктор, я старше сегодня, чем вы.

Годы проходят, и, как говорится, – сик транзит
глонрия мунди, – и все-таки это нас дразнит.
Годы куда-то уносятся, чайки летят.
Ружья на стенах висят, да стрелять не хотят.

Грустная желтая лампа в окне мезонина.
Чай на веранде, вечерних теней мешанина.
Белые бабочки вьются над желтым огнем.
Дом заколочен, и все позабыли о нем.

Дом заколочен, и нас в этом доме забыли.
Мы еще будем когда-то, но мы уже были.
Письма на полке пылятся – забыли прочесть.
Мы уже были когда-то, но мы еще есть.

Пахнет грозою, в погоде видна перемена.
Это ружье еще выстрелит –
о, непременно!
Съедутся гости, покинутый дом оживет.
Маятник медный качнется, струна запоет...

Дышит в саду запустелом ночная прохлада.
Мы старомодны, как запах вишневого сада.
Нет ни гостей, ни хозяев, покинутый дом.
Мы уже были, но мы еще будем потом...

Старые ружья на выцветших старых обоях.
Двое идут по аллее – мне жаль их обоих.
Тихий, спросонья, гудок парохода в порту.
Зелень крыжовника, вкус кисловатый во рту.

Скрипка висит у меня на стене,
 не играет –
 пыль собирает,
 а рядом смычок
 и – тихо,
 молчок.

Скрипка висит у меня на стене
 грустная
 и расстроенная,
 потому что жизнь у нее неустроенная,
 да едва ли уже устроится –
 как уж тут не расстроиться.

Скрипка висит у меня на стене,
 в стену вращая –
 нет, не знатного она роду,
 скрипочка моя простая
 (барышня из крестьянок,
 артисточка крепостная
 из хора) –
 нет, не знатного она роду,
 скрипочка моя простая –
 не Страдивари
 и не Гварнери –
 так,
 скорее, деталь в интерьере
 в этой квартире
 (как, впрочем, и я).

А ведь если бы взять ее в руки,
 в добрые руки,
 в нежные руки –
 уж какие бы тут полились
 волшебные звуки –
 здрастье, маэстро Моцарт,
 маэстро Гайдн,
 маэстро Бах! –
 ах! –
 вы посмотрите,
 скрипочка ожила –
 о ла-ла! –

ми,
вторая октава,
по квинтам,
вниз –

браво, скрипочка,
браво-брависсимо,
бис!..

Но скрипка висит у меня на стене,
не играет,
но лишь временами
в ночной тишине
чудятся ей эти руки,
добрые руки,
нежные руки.

(Так же как, впрочем, и мне.)

* * *

Делаю то, что должен,
а не то, что хочу.
Тяжкий крест несу терпеливо.
Тяжкий камень в гору качу.

Я привык уже – чувство долга –
и не то чтоб кого корю,
только что-то уж больно долго.
– До каких же пор? – говорю.

...И вот уже трое,
трое бредем мы
сквозь чащи таежные –
впереди протопоп с протопопицей,
а за ними и аз себе, грешный,
тащусь понемногу.
– Долго ли, –
то ли я говорю,
то ли Марковна, протопопица, вопрошает
долго ли будет мука сия, протопоп?

И он отвечает так мягко,
а вместе решительно –
то ли Марковне, протопопице,
он отвечает

то ли мне говорит.
– До самая смерти, – говорит, –
до самая смерти!

Так что ты, – говорит, –
не печалуйся, человеке.

Вон какой отмахали путь!

А теперь уже – недалече.

Дошагаем уж как-нибудь.

Остается совсем недолго
нам брести по этим лесам.

И кто знает,

где чувство долга,

а где то, что ты выбрал сам!..

И по древним, словно предание,

летописным этим лесам,

будто эхо дальнее-дальнее –

сам! – разносится –

сам!

сам!

* * *

Белые, как снег, стихи.

С каждым годом все белее.

В белой утренней аллее

чьи-то легкие следы.

Сорок градусов мороз.

Скоро будет и поболее.

В белом поле, в чистом поле

чьи-то беглые следы.

Кто здесь шел и кто прошел,
что за чудо-сороходы?

– Это дни твои и годы,
это жизнь твоя прошла.

– То есть как же это так?
Только шаг ступил с порога,
а уже, гляди, дорога
завершается почти!

– Ну какой же это шаг,
не гневи напрасно Бога –
вон какая, брат, дорога
за плечами у тебя!

И шагать тебе по ней
в путь обратный не придется –
так иди, пока идется
будь доволен, что идешь!

– Я доволен, что иду,
я на жизнь не обижаюсь –
просто жаль, что приближаюсь
к той невидимой черте.

Да к тому же, как на грех,
под конец моей дороги
плоховаты стали ноги –
слишком медленно иду.

– А куда ж тебе спешить?
Ты и так свою дорогу
завершить успеешь к сроку,
хоть спеши, хоть не спеши...

Сорок градусов мороз.
Скоро будет и поболе.
В белом поле, в чистом поле
одинокое одному.

Где теперь мои друзья?
Те побиты в лютой сече,
тех уж нет, а те далече,
вот и топаю один.

Я ступаю не спеша
осторожными шагами,
будто мины под ногами
и одна из них моя.

На зыбучий этот снег
осторожно ставлю ногу,
и помалу, понемногу
след теряется вдали.
В белый морок, в никуда
простираю молча руки —
до свиданья, мои други,
до свиданья,
до свида...

* * *

Если бы я мог начать сначала
бренное свое существованье,
я бы прожил жизнь свою не так —
прожил бы я жизнь мою иначе.
Я не стал бы делать то и то.
Я сумел бы сделать то и это.
Не туда пошел бы, а туда.
С теми бы поехал, а не с теми.
Зная точно, что и почему,
я бы все иною меркой мерил.
Ни за что не верил бы тому,
а тому и этому бы верил.
Я бы то и это совершил.
Я бы от того-то отказался.
Те и те вопросы разрешил,
тех и тех вопросов не касался.
Словом,
 получив свое вдвойне,
радуясь такой своей удаче,
эту,
 вновь дарованную мне,
прожил бы я жизнь мою иначе.
И в преддверье стужи ледяной,
у конца второй моей дороги,
тихий,
 убеленный сединой,
я подвел бы грустные итоги.
И в конце
 повторного пути,
у того последнего причала,

я сказал бы – Господи, прости,
дай начать мне, Господи, сначала!
Ибо жизнь,

она мне и сама
сколько раз давала убедиться –
поздний опыт зрелого ума
возрасту другому не годится.
Да и сколько жизнью ни живи –
как бы эту лодку ни ломало –
сколько в этом море ни плыви –
все равно покажется, что мало.
Грозный царь на бронзовом коне.
Саркофаги Греции и Рима.
Жизнь моя,

люблю тебя вдвойне
и за то, что ты неповторима.
Благодарен ветру и звезде.
Звукам водопада и свирели.
...Струйка дыма.

Капля на листе.
Грозное облако сирени.
Ветер и звезду благодарю.
Песенку прошу, чтоб не молчала.
– Господи всевышний! – говорю. –
Если бы мне все это сначала!

ДОМ НА БЕРЕГУ ВСЕЛЕННОЙ

«Свеча горела на столе...»

Пастернак

* * *

А завтра можно умереть –
Большое дело!
Мне было некогда скорбеть –
Я молодеда!
Мне было некогда считать
Веков заклатья,
Мне было весело срывать
Слова и платья.
Плевать на деготь и костер!
Они едва ли
Моих бесчисленных сестер
Хоть раз пугали.
Как кожа зимняя змеи
Со свистом на пол
Одежды падали мои,
Будильник капал
Секунды,
 словно капли кран,
В ночи роняя,
Собою время, как стакан,
Переполняя.

ТВОРЧЕСТВО

Я вас пою своею кровью
Не потому, что так хочу.
Покорность некую коровью
Я словно бремя волочу.
Душа, как вымя, набрякает,
Освобождением маня,
И каждый встречный попрекает
Своею жаждою меня.
Валяйте! Пейте! Что чиниться?
Не знаю я спокон веков,
Корова я или волчица,
Холуй иль Ремул у сосков.
Меня не раз четвертовали,
Чтоб кровь вольготней отворить.
Язык мой влажный вырывали,
Чтоб слов не мог он говорить.
Слова – совсем другое дело.
Повсюду их невпроворот.
А люди ждут, чтоб кровь кипела
И солью обжигала рот.

* * *

Сократ!
Мой брат!
К тебе стократ
Я припадаю,
Словно к чаше,
В которой плещется Свобода.
Неважно, если наша стража
Разбавила цикутой воду.
Я все расходы оплачу.
Неважно мне –
Я пить хочу!

* * *

Из тоски, как из погреба, выйти
К людям, к солнцу, под птичье крыло.
Здесь не нужно особенной прыти –
Расставаться с собой тяжело.
Как ни тяжело бродить по подвалам
Одиночества и пустоты,
Все же встретишь себя там, бывало,
И как в зеркале чувствуешь – ты!

* * *

Бывало, книгу я брала.
Читала сладко, неторопко.
Как будто в глубь страниц вела
Меня трепещущая тропка.
Там были мысли и дела,
Униженные и герои,
Усопший, свадьба вокруг стола,
Бунт, локоны, раскопки Трои.
Всю ночь не спится нынче мне,
Но книгу я раскрыть не в силах.
Я знаю все. Я при луне
Не плачу больше на могилах.

* * *

Душа не принимает пищи,
Как умирающий больной.
Все краски, звуки, пепелища
Ей на пороге в мир иной
Вредны и просто неуместны.
Она давно уж поняла,
Что бьют часы. Что в теле тесно.
Что пустота, как свет светла.

* * *

Мой дом стоит на берегу вселенной,
Ныряют в небе рыбы облаков,
Играя белизною плавников,
И я дышу под ними дерзновенно.
Я кровлю крою, говорю слова,
Детей рождаю, пью вино к обеду.
Я радуюсь беспечному соседу,
Меня познания тешут острова.
И в этом я, по-моему, права:
Бездонность невозможно слушать вечно.
Стоит мой дом на тверди быстротечной...
И острая, как памяти укол,
Как вечность – временный возводит частокол
Трава, от космоса пустырь не различая,
На стебельках кузнечиков качая.
Лук радуги изогнут.

Мир безбрежен.

А я стрела.

И выстрел неизбежен.

* * *

Слегка раздвинут небосвод
И в эту дверь тугую
Я вижу белый хоровод,
В котором не могу я
Принять участие, пока
На мне надето тело.
И ускользают облака
Из моего предела.

* * *

Легко назад, в средневековье
Людские повернут стада
И с упоенностью коровьей,
Совсем не знающей стыда,
Помчатся, шкуру обдирая,

На звук дешевого рожка,
Понюхать нового божка.
И потоптаться возле рая.
Все разом. Вместе. Даль свята.
Но кто-то повернет обратно,
На солнце мигом вспыхнут пятна.
За траекторией хвоста
Поскачут, всхлипывая жадно,
Чтобы ворваться в новый клев,
Друг друга вновь преодолев.

* * *

День предстоял. И я в него вошла,
Как в круг из многослойного стекла,
И повседневность с плеч моих стекла.
Смерть кончилась. И я произошла.

* * *

Под деревом лежит собака.
Мне страшно: вдруг она не дышит,
Мне незнакомая собака,
Возможно, больше не живет.
Я взглядом щупаю живот,
Плебейский и жестковолосый.
Вдруг только ветер шерсть колышет?
Я уйду. Я не хочу неведенья менять.

* * *

Не хочу к палачу,
А хочу под кустик.
Я ему заплачу –
Он меня отпустит.
Лягу я на песок
У веселой речки.

Пусть один волосок
Отделяет вечность.
Листопад. Круговерть
Из зеленой ткани.

Не найдет меня смерть
В этом океане.

* * *

Я ни о чем. Звоню я просто так...
Так много крови в сердце натекло.
А телефон: – Держи себя в руках –
Тебе по сути в жизни повезло.

Квартира есть. Дубленка и семья.
Есть прошлое – сиди и вспоминай.
Есть небо. И из крана бьет струя.
Есть в доме Бах. И где-то брезжит рай.

Пошли вы все! Я больше не хочу
Из отблесков плести себе венок.
Я дырку прямо в сердце прокручу
Из крови в кровь,
чтобы никто не мог
Солгать...

* * *

Лежу на дне океана.
Сквозь меня прорастают травы.
От каждой травинки рана
Безболезненна и лукава.
Надо мной проплывают рыбы,
Скосив глаза воровато...
Они и летать могли бы,
Но это высокогато.
Шевельнуть не могу рукою,
Закрывать глаза не умею.
Как смерть, суррогат покоя,
Который я здесь имею.

Но слишком я горько знаю,
Что и порыв – ловушка.
Не стоит ходить по краю:
И бездна всего игрушка.
Плотна надо мной водица,
Прибоя играют трубы.
И хочется мне напиться,
Да жаль разомкнуть мне губы.

НОВЫЕ СТИХИ

* * *

Я вас обманывать не буду.
Мне вас обманывать нельзя:
обман и так лежит повсюду,
мы по нему идем скользя.

Давно погашены улыбки,
вокруг болотная вода,
и в том – ни тайны, ни ошибки,
а просто горе да беда.

Когда-то в молодые годы,
когда все было невдомек,
какой-то призрачной свободы
достался мне шальной глоток.

Единственный. И без обмана
среди прочих ненадежных снов,
как сладкий яд, как с неба манна,
как дар судьбы без лишних слов.

Не в строгих правилах природы
ошибку повторять свою,
поэтому глоток свободы
я долго и счастливо пью.

ТАМОЖЕННОЕ

Как будто кто-то в небе играет на трубе!
Сладка родная речь!.. Как это мило!..
Но слышится: «А ну-ка, пройдите все в купе!..»
То родина со мной заговорила.

Таможенник прекрасный, послушай мой рассказ,
покуда остановка наша длится.
Без лишнего кокетства, без лжи и без прикрас
с тобою я успею поделиться.

Когда я был в Париже (предание свежо),
в квартире скромно жил, как миллионы.
Морис, в футбол влюбленный, катал меня в «пежо»,
официанты были благосклонны.

Чего не пожелаешь – лишь руку протяни,
ну просто словно в сказочной пиесе.
Всегда с тобою рядом – Елена Мартини,
а рядом с ней Ковальский в «мерседесе».

Париж – прекрасный город, устроенный хитро
в том смысле, что продуман он как надо:
там все к твоим услугам от песен до метро,
от мяса и вина до авокадо.

Конечно, там хватает трагедий и проблем:
ведь без проблем мертва людская масса.
И вот они бастуют, шумят, а между тем,
им всем хватает молока и мяса.

Таможенник прекрасный, ну что тебе во мне?
Корысть ли, долг ли? Что с тобой такое?
Не только ты, служивый, мы все, мой друг, в дерьме,
и оттого-то нету нам покоя.

У каждого народа – свой Бог, свое лицо.
И нам, бывает, счастье выпадает.
Вот и метем метлою парадное крыльцо...
А все-таки чего-то не хватает.

ПЕСЕНКА ЛЬВА РАЗГОНА

– Лева, как ты так молодо выглядишь?

– А меня долго держали
в холодильнике... (в лагере).

Я долго лежал в холодильнике,
обмыт ледяною водой.
Давно в небесах собутыльники,
а я до сих пор молодой.

Преследовал Север угрозою
надежду на свет перемен,
а я пригвоздил его прозою –
пусть маленький, но феномен.

По воле судьбы или случая
я тоже растаю во мгле,
но эта надежда на лучшее
пусть светит другим на земле.

* * *

Вы говорите про Ливан...
Да что уж тот Ливан, ей-Богу!
Не дал бы Бог, чтобы Иван
на танке проложил дорогу.

Когда на танке он придет,
кто знает, что ему приспичит,
куда он дула наведет
и словно сдуру что накличет.

Когда бы странником – пустяк,
что за вопрос – когда б с любовью,
пусть за деньгой – уж лучше так,
а не с буденными и с кровью.

Тем более, что в сих местах
с глухих столетий и поныне –
и мирный пламень на крестах,
и звон малиновый в пустыне.

Тем более, что на Святой
Земле всегда пребудут с вами
и Мандельштам, и Лев Толстой,
и Александр Сергеевич сами.

* * *

Тель-Авивские харчевни,
забегаловок уют,
где и днем, и в час вечерний
хумус с перцем продают.

Где горячие лепешки
обжигают языки,
где от ложки до бомбежки
расстояния близки.

Там живет мой друг приезжий,
распознавший с Москвой,
и насмешливый, и нежный,
и скупаемый тоской.

Кипа, с темечка слетая,
неприручена пока...
Перед ним – Земля Святая,
а другая далека.

И от той, от отдаленной,
сквозь пустыни льется свет,
и ее, неутоленной,
нет страшней и слаще нет...

...Вы опять спасетесь сами.
Бог не выдаст, черт не съест.
Ну а боль навеки с вами,
боль от перемены мест.

РОМАНС

В. Никулину

В Иерусалиме первый снег.
Побелели улочки крутые.
Зонтики распахнуты у всех
красные и светло-голубые.

Наша жизнь разбита пополам,
да напрасно счет вести обидам.
Все сполна воздастся по делам
грустным и счастливым, и забытым.

И когда ударит главный час
и начнется наших душ поверка,
лишь бы только ни в одном из нас
прожитое нами не померкло.

Потому и сыплет первый снег.
В Иерусалиме небо близко.
Может быть, и короток наш век,
но его не вычеркнуть из списка.

* * *

Рахели

Сладкое бремя, глядишь, обернется копеекою:
кровью и порохом пахнет от близких границ.
Смуглая сабра с оружием, с тоненькой шейкою
юной хозяйкой глядит из-под черных ресниц.

Как ты стоишь... как приклада рукою касаешься!
В темно-зеленую курточку облачена...
Знать, неспроста предо мною возникли, хозяйюшка
те фронтовые, иные, *мои* времена.

Может быть, наша судьба, как расхожие денежки,
что на ладонях чужих обреченно дрожат...
Вот и кричу невпопад: до свидания, девочки!
Выбора нет!.. Постарайтесь вернуться назад!..

* * *

Немоты нахлебавшись без меры,
с городской отравой в крови,
опасаюсь фанатиков веры
и надежды, и поздней любви.

Как блистательны их карнавалы –
каждый крик, каждый взгляд, каждый жест...
Но зато как горьки и усталы
окончания пышных торжеств!

Я надеялся выйти на волю.
Как мы верили сказкам, скажи?
Но мою злополучную долю
утопили во зле и во лжи.

От тоски никуда не укрыться,
от природы ее грозовой.
Между мною и небом – граница.
На границе стоит часовой.

* * *

Владимиру Фрумкину и Виктору Соколову

Калифорния в цвету. Белый храм в зеленом парке.
Отчего же в моем сердце эта горечь, эта грусть?
Я уже писал о том, как объятья наши жарки
от предчувствия разлуки. Ничего, что повторюсь.

Тайный голос высших сил. Незнакомый почерк веток.
Мы, затерянные где-то между счастьем и бедой...
Ностальгии на века не бывает – лишь на этот,
на короткий промежуток нашей жизни золотой.

Что у вас средь тех деревьев, под стеною белой храма?
Как горите – вдохновенно или так, по мере сил?
Я не знаю, где точнее и страшнее наша драма,
и вернетесь ли обратно, я не знаю. Не спросил.

Матушки Нонна и Анна,
здесь, в Гефсиманском саду,
гром и ледовая манна
этой зимою в ходу.

Снежное крошево льется,
но до скончания лет
солнышко все же пробьется –
в этом сомнения нет.

Матушки Анна и Нонна,
что ни грозило бы впредь,
небо глядит благосклонно –
будем любить и терпеть.

КАЛУЖСКАЯ ФАНТАЗИЯ

Н. Коржавину

Кони красные купаются в зеленом водоеме.
Может, пруд, а может, озеро, а то и океан.
Молодой красивый конюх развалился на соломе –
он не весел, он не грустен, он не болен и не пьян.

Он из местных, он из честных, он из конюхов безвестных.
Он типичный представитель славной армии труда.
Рядом с ним сидит инструктор в одеяниях воскресных:
в синем галстуке, в жилетке. Тоже трезв, как никогда.

А над ним сидит начальник – главный этого района.
Областной – слегка поодаль. Дальше – присланный Москвой
И у этого-то, кстати, ну не то чтобы корона,
но какое-то сиянье над кудрявой головой.

Волны к берегу стремятся, кони тонут друг за другом.
Конюх спит, инструктор плачет, главный делает доклад,
а москвич командировочный как бабочка над лугом,
и в глазах его столичных кони мчатся на парад.

Там вожди на мавзолее: Сталин, Молотов, Буденный,
и ладошками своими скромно машут: нет-нет-нет...
То есть вы, мол, маршируйте по степи по полуденной,
ну а мы, мол, ваши слуги – значит, с нас и спросу нет.

Кстати, конюх тоже видит сон, что он на мавзолее,
что стоит, не удивляется величию своему,
что инструктор городского комитета, не жалея
ни спины и ни усердья, поклоняется ему.

Эта яркая картина неспроста его коснулась:
он стоял на мавзолее, широко разинув рот!..
...Кони все на дне лежали, но душа его проснулась,
и мелькал перед глазами славных лет круговорот.

МАНХЭТТЕН

Променады по Манхэттену... Загадочен Манхэттен!
Даже стрелянный арбатец и начитанный при этом
удивляется, как топчется на стертом пяточке
забастовщик в черном галстуке, в тугом воротничке.

Или видит он воочию бродвейскую премьеру,
или хиппи, или мусорщика стройного не в меру
и различные картинки в этой каменной глуши:
ленты, кружева, ботинки – что угодно для души!

И тогда его охватывает, этого арбатца,
мир, в который ему выпало так призрачно пробраться,
и хотя над ним трепещут еще прежние крыла,
но в башке уже колотятся нью-йоркские дела.

Мир компьютеров и кнопок!.. Чем же мы не угодили?
Отчего же своевременно нас не предупредили,
чтоб мы знали: что посеем – то и будем пожинать?..
Отчего нас не на кнопочки учили нажимать?

Кто мы есть? За что нам это? Что нас ждет и что поможет?
Или снова нас надежда на удачу облапошит?
Или все же в грудь сомнений просочится тайный яд?
Или буду я, как прежде, облапошиваться рад?

* * *

Вы – армия перед походом
в преддверии грозных атак.
Отставка вчерашним свободам!
Все собрано в жесткий кулак.

Соперника профиль неясный
все четче под жгучим огнем,
и ваши солдаты прекрасны
в воинственном раже своем.

Все будет, как в том, сорок пятом:
приходит с едой аппетит.
И армия свой ультиматум
предъявит, когда победит.

Рассеется дым над полями,
но вы – уже войско без крыл,
с обозами, с госпиталями,
с надгробьями братских могил.

* * *

О. и Ю. Понаровским

Под крики толпы угрожающей,
хрипящей и стонущей вслед,
последний еврей уезжающий
погасит на станции свет.

Потоки проклятий и ругани
худою рукою стряхнет,
и медленно профиль испуганный
за темным стеклом проплывет.

Как будто из недр человечества
глядит на минувшее он...
И катится мимо отечества
последний зеленый вагон.

Весь мир, наши судьбы тасующий,
гудит средь лесов и морей...
Еврей, о России тоскующий,
на совести горькой моей.

* * *

Л. Люкимсону

Из Австралии Лева в Москву прилетел,
до сестры на машине дожал.
Из окошка такси на Москву поглядел:
холодок по спине пробежал.

Нынче лик у Москвы ну не то чтоб жесток –
не стреляет, в баранку не гнет.
Вдруг возьмет да и спросит: «Боишься, жидок?»
и с усмешкою вслед подмигнет.

Там, в Австралии вашей, наверно, жара
и лафа – не опишешь пером?
А в Москве нынче хуже, чем было вчера,
но получше, чем в тридцать седьмом.

По Безбожному, Лева, пройдишь не спеша
и в знакомые лица взглядишь:
у Москвы, может быть, и не злая душа,
но удачливым в ней не родишь.

* * *

Мне не нравится мой силуэт:
невпопад как-то скомкан и скроен.
А ведь мальчик был ладен и строен...
И надежды на лучшее нет.

Поистерся мой старый пиджак,
но уже не зову я портного:
перекройки не выдержать снова –
доплетусь до финала и так.

Но тогда почему, почему,
по капризу какому такому
ничего не прощаю другому
и перчатку швыряю ему?

Покосился мой храм на крови,
впрочем, так же, как прочие стройки.
Новогодняя ель – на помойке.
Ни надежд, ни судьбы, ни любви...

Но тогда отчего, отчего
рву листы и бумагу мараю?
Не сгорел – только все догораю
и молчанья боюсь своего?

* * *

Мой город засыпает. А мне-то что с того?
Я был его ребенком, я нянькой был его,
я был его рабочим, его солдатом был...
Он слишком удивленно всегда меня любил.
Он слишком отчужденно мне руку подавал,
по будням меня помнил, а в праздник забывал.

И если я погибну, и если я умру,
проснется ли мой город с печалью поутру?
Пошлет ли на кладбище перед заходом дня
своих счастливых женщин оплакивать меня?..

...Но с каждым днем все чище, все злей его люблю
и из своей любви богов своих леплю.
Мне ничего не надо, и сожалений нет:
со мной моя гитара и пачка сигарет.

ВЫХОД ИЗ ПОЛОЖЕНИЯ

Пародии

КОГДА НАРОД ПОДВОДИТ

Ушел от нас безродный президент,
плешивый бес, наследник словоблудья...
С экрана лжет картавый блудодей,
кляня наш Дом последними словами.
Еще недавно верил я в народ...
А нынче вижу – верилось напрасно...

Валерий Хатюшин

Ну до чего же наш народ дурак!
Душою чист и жить привык беспечно...
Не понимает он,
кто друг, кто враг,
наивен и доверчив бесконечно.

Поверил было Меченому... Но
плешивый бес
всем нам поставил клизму.
Всех православных окунул в говно
и продал мировому сионизму.

На смену «царь Борис» явился... Он казался многим

витазем отважным.

Но оказался тоже мудозвон,
исправно служит он

дельцам продажным!

Не перейдешь трясины нашу вброд,
вокруг одни шакалы, волки, лисы...
Куда ведут несчастный наш народ
шумейки, чубайсы и бурбулисы?..

С недавних пор
не верю я в народ...

Как ни крути, виновен он в измене.

А верилось: дубину он возьмет
и – к черту, в пыль, в куски, к едрене фене!..

А он молчит и терпит... Стыд и срам!
Да, от него уж толку не добиться...
Позор, тоска... Придется, видно, нам,
всем патриотам, взять и удавиться.

ВОТ ТАКАЯ...

На Лубянке не стреляют,
на Литейном – тишина.
Эмиграция гуляет,
как неверная жена.

.....
Высока была затея,
да в кармане ни копыя, –
большевицкая затея
опросталась под себя.

Юрий Беличенко

Сгинул призрак коммунизма,
жить по «Правде» не велят.
А теперь капитализма
приближение сулят.

Не прожить, коль не обманешь,
всюду воры – это факт.
И везде, куда ни глянешь,
половой, простите, акт.

А народ уж так старался,
труд беднягу, ох, уел!
Умный Ленин о...я,
глупый Брежнев о...л.

Где родимые таланты?!
В подворотне да в пивной...
Разгулялись эмигранты
по стране моей родной.

Тот носатый, этот рыжий
и с тугой мошной притом.
Из нью-йорков и парижей
указуют нам перстом.

Не робеть, единоверцы!
Час придет, дадим ответ.
А войновичи и терцы
шиш получают (масла нет).

А пока – какая ж пьянка?
Не хватает и на квас...
Эх, Литейный и Лубянка,
вся надежда лишь на вас!

А того, что не случилось,
не помянем всеу тень...
Вот такая получилась
в государстве х...ь.

МАТРЕНИНО ПОДВОРЬЕ

Что делать нам, Матрена Алексеевна?
Еще в полях не пахано, не сеяно,
А и посеют – не сберут добром.
Что ждет тебя, мою голубку сизую?
Ни паспорта с израильскою визою,
Ни брата, ни сестрицы «за бугром».
.....
А нас с тобою не года состарили,
А мы пошли талоны отоварили
Да и ведем за чаем разговор.
О том, о сем... Но больше о божественном,
О праведном, возвышенном, торжественном...

Владимир Суворов

В колхозе у Матрены Алексеевны
Уж сколько лет не пахано, не сеяно,
И мяса вкус Матреною забыт.
Давно она не ждет Иван-царевича,
Проханова читает, Шафаревича,
«Наш современник» на столе раскрыт.

Душой мы не приемлем буржуазности,
А праведность – она всегда от праздности,
А праздность – это праздник для души.
Вот если бы по щучьему велению
Да если бы по нашему хотению...
А на какие – вот вопрос – шиши?

А может, взять и просто потрудиться нам?
Но это, право, чуждая традиция,
Попробуем – и не туда зайдем...
И сразу же погрязнем в бездуховности,
В комфорте, избытии, греховности,
Не зря же мы идем другим путем.

Пускай теперь Гайдар, Собчак, Пияшева
Потрудятся для процветанья нашего,
А мы покуда – в баньку, на полоч.

Потом накупим на талоны водочки,
Сопрем в колхозе ржавый хвост селедочки
И поплюем с Матреной в потолок.

А то слетаем к Сарре Моисеевне,
И вспахано у них там и засеяно,
И убрано!.. Евреи – ловкачи!
И мясо там у них, и фрукты-овощи,
Живут же без гуманитарной помощи...
Но мы зато – веками на печи!

ТЫ И Я СПАСЕМ РОССИЮ

Шло время. Был конец семидесятых.
Окончилась разрядка. А вокруг –
засилье вороватых и пернатых.
Но что-то брезжить стало в мире вдруг.
Снег над Москвой летает, словно слово,
над площадями Маркса и Свердлова.

(Владимир Карнец

Из поэмы «Татьянин день»)

Чем-то напоминает «Татьянин день»
знаменитый «Медный всадник».

(Валентин Устинов.

*Из вступительной статьи
к сборнику поэм «На тебя
и меня остается Россия»)*

Давно Россия-мать влачит свой крест.
Предел настал в конце семидесятых.
Увидел мой герой, взглянув окрест,
засилье долгоносых и пернатых.
Он как-то невзначай зашел во МХАТ
и чуть не каждый третий там – пернат.
Расселись, расклевали огород,
пора спастись, как Евгений бедный.
Куда глаза глядят бежит народ,
пернатые за ним как Всадник Медный.
Порхают, клюнуть в голову спешат,
того гляди, и памяти лишат!

Вот-вот развязка может наступить,
куда ни глянь – везде пернатых стаи.
А может, надо с ними поступить
как с воробьями, помнится, в Китае...
Пора их всех под корень выводить,
но заново не будем разводить!

Так что же делать? Хватит нам скулить,
ругать судьбу и призывать Мессию,
довольно нам бессильно слезы лить...
Пора уж бросить клич спасти Россию!
И, кстати, стоит поспешить, пока
слабо им применить статью УК...

ВЫХОД ИЗ ПОЛОЖЕНИЯ

Еврей, прости антисемита!
Прости несчастного, еврей.
Его душа черна, испита,
тоской и завистью размыта...
Прости его и пожалей.
.....
Еврей, прости антисемита –
он иногда бывает прав.

Вадим Ковда

Я не еврей, к антисемитам
себя никак не отношу.
Но к их претензиям открытым,
к их странным доводам сердитым
я снисхождения прошу.

Ведь если некто пьян и грязен
и горе мыкает весь век,
чей труд тяжел и безобразен,
по результатам – несуразен,
то это – русский человек.

А если некто весь сияет,
удачу встретив у дверей,
на Черном море отдыхает,
«Диором» весь благоухает,
то непременно он – еврей!

Дабы решить вопрос скорее,
а он, увы, пока открыт,
всех надо записать в евреи,
друг к другу станут все добрее
и кто тогда – антисемит?!..

ОЧЕРКИ, ЭССЕ, ВОСПОМИНАНИЯ

Юлий КРЕЛИН

Семен КОГАН

ГОРОДА БЕЗ ПРЕДМЕСТИЙ В ИЗРАИЛЕ

Диаспора, по-моему, исчерпала себя до донышка и должна раствориться. Если не сохранится это государство, то про народ еврейский наши потомки будут читать только в книгах и ахать над Библией. Я не знаю, что предопределено народу моему, но сейчас происходят решающие события: быть или не быть. А быть ему, кажется мне, только здесь. Я не знаю, задача ли ему быть и раствориться? Я не о гибели тоскую, а о растворении.

1 мая 1989 года

Главное впечатление от сегодняшнего дня – встреча с Игорем Губерманом. Ему здесь хорошо, он счастлив. Его квартира, его картины, его семья – все это его счастье. Ему, пронизанному русскими болями, страданиями, знаниями, – здесь счастье?! Все, что он делает, пишет, о чем плачет со смехом, – там, в Союзе! Умом евреев не поймешь и в мысль стандартную не втиснешь. И будет счастлив здесь, кровно переживая неудачи, тяготы оставленных и унижавших его; радуясь и приветствуя успехи и удачи людей и земли, в которой он прошел по тюрьмам, лагерям и ссылкам, желая тогда еще своему миру покоя и хорошей жизни. И сегодня, когда ему хорошо здесь, он плачет, радуется и смеется о нас, за нас и, наверное, по себе льет слезы и хохочет. Жизнь заканчивается. Наше поколение все свое время, от пеленок до сегодняшнего дня, прошло страшным путем. И не уедешь ни в какую святую землю от самого себя и от воспоминаний, от счастья тяжелой молодости, от заработанных недугов, от принятых унижений; страдания перенесенные не отберут таможенни-

ки. Но Игорь говорит, что счастлив, спокоен, а там видно будет. И действительно, вид у него был умиротворенный.

Очень хорошо присидели весь вечер. По-нашему, по-московски. Водка «Столичная». Выпили, как давно я уже не пил. Водка из Москвы, закуска израильская.

«Ну? Как там, у нас?». Я начинаю соловьем разливаться. Мне интересно рассказывать про нас. Я уже десятки раз рассказываю. Каждый раз азитированно повествую про все, у нас случившееся, случающееся, ожидаемое. Все с интересом слушают, выспрашивают. Там остались их печали. Там, в конце концов, решается сейчас судьба мира, в том числе и здешнего. С надеждой они ждут продолжения наших перемен. Так естествен их интерес...

Но вдруг замечаю я, что все, сейчас мною записанное, отвечает больше моим мыслям, хоть, по-видимому, и они так думают. Я вдруг почувствовал, что перебарщиваю в своей азитированности. Все, что «ТАМ», чуть потускнело для них. И страдания, и кровь, и унижения чуть переложены ватой расстояния, времени и иным образом жизни, новыми проблемами. Умом Игорь понимает нас, вспоминает прошлое с болью, но его воспоминание умиротвореннее, чем моя ярость и надежда. Слушает внимательно (внимательно?), да поротая задница уже подживает. Сидит спокойно, не ерзает. Это мне не сидится. В Союзе он сидел по-другому – там задница подгоняла волю.

Подживает.

2 мая

День памяти. День катастрофы. «Катастрофа» – так называют здесь массовое убийство евреев в гитлеровское время. Катастрофа – не совсем правильное определение тех глобальных событий. На русском языке своего термина не создали, не понадобилось. На английском имя катастрофе – «холокост» (буквально – всесожжение, общая гибель).

День у евреев начинается с первой звезды. И день памяти начался не с ноля часов, как мы привыкли, а вечером, первого мая. С первой звезды началось поименное зачитывание списков всех погибших, до которых дознались путем поисков в архивах, воспоминаний оставшихся в живых родственников во всем мире. На площадях городов, в заранее объявленных залах – молодые, старики, официальные лица громко читают списки при стечении большого количества людей. По телевизору ничего, кроме сменяющихся читающих, – и имена, имена, имена...

Катастрофа изменила евреев. Катастрофа создала Государство. Облик еврея в Государстве стал иным, отличным от того, каким был в течение двух прошедших тысячелетий. Катастрофа показала, что приблизился день полного уничтожения. Растворение, ассимиляция среди других народов не поможет выживанию нации. Скрытый антисемитизм возникает внезапно, вылезает вдруг из людей, которые никогда, никак и ничем не проявляли столь убогого и примитивного мышления, чтоб вдруг поверить, будто причина всех бед – в евреях, да еще сознательная порча от них идет на народ. Будто мистическая сила вдруг призывает еврея делать гадость всему остальному народу, а то и народам, ради каких-то метафизических целей, придуманных вскипевшими на поверхности, фонтанирующими юдофобскими группами, партиями, людьми.

Это не беда евреев. Это беда того народа, где подобное происходит. Стало быть, беда этого народа достигла крайности, и причину найти трудно, а исправить тем более. И тогда он ищет выхода своему неуправляемому мыслью негодованию. Это бывает разрядкой перед «перестройкой» народа, переходом в совершенно новое психологическое состояние, что, по-моему, и произошло на нашем веку с великой германской нацией. Катастрофа с евреями – предтеча или финальный акт великой катастрофы народа, подошедшего к краю пропасти. Последняя попытка ухватиться за хвост синей птицы благого существования: антисемитизм прост и понятен, недумаящими людьми он подхватывается с радостью и облегчением, а потому быстро приобретает массовое звучание, сказывается в действиях. Как соблазнительно ликвидировать простую и понятную причину бед! Мы это увидели с убийственной точностью в 53-м году: как легко подхватывается эта безыдейная идея людьми, уставшими от ужасов бытия. Лишь несколько дней понадобилось после статьи о врачах-убийцах, как повсеместно зарокотал народ, возмущенный евреями. И сегодня опять набирает неподвластную разуму силу неведомый астральный процесс – возмущение евреями. Если жизнь в стране успеет наладиться, если зацепится наше общество у края, – костер погаснет. Иначе всеожжение. Холокост.

И впрямь порой начинаешь думать о потусторонних силах, вмешивающихся в судьбы народов. «Русофобия» Шафаревича не просто сразила мои плавно текущие мысли, а изменила воздух, которым я дышу. Шафаревич – как мне казалось – умница, интеллигент, логик. Лет пятнадцать назад я его встречал – благородный лик, изящно-элегантная пластика, каждое движение красиво. И вдруг – мелкое извращение формальной логики (это

у математика!), передергивание написанного другими, выворачивание чужих мыслей на другую сторону (истинный ученый!). Формально нелогичен этот формальный логик. Недоговаривает, чуть меняет мысль, зигзаги истории. Да что ж тут спорить. С этим не спорят, как с симптомами болезни. Шафаревич - это конец надежды. Шафаревич - фамилия эта стала после книги «Русофобия» символом юдофобства. Это тем более символично, что слово «шафар» - означает звуковые рожки, возвещающие наступление Нового года в праздник Рош Гошана. «Шафар» - атрибут еврейский. Шафаревич - фамилия...

День памяти.

В десять часов утра раздается сирена. Все машины, по всей стране, останавливаются. Движения нет - все застыло. Пробки на дорогах, перекрестки заполнены, и лишь по-прежнему мигают разным цветом автоматические светофоры - единственное движение под звук постоянного гудка. Водители вышли из своих автомобилей и молча, неподвижно стоят у открытых дверок. Молчаливо стоит народ, ведущий ежедневно бурную жизнь. Жизнь остановилась. Вспомните и задумайтесь. Задумайтесь и решайтесь. Все стоят, сирена гудит, обволакивая этим гулом народ и всю страну. Думайте, люди, думайте. Две минуты. Гул замолк, и мгновенье тишины тотчас сменилось обычным городским шумом. Все пришло в движение. И не поймешь - задумались ли люди или то, что придумали они сорок лет назад - эти две минуты молчания, - просто вошло в их жизнь бытом, обрядом, они его соблюли и пошли дальше?

Наверное, кто-то свои заботы и дела планировал, а кто и вспоминал печали и горести прошлого. Вспомнили и снова покатали в свое удовольствие машины, останавливаясь на перекрестках перед продолжающим мигать светофором.

Есть о чем подумать, если вспомнить свою собственную жизнь, всю историю.

Когда-то и мои дети поймут, что историю надо знать, необходимо знать, интересно знать.

А иначе опять влипнешь в пройденное и покатишься по возвращенным кругам своим.

3 - 4 мая.

Главное впечатление вчерашнего дня - уже не от счастливого Игоря Губермана, а от убийства, свершившегося на глазах у всех и

почти на наших с Сашей¹ глазах. Мы бродили с ним по Иерусалиму и находились в тот момент рядом с центральной почтой. Внезапно по улице пронесся какой-то гул, беспорядочное передвижение внутри толпы вдруг приостановилось, и людские волны устремились на соседнюю улицу. Тут же появились девушки-полицейские, управляющие дорожным движением, и начали перекрывать его, не пуская машины в сторону той улицы, куда все побежали. Точно с неба свалившиеся девушки-«гаишницы» поразили мое воображение внезапностью появления – да еще в таком количестве! – и ловкостью, с какой они организовали движение на бурлящей дороге. Завернув за угол, мы увидели большую тревожно гомонящую толпу. Слов я не понимал – тревожны были лица и характер шума. Саша сказал, что кого-то убили. Уже в той точке, куда все устремились, я увидел несколько медицинских машин, журналистов с камерами, дорожную и военную полицию. Пожалуй, когда я подумал, что полиция перекрывает движение, я был неправ. Как-то странно и необычно они организовали движение, а не перекрыли его. Оно стало более упорядоченным. Тревожная толпа и спокойное движение. Женщины – регулировщицы движения. Мужчины – контроль и порядок в толпе.

Выяснили, что на скамейке автобусной остановки сидели старики: двое по девяносто лет, одному семьдесят восемь, другому семьдесят два, и еще молодой человек двадцати пяти лет. Впрочем, возраст, может, и неточен. Появилось много слухов, и позже в газете я прочел, что кто-то был шестидесяти лет. Так сказать, возможны варианты – да не в этом суть ужасного. Около остановки появился молодой араб и с криком «Алла акбар» нанес удары ножом сидящим на скамейке. Двух убил сразу, двух или трех ранил, подбежавшие люди схватили его и остановили кровопролитие. Мужчина, сидевший невдалеке за столом со стаканом воды, увидел все первым и бросился к месту убийства; сбил араба с ног, вышиб нож, придавил к земле. Набравший народ кинулся – кто к пострадавшим, кто к убийце. Мгновенно, словно по волшебству, появилась полиция. Вырвали у яростно клокочущих людей убийцу и закинули его в полицейскую машину. Этому арабу явно повезло – ярость людей, похоже, быстро бы завершила второй акт события еще одной смертью.

Уже через час радио, а вслед и телевидение передали подробности и обстоятельства все еще продолжающегося события. Теперь я

¹ Сын Ю. Крелина, израильтянин. (Прим. ред.)

понял, почему каждый час люди, приходя к радио, замирают, где бы они ни находились.

Толпа продолжала шуметь. Саша мне посильно переводил, а кое-что к вечеру я прочел в русскоязычных газетах. Теперь, вспоминая, записывая, черпаю из двух источников.

«Долой правительство!» «Давно надо выкинуть их отсюда!» «Что мы им делаем, почему мы должны терпеть?» «Вон их отсюда!» «Пошли к арабам!» Появился лидер израильских экстремистов Кахане. «До каких пор мы будем терпеть?! Пошли! На мужчин они не бросаются! Только на стариков, детей и женщин...».

Большая толпа во главе с Кахане двинулась по улице. Куда, я не понял – мне не перевели. По моим представлениям, заимствованным из истории, они должны были бы двинуться в арабскую часть города. Но, может быть, и к кнессету. Толпа так возбуждена, что можно ожидать любого исхода.

Военные быстро вырвали из толпы Кахане, увели и его в полицейскую машину. Конечно, солдат надо сильно натаскивать, воспитывать, чтобы они не хватались за оружие. При любых беспорядках – в еврейской ли части города или арабской – они имеют право пользоваться лишь резиновыми палками и слезоточивыми газами. Только в самом крайнем случае им позволено прибегнуть к помощи оружия. И если кого-то из арабов убьют, этот инцидент жестко разбирается в суде и парламенте.

Шума и разных предложений по проблеме ликвидации кризиса и постоянной войны много. Одни, не задумываясь, – особенно после эксцессов, подобных сегодняшнему, – предлагают выслать всех арабов из Иерусалима или вообще из Израиля. Другие предлагают в ответ на каждый террористический акт разрушать и высылать в Иорданию одно поселение или хотя бы один-два дома, а пойманного террориста убивать сразу, семью же тоже высылать. Предлагают и отдавать террориста людям на месте преступления. Короче говоря, предложения и советы сыплются со всех сторон, как и у нас – в постоянных народных разговорах и очередях, на работе, в автобусах. Есть противоположное мнение: позволять себе столь решительные меры – значит, становиться на одну доску с террористами: когда встречаются грязное и чистое – второе пачкается, а первое не становится светлым. И вообще, надо помнить, что жить-то арабам все-таки где-то надо. А в ответ опять крики, что Иордания понятие выдуманное, что это и есть Палестина, недаром она была названа Трансиорданией, пусть палестинцы и живут там, мол, арабская Палестина за Иорданом, еврейская до Иордана.

Как в Израиле разрешат эту проблему?! Все правы, все жить хотят, истоки ушли в глубину, на поверхности одни страдальцы. И так все подобные конфликты. Карабах ли, Ирландия, что еще ждет Крым – тоже неизвестно. Какое бы придумать всемирное умиротворение? Победы быть не может. Победа всегда оставляет причину для следующего столкновения. Ужасно понятие победы, потому что победа – всегда лишь одна сторона свершившегося. На обороте остается чье-то поражение. Порочный круг.

Спокойную жизнь Израиля без хулиганства, пьяниц, шпаны сегодня ломают частые террористические эксцессы, вызывая ответный экстремизм. Понижается надежность здешней жизни, да и жизни всего мира. Еще год назад было спокойней, но потом из «штаба Арафата», как здесь называют ООП, пошли новые импульсы – начала нарастать интифада.

(Сейчас, через полгода после моего пребывания в Израиле, когда я перепечатаваю свой дневник, оттуда приезжают и рассказывают, что торговля арабов, скажем, в Вифлееме почти полностью прекратилась. Если кто-либо из местных арабов выйдет со своим товаром, ему грозят убийством, да и выполняют угрозу – за коллаборационизм. Общение с израильскими властями карается арабами-соотечественниками достаточно сурово. Говорят, что спокойно, как было при мне, нынче по рынку не пройдешь. Как правило, посетителей рынка сопровождает солдат. Я этого себе не представляю. Но говорят... А нынче начинается междоусобица и между арабами. Беспокойство нарастает. Жаль, если это так.)

Израиль воюет с террористами с оглядкой на мировое общественное мнение, которое далеко не везде и не всегда пребывает на его стороне. Каждый раз после высылки в Иорданию, после очередного эксцесса и ответной акции Израиль получает обвинение в государственном терроризме. Может ли змея, заглотав собственный хвост, съесть самое себя? Нет, не успеет, потому что погибнет, не съев половины...

Дурной круг. Безнадежная ситуация. Безнадежная?

Все вокруг стало на голову. В Ливане гражданская война приняла нескончаемый характер. Вроде бы цивилизованная страна... Страшит повсместная «ливанизация». В том числе и у нас.

Убийц судят, приговаривают к большим срокам или на пожизненное заключение, но потом в обмен на израильянина, попавшего к арабам, отпускают. В результате этого в обществе все более не в чести парламент, правительство, либералы, левые, социалисты, Гистадрут (особый вид профсоюзов с собственным владением предприятий).

Здесь вообще ругают все социалистическое.

Кибуцы, давшие основу экономики при становлении государства, нынче тоже подвергаются ворчливым нареканиям. Я не совсем понял, почему они недовольны. Вспоминая все, что у нас писали об этих, так сказать, колхозах, невольно задумываешься, каким образом еще более коллективные, чем наши, хозяйства дали потрясающий экономический, да и моральный эффект, создали и подняли страну из пустыни и из ничего. А у нас на фоне давно слаженного хозяйства, на фоне традиционной тяги к общине в деревне окончательно разрушилось все бывшее. Наверное, все же потому, что здесь все строили на пустом месте, а у нас у хозяев отняли их кровное, заработанное отцами, да самих и заставили обобщать. Насильственный отъем, насилие, разорение дома, не говоря уже о высылке, разрушили сложившуюся мораль; а включение оставшихся в борьбу и поношение прошлого – без их внутреннего согласия, без понимания нужды этих безумных деяний властей – деформировало, а то и полностью уничтожило нравственные устои крестьянина. Сельский житель стал пролетарием, не имея на то ни оснований, ни охоты, ни осознания, почему он должен стать гегемоном пустоты и никчемных начинаний. Крестьянин ввергнут в абсурд, и этот абсурд должен был тащить его в совершенно дикое туманное будущее. Главный резон: «или нас сомнут» – так говаривал Сталин.

Сюда же, в Израиль, приехали нищие люди, не имеющие ничего. И нечего было у них отнять, у них, никогда не крестьянствовавших по велению властвовавших в то время законов, имевших только религиозные традиции. Перед ними пустыня. В одиночку не справиться. Необходимость объединения понятна и желанна. Объединены имущество, еда, воспитание детей, объединена касса – деньги даются только для выезда. Совместными усилиями люди стали создавать страну, которой не было у них две тысячи лет. Они делали ее без стремления к скачкам и рекордам, без рекламы своего образа жизни, без желания экспортировать свое бытие, они делали так, ибо иначе бы не выжили.

Но вот страна встала в ряд цивилизованных государств. Сносное жизнеустройство в кибуцах породило новые потребности, отличающиеся от вкусов соседей. Еда, одежда и молитва не могут удовлетворить тягу к излишествам – она остается одной из движущих сил прогресса. Хочется, наверное, и есть отдельно – с семьей или с друзьями. Хочется иметь свои любимые книги, кроме религиозных, ибо дух человека не растет, если закован в ограничения и регламент. Вот и стали ворчать на сложившееся бытие. Все,

что устоялось, неминуемо строит какие-то заборы... Общинный строй – детство цивилизации.

Вот война тоже требует социалистической совокупности воюющих людей. По-моему, армия во время войны и строится на этих принципах.

Конечно, кибуцы здесь никто не трогает, никто не предлагает их разрушить, ликвидировать. Каждый выбирает свой образ жизни, кому-то удобнее, кому-то нравится жить именно так. Но, судя по рассказам, восторги от подобного жизнеустройства и землеустройства уходят в историю. Говорят, что кибуцы хиреют. Посмотрим.

Гистадрут (профсоюзы) тоже нынче не тот кумир, каким был на более ранних стадиях. Гистадрут – профсоюзы, отличающиеся от профсоюзов других стран, и уж совсем не те, к которым приехали мы дома. Они не только «борцы за права трудящихся», но и организаторы производства, хозяева фирм, магазинов, больниц, кибуцев. Ворчат израильтяне и на Гистадрут. Мир стал богаче и, наверное, потому немножко поправел. «Блажен, кто смолоду был молод, блажен, кто вовремя созрел». Это и для человека, и для общества, и для страны – едино.

Мир правее и от богатства, и от естественной пульсации. Если уж вселенная, говорят, пульсирует, то общественные взгляды тем более. Сколько раз в истории люди склонялись к монархии, потом уходили к республикам, и вновь создавались монархии. И экономические условия играют роль, и политические изыски. Думаю, что наша афганская авантюра тоже немало способствовала планетарному сдвигу вправо. А вот для экономики во всем мире поправление нынче сыграло положительную роль.

У меня сегодня были две встречи, отражающие мой двуликий интерес к жизни. Одна – с писателем, работающим на радио, другая – с доктором, работающим в поликлинике. Прежде всего – они довольны жизнью. Те, что приехали сюда в расчете на рай, – страдают и кланут все почем зря. Приехавшие без иллюзий – радуются.

Писателям рассчитывать на литературные заработки здесь не приходится. Если это не великий, всемирно известный писатель. Конечно, не больно здесь нужна литература типа моей, например. Во всех странах прибыль идет с реализованного, а не задуманного. С каждой проданной книги определенный процент идет автору. Когда в стране сотни миллионов жителей – писатель может рассчитывать на доход от литературы, достаточный для сносной жизни. При малых тиражах – это фантазия.

Печататься здесь легко, проблем нет. Написал – и печатай на здоровье за свой счет. Сделаешь экземпляров сто-двести-триста: вдруг

один-другой купят – или подаришь книжку друзьям, или вручишь приехавшему в гости. Все же лучше, чем визитная карточка. Да и след на земле оставил. Может, кто когда и пойдет по твоей дороге – значит, уже не зря жизнь тебе была дана.

Иные писатели могут работать в какой-нибудь редакции, хотя шансы минимальны и надеяться на это легкомысленно.

В медицине, разумеется, устроиться легче. Конечно, такого, как я, шестидесятилетнего хирурга, никто в операционную не возьмет. Все в прошлом – перспективы нет, да и вообще, как поется в русской опере: «Куда ты, удаль прежняя, девалась, куда девались дни лихих забав... Не тот я стал теперь, все миновало...». Миновало. Хирурги должны быть молоды, ну хотя бы зрелы. Если еще по накатанной дорожке топаешь, на своем старом месте останешься – это можно. Ну, а опыт? Опыт – дело наживное и... наоборот – уходит порой с памятью. Опыт – это нечто старое, стабильное, он игнорирует новации. С одной стороны, в медицине это хорошо, с другой стороны, новое-то знать надо. В поликлинике опыт можно употребить на дело, на жизнь заработаешь вполне и даже на машину. Машина здесь входит в ранг не роскоши, но необходимости.

Главное – жить без иллюзий. Иллюзии ломают жизни. Но некоторые иллюзии приятны. Странное впечатление (а может, естественное, а не странное): здесь все выглядят моложе своих лет. Доктор, которая уехала десять лет назад в сорокапятилетнем возрасте, мне кажется, сейчас выглядит моложе, чем перед отъездом. Правда, и мои взгляды на возраст меняются. Для пятидесятилетнего – женщина в сорок пять стара. Для шестидесятилетнего вид пятидесятилетней не отвратителен. Как говорится – диалектика, черт бы ее побрал. Но моложе выглядят все, кого я знал раньше, в Москве. И это общий глас.

По приезду у многих наступают стрессы – ссоры, разводы, разочарования в идеях, а чаще всего в людях. Естественно, такую разительную смену жизни не каждый в состоянии выдержать. Как я понимаю, для нас, людей моего круга, – это полная потеря статуса и «модуса вивенди». Мы живем в Москве в некоем элитарном советском круге: ЦДЛ, ЦДК, ВТО, просмотры, приемы (одни аббревиатуры чего стоят), в больницах узнают по фамилии, даже ГАИ реагирует на профессию... С переездом уходит все. Надеяться на детей? Это не расчет в жизни. Дети должны полагаться на родителей. Опасения многих эмигрантов, у которых жена или муж – не евреи, по здешним рассказам, миф. Русские, приехавшие со свои-

ми еврейскими мужьями или женами, нанимаясь на работу, порой пытаются объяснить: «Я русский!» – «Ясно, что русский. Мы знаем». – «Да нет! Я русский не потому что из России, а русский!» – «Ну, конечно. Если из Марокко, так марокканец, а из России, так русский». Порой люди не понимают друг друга на этой скользкой дорожке. Может, на платформе вероисповеданий им было бы легче объясниться?

Здесьнее общество больше волнуют различия между евреями-ашкенази и евреями-сефардами.

Многие русские, истинно русские, не только по месту рождения, но и по крови и генам, легко вживаясь в местную ситуацию, легко овладев ивритом, вбирая его в себя, начинают говорить с акцентом. С тем акцентом, который мы еще иногда встречаем у стариков, вышедших из глубокого местечка. И вот оказывается, что люди, никогда не знавшие идиш, не бывавшие в Европе и не представляющие себе еврейского местечка, даже не читавшие Шолом-Алейхема, начинают говорить с тем анекдотическим выговором, который одним из руководителей Гостелерадио лет десять назад был определен как единственный акцент, вызывающий у советского человека раздражение и неприязнь. Так откуда же этот акцент? Из еврейского местечка или из древней Палестины? Пятилетний ребенок, родившийся здесь и выученный родителями, выходцами из России, их родному языку, говорит с этим, для нас стариковским, акцентом из прошлого. Так вот не из прошлого.

4 – 5 мая

Сегодня мы с Сашей выехали рано. Между городами большие пустые пространства. Страна маленькая, но для тех четырех с половиной миллионов, которые здесь живут, и она достаточно велика. Место есть – людей не хватает. По тому, как медленно, но неуклонно, метр за метром, израильтяне осваивают каждый клочок земли, конечно, нехватка людей особенно обидна. Страна маленькая, но вместит еще многих, и, по-моему, напрасно эмигранты едут в Америку, а не сюда. Главный вопрос: уезжать или нет. Но коль он решен, то дорога сюда, в Израиль, прямее и нравственнее. Идея сионизма не в том, чтобы быть выше других, а в том, чтобы не отличаться от других. Идея, что нация должна быть не исключительной, а такой же, как все другие, – благо. Эмиграция, продолжающая ощущать себя еврейской во всех других землях, поддерживает идею исключительности. Желание быть «как все» может быть осуществлено только в своей стране. Израильтяне такой же народ, как и все цивилизованные люди в цивилизованном ми-

ре. Для этого страна должна быть заполнена и застроена. В Америку едут чаще из-за желания жить лучше, что, конечно, естественно, но эмигранты должны выжечь из себя ощущение исключительности. Этому, правда, мешает антисемитизм, который время от времени вспыхивает повсюду, кроме Израиля. Тору, Свет в мир евреи принесли – пора строить мир материальный, а не только духовный, что и происходит в этой стране. Конечно, не без потерь для духа народа. Пусть каждый решает, что главнее – жизнь и покой или исключительность. По-моему, от идеи еврейского праведничества, основанной на мученической смерти, пора перейти к идее спокойной жизни. Двух тысяч лет предощущения грядущей муки и страданий вполне достаточно. Хватит.

6 мая

Встреча в Русском клубе. Встреча со мной. Эдакая значительная личность. Будут давно приехавшие, недавно прибывшие. Они не хотят знать ничего про страну, их родившую. Якобы. Ведь не ради меня они пришли. Кто я такой? Чем я им интересен? Только тем, что из России. Все эти русские собираются своим землячеством, слушают приехавших, спрашивают, выясняют: ну как там у нас без нас? Свободные, независимые, живущие отдельно, у них совсем иные проблемы, иные заботы.

И к словам, и к фамилиям нынешних лидеров относятся вроде бы иронически. Нет – все это маскировка подлинной заинтересованности. Как немилостива к иным из них была колыбель, да, все ж колыбель, и корни так просто не обрубаются, надо пересаживать, а то засохнешь.

Спрашивают много, подчас серьезно и глубоко, а то и поверхностно, будто заранее знают ответ. Слава Богу, хоть не спорят – слушают. Пусть не соглашаются, лишь бы не спорили – смерть как не люблю споры. Никогда ни одна истина еще не родилась в спорах, в спорах появляются лишь признавшие поражение да преклонившиеся пред чужой «истиной».

Интересно, как быстро забываются обстоятельства нашей, когда-то общей, жизни. Мне казалось, чем больше человек страдался, тем лучше запомнилось, – нет же! Некоторые были в «отказе» восемнадцать лет, прошли через суды, через кратковременные аресты, другие и в лагерях сидели, и проходили мучительные, запоминающиеся – как мне казалось – унижительные, оскорбительные таможенные осмотры при отъезде. Но помнится и понимается все, видимо, выборочно. Я отвечаю на вопросы, рассказываю достаточно откровенно – я уже научился не бояться (впрочем, тут я,

кажется, хватил – все же было так, что скажу, да вдруг заробею, как говорится, не умом, а поротой задницей). Отвечая, хорохорюсь, фанфароню. Но говорю честно, то, что думаю. А меня спрашивают: «Вы не боитесь все это говорить? Вы же возвращаетесь обратно». Я отвечаю, что в моих словах не больше информации, чем в наших газетах и журналах. Не верят. Все полны прошлым. Видимо, чтобы эффективней отряхнуться от того, сгнившего, надо вместе со старым гнить. Они стряхнули с себя еще живое – оно и осталось в их памяти прочнее. Недаром те из них, что уже приезжали в гости к нам, в Союз, рассказывали, как страшно им было временами – вдруг схватят, не выпустят назад. А мы-то сейчас осмелели. Тоже ведь опасно – раба из себя надо все ж по капле выдавливать, так надежнее.

И все же даже сравнительно недолгое пребывание здесь в людях, полностью отрешенных от нашего бытия, вызывает необратимые потери в понимании нашей жизни. Один из слушателей спросил, почему у нас все еще не образовалось еврейское лобби, которое бы воздействовало на парламентариев и сумело бы оградить соплеменников от поношения, от угроз, от расистских речей, которые неминуемо должны перейти в действия. Ведь в ответ не объяснишь, что у нас и понятие «лобби» пока еще продолжает оставаться ругательным, что люди не знают о естественности подобных групп, течений, образований – не знаю, как их правильно назвать. А уж если появится термин – «еврейское лобби»! – так сразу караул кричать придется. Парламент-то у нас появился, но полностью к парламентскому существованию сразу не перейдешь. Да и еврейский вопрос еще многие пытаются расценивать как один из национальных вопросов. И здесь, в Израиле, мне часто начинают говорить об этом как о национальной проблеме. Я уже говорил, но написанное сейчас само толкает меня вновь порассуждать на страшную тему. Еврейский вопрос, антисемитизм – это не национальный вопрос, трактующий отношения между народом-гегемоном и народом, живущим на его территории. Антисемитизм всегда является показателем кризиса всего общества. У нас антисемитизм – это беда русского народа. Поэтому нелепо объяснять людям, что антисемитизм – это плохо, это расизм, это шовинизм. Когда плохо основному народу, его на такие пустяки не возьмешь. Он ищет причину своей беды во внешних обстоятельствах, как при болезнях сначала норовили в каждом случае найти микроб. Антисемитизм западных немцев ушел – через покаяние после катастрофы. Покаяние оздоровило немецкое общество – оно перестало искать причину своих бед вовне. Покаяние привело к тому, что они

платят израильтянам, пострадавшим во время второй мировой войны, пенсию.

После окончания встречи, от которой я, может быть, получил больше удовольствия, чем встретившиеся со мной (говорят, что было плохо слышно), состоялся чай. Конфеты, торты, пирожные – несмотря на отсутствие запретительных антиалкогольных указов, горячительного питья не было. Может, жара? Может, привычка? А может, просто – зачем пить?

11 - 12 мая

Ну вот, и последний день. Отлет поздно вечером. С утра мы уехали в Тель-Авив, а оттуда в аэропорт.

В Тель-Авиве у друзей полно народу. Так их провожали, когда они уезжали в Израиль навсегда.

Все ж русские тянутся к русским. Здесь все евреи из России. И все мы здесь русские. Осталось недолго – завтра в России я опять стану евреем.

Поцелуи, объятия, прощание, суют подарки родственникам, близким. Пытаюсь записывать кому что, чтобы не забыть. Порой свой почерк я не понимаю – как бы не оконфузиться в Москве. Все в голове крутится, смешивается, вертится и быстро забывается. Хорошо, что я все дни писал.

Снова аэропорт – объятия, прощание, но теперь у меня нет того убийственного настроения, когда Саша уезжал из Союза, последний раз взмахнул нам рукой, перед тем как скрыться в таможне. Кто знал тогда – увидимся ли мы вновь с ним в этом нашем существовании? Теперь я прощаюсь и знаю, что живем мы с ним в одном мире. Мир один, мир изменчив, и сегодня он меняется удачно. Главное, надо быть живым (это самое трудное), и тогда все будет возможно. Да и что там, в черной дыре смерти, тоже ведь неизвестно. Оттуда мы никогда никакой достоверной информации не имели, как и из тех самых «черных дыр».

ПОСТСКРИПТУМ ЧЕРЕЗ ДВА ГОДА

Прошло достаточно времени, и, возможно, кое-что устарело. Ведь записаны были впечатления того мига, что унесся в прошлое вместе с «Бурей в пустыне» и с ураганами над нашими городами, утянув за собой невероятное количество событий, и из того места, где я был и где я есть.

Сейчас там, по-видимому, ситуация сложнее, чем в дни моего путешествия. Но я уверен – все образуется, должно пройти время. А пока, наверное, в связи с большим наплывом репатриантов из нашей страны, трудно с жильем, трудно с работой. Когда людям тесно, они толкаются и ворчат. Так в автобусе, где все чужие. Но когда только друзья набиваются в одну машину и им некуда даже руки деть – они закидывают их за спину товарища и сидят в обнимку; а если не умеются – садятся друг другу на колени; а если закрывают водителю обзор сзади – безропотно пригибают свою голову к коленям и с надеждой катятся вперед, к цели. И все-таки сейчас им очень неловко, наверное.

Многое изменилось за это время...

Неизменен лишь вечный «еврейский вопрос», который от раза до раза взрывается то в одном, то в другом месте нашего мира. И всюду, где наступает на жителей беда, где развивается кризис социальный, страшным бедствием надвигается и буря национальных неурядиц. И, конечно, проще всего обрушить гнев несчастных и обездоленных на чужих, да еще, как кажется растерянным людям, на не имеющих корней на земле сегодняшних горестей.

Очередная беда подняла тысячи еврейских семей и погнала – на этот раз не туда, где вновь кто-то смиляется и даст прибежище, а на Землю, где родилась и оформилась их культура, откуда пошла гулять по свету их история, где они породили цивилизацию, которая разрасталась и распространялась по всему миру; на тот маленький клочок земли, что выбрал Непостижимый как место для источника Света, какую бы форму этот Свет в дальнейшем ни принимал – шестиконечной ли звезды, креста или полумесяца.

Поднялись и поехали в надежде, что едут к себе домой.

Два тысячелетия евреи жили в разных странах, куда их направляла судьба несчастий стран, что их приютили до этого. Сотни лет жили они и в России, и на землях, входивших в Российскую империю. Привыкли. Сроднились. Обжились. Полюбили. Радовались, страдали и ошибались в равной степени со всеми народами, населявшими эту державу.

Но вот ОНО пришло, и все чаще и чаще звучит напоминание о их месте в жизни коренных народов. «Где ваша земля?» – задают коварный вопрос незванным гостям. (Существует легенда, а может быть, это и правда, будто князь Владимир, выбирая религию своему народу, в какой-то момент положил глаз на веру иудейскую. – Господи, как бы повернулась вся история! – Но не смогли иудеи ответить на тот же коварный вопрос. Осерчал князь Красно Сол-

нышко и прогнал безземельных вон. Хотя надо сказать, что иудейская религия закрытая и никогда иудеи не были миссионерами, проповедниками своего Завета.) «Пришла беда – отвори ворота». Мне всегда казалось, что дверь открывается для входа беды – оказывается, и для изгнания бедствующих. Вспоминаются мне стихи-песня А. Городницкого: «От Германии, родины милой, покидая родные могилы, уезжают евреи в печали. Их друзья пожимают плечами: «Куда вы?.. Нам в иных государствах – не место». (Запахла смоковница, не утолившая жажду алчущих.)

Народ устал и хочет дома обрести покой: работать как все, переустраивать жизнь тех, кто не будет попрекать их незваными гостями. Да только слишком много их сразу – бедствующих. Тесно. Только такие же, генетически страдавшие все прошедшие века, могут принять их с печальным сожалением и жаждой потесниться и помочь. У всех в памяти корабль с изгнанными из Германии, носящийся по океанам в поисках места для никому не нужных. («Им в иных государствах не место».) Так и вернулись («Германия, родина милая») – и все уничтожены были...

НА ТО ОНА И ВОЙНА...

Издали слышалась стрельба. На площади у исполкома собрались случайные прохожие. Голос по радио повторял:

– Внимание! Экстренное сообщение: в районе полиции возник новый конфликт! Всем покинуть площадь и разойтись по домам во избежание неприятных инцидентов!..

– Мне это не нравится, – сказала Саша, моя жена. – Когда наконец они угомонятся?! Когда нас оставят в покое?..

– Никому не нравится, когда стреляют, – вздохнул я.

Мы возвращаемся домой. Вечерняя прогулка не получилась.

Ближе к ночи напряжение усилилось. Палили отовсюду. У дома рвались тяжелые снаряды... Пылали пожары... Горели фабрики и заводы...

– Господи, что происходит? – испуганно шептала Саша. – Что они с нами делают?

Дочь Света забилась в угол и в ужасе бормотала:

– Мама, мне страшно... Когда они перестанут?

Я тяжело дышал, судорожно копаясь в карманах пиджака в поисках таблеток валидола.

Пламя пожирало город.

В голове сверлило: «Что делать? Куда бежать? К кому обратиться? Где искать спасение?»

Телефонный звонок.

– Сема! – кричит в трубку мама, которая живет на третьем этаже в одном подъезде со мной. – Почему они так стреляют?

Маме 72 года. Но, несмотря на возраст, она держится.

– Ма, – предупреждаю я ее, – не надо волноваться. Ложись на пол и ни о чем не думай...

– Я не такая умная, как ты... Но как мне не думать, я же еще живая... Приходите ко мне скорей...

– Куда мы пойдем? Пули летают в коридоре, как мухи...

– Боже мой! – запричитала она. – Как я буду лежать одна? Я же боюсь.

– Сейчас все боятся. Идет война...

– Какая война? Что ты меня пугаешь? Я не хочу лежать одна.

– А как ты лежала все время?

– Но тогда не стреляли...

Четыре года назад умер папа, и теперь мама вынуждена коротать остатки своих дней в грустном одиночестве.

– Ма! Все! Лежи и молчи. Я потом позвоню...

– Кто в нас стреляет?

– Мы сейчас не разберем... Комната простреливается... Все...

Мы затаились в коридоре, вслушиваясь в какофонию страшной стрельбы. Она напоминала то барабанную дробь, то стук молота, то раскаты грома... Огненные смерчи разрезали ночную тьму... То и дело в небо взлетали ракеты, они зависали в воздухе и, освещая все вокруг, плавно скользили вниз, угасая в темноте... Каждый взрыв, удар, стук отдавался болью в сердце. Хотелось встать и бежать, что-то делать, спасти себя и детей... Только бы не оставаться на месте безропотной мишенью в ожидании мины или снаряда... В эти минуты мы еще не знали, что в городе умирали люди, искали помощи раненые, трупы лежали там, где их настигли пули, и никто не решался их подобрать, опасаясь снайперов... А по исполкому, где находились руководители города, иностранные корреспонденты, члены согласительной комиссии, стреляли прямой наводкой...

Оглушительный гром, пугающие хлопки, пронзительный свист – все смешалось и повторялось с новой силой, сопровождаясь всплесками пламени, бушевавшего по всему городу...

Только к утру стрельба, наконец, стихла.

Я вышел на улицу. У дома замерли танки и бронетранспортеры. Рядом суетились люди в зеленой форме с белыми повязками на руках. Повязки указывали на принадлежность к армии Молдовы... Гвардейцы Тирасполя носили такую же точно форму, но красные повязки...

Город лежал в руинах. Радио молчало. Газ и свет отключили. Магазины разгромили и разграбили. Вода не поступала. Информации – никакой! Что говорили о Приднестровье? Какова обстановка? Что делать? Никто ничего не знал. Оставалось ждать и уповать на судьбу...

Я вошел к маме. Они с Сашей возились в кухне. Рядом сидел Мишка, наш семейный друг. Мишка – долгожитель. Ему 81 год, но он еще ходит, помнит свое имя, не любит Хасбулатова и всем говорит, что евреи должны ехать в Израиль, хотя сам никуда не собирается.

– Мишка, как дела? – спрашиваю я, понимая, что все его дела уже в прошлом.

– У меня стекла выбили. Теперь везде сквозняк. Не знаешь, где взять стекла?

– Попроси у Снегура. Ты же за него голосовал.

– Голосовал. Евреи с молдаванами всегда жили дружно...

– Вот и объясни ему это...

– Ай, оставь... Как я буду жить зимой?

– Война затянется до зимы? И ты надеешься выдержать?

Мишка тяжело вздыхает. Очевидно, сомневается в своем будущем...

– Где ты был, когда стреляли? – поинтересовался я.

– Где я мог быть? Лежал в туалете...

– Как ты мог там лежать, если он малогабаритный?

– Когда стреляют, об этом не думаешь...

Наверное, он был прав.

– Сема, объясни мне, чтоб я понял. Что они от нас хотят?

– Они хотят, чтобы у тебя были права человека.

– А до сих пор у меня их не было?

– А ты сам как думаешь?

– Ты таки прав! Что же делать? – Мишка задумался. – А почему они твердят, что все горе от сепаратистов?

– Ты таки дурной! – вставляет мама. – Не было б сепаратистов, не было б войны...

– Ай, Дора, ты ничего не понимаешь, – отмахивается Мишка. – Пусть Сема объяснит.

– Я не понимаю? – Этого мама никому не прощала. – Я все передачи по телевизору смотрю... Я каждого еврея по имени знаю...

– При чем здесь евреи? – не понимает Мишка. – Разве они начали войну?..

Я прерываю их спор.

– Ма, а что такое сепаратист?

– Ты что, не знаешь? Одна женщина мне сказала, что это – вредители.

– Дора, ты ошибаешься, – не соглашается Мишка. – Это новая национальность, которая не устраивает Молдову. Правда, Сема?

- В чем-то ты прав... Молдову она действительно не устраивает...
- А сепаратисты хуже, чем евреи? – забеспокоилась мама.
- Хуже, конечно...
- Чем? Чем хуже?

За свою нелегкую жизнь мама усвоила, что в нашей великой стране хуже, чем евреям, никого не бывает, а тут выясняется, что это не так... И потому маме захотелось узнать о сепаратистах по-подробней.

- Сема, их тоже преследуют?
- Еще как! В них даже стреляют! Поэтому и началась война.
- А при чем тут мы?
- Как при чем? Ты тоже сепаратистка, раз живешь в Приднестровье...

Этого мама понять не могла. С еврейкой она как-то смирилась, потому что родители ее были евреями, но они никогда не были сепаратистами.

– Вейз мир!¹ Как я могу быть сепаратисткой, если я – еврейка! Человек не может иметь две национальности...

- Кто тебе сказал?
- Одна женщина на базаре... Она тоже еврейка...

Мама не на шутку встревожилась. Менять на склоне жизни национальность ей совершенно не хотелось. Нужно было ее успокоить...

– Не нервничай, ради Бога. Все знают, что ты – еврейка! А если спросят, говори, что сепаратистов ты в глаза не видела...

- И мне поверят?
- Ты говори...

– Как ты меня напугал! – она облегченно вздохнула. – Я скажу, что вообще их не знаю...

Мишка уходит домой стеречь свои сквозняки, а мы пьем чай...

– Сема, звонила Галка, – говорит мама, – она сказала, что евреев вывозят на автобусах в Израиль...

- Прямо на автобусах?
- Не знаю, она так сказала...
- Ма, а ты хочешь в Израиль?
- А что там делать?
- А что делать здесь?

¹ Вейз мир (здесь и далее – идиш) – горе мне.

– Здесь я родилась. Здесь похоронен твой папа. И я хочу лежать рядом с ним...

– Ма, ты еще должна жить рядом с нами...

Битва за Бендеры закончилась победой гвардейцев, центральная часть города была освобождена. Защитники целостности Молдовы заняли позиции на окраинах. Наш дом оказался в глубоком тылу...

После обеда снова началась стрельба. Мы лежали на полу и ждали у моря погоды.

Телефонный звонок.

– Сема, я не знаю, что делать, – слышится растерянный голос Мишки. – У меня кресло горит.

– Постарайся его потушить. У тебя вода есть?

– Есть, в ванной.

– Вылей на огонь. Только не жалея. Хуже не будет.

Теперь я видел, что старость – это совсем не радость.

– У меня и диван горит.

– Вылей и на диван.

– Лучше приходи ко мне, выльем вместе.

Даже приватизация и рыночные отношения не смогли из него выбить чувство коллективизма. Старое мышление продолжало в нем жить и побеждать.

Мама вырвала у меня трубку.

– Мишка, у тебя в голове что-то есть? Куда он пойдет, когда кругом стреляют? Тебе что дороже: паршивое кресло или жизнь моего сына? Возьми стакан воды и вылей, не жалея... Если будешь церемониться, у тебя все сгорит...

Мишка бросил трубку, а мама недовольно воскликнула:

– Он таки с ума сошел... Простой пожар сам потушить не хочет!

– Мама, сходить к нему? – засомневался я.

– Вейз мир! Куда ты пойдешь? Хочешь оставить меня сиротой?

В такие минуты доказывать ей что-то совершенно бесполезно.

– Ничего у него не случится, если кресло и сгорит. У него еще есть.

– Ма, так может и дом сгореть...

– Не сгорит... Мишка еще не такой старый... Если хочет иметь дом, потушит...

Наш спор прерывается душераздирающим воем сирены...

– Боже мой! Что они еще придумали?! – испуганно кричит мама.

– Воздушная тревога! – говорю я. – Надо идти в убежище...

– А где оно, это убежище? – ухмыляется Саша. – Нас всю жизнь пичкали только инструкциями...

Послышался гул самолета.

– Смотри-ка! – удивился я. – Наконец-то власти Приднестровья решили защитить наш город... Все-таки у них аэродром...

Вдруг раздался пронзительный свист, пригнувший нас к полу... И рядом что-то разорвалось со страшным грохотом... Стены зашатались, стекла задребезжали. Внутри все оборвалось...

– Бомбы! – закричал я в ужасе. – На нас сбрасывают бомбы! Надо бежать на улицу!

Я попытался подняться, но второй взрыв вдавил меня в линолеум. На мгновение показалось, что дом разваливается на части...

Несколько минут мы приходили в себя. Война становилась непредсказуемой. Очевидно, нас действительно решили стереть с лица земли...

– Быстро собирайся, – сказал я маме. – Возьми самое необходимое. Сейчас снова будут бомбить...

– Боже мой! Что ты от меня хочешь? – запричитала она. – Я не могу так быстро. Я старый человек. У меня руки дрожат. У меня давление поднялось... У меня сердце болит... Если бы у меня была привычка, я бы упала в обморок...

– Ма, упадешь в подвале... Собирайся, пожалуйста, скорей... Еще одна бомбежка, и от нас останутся одни воспоминания...

– Какие воспоминания? Что ты меня пугаешь? Позвони Мишке... Он тоже жить хочет... Он, наверное, лежит в туалете... Я такого еще не видела, чтобы стреляли в простых людей... Я пережила войну, была в эвакуации, но тогда так не поступали... Куда ты меня тянешь? Я никуда не хочу идти... Ты уже позвонил Мишке?

– Ма, лозыхуп¹... Давай бекицер²..., – когда я с ней говорю на родном языке, она меня лучше понимает. – Пожалуйста, гихер³... Где твои документы? Собирайся... А я пока позвоню Мишке...

¹ Лозыхуп – собирайся.

² Бекицер – короче.

³ Гихер – быстрее.

На мой звонок никто не отвечал...

– Он, наверное, лежит в туалете соседки...

– А пожар? – спросила мама.

– Ему сейчас не до пожара.

Минут через пять мы уже торопились к подвалу магазина, с сумками, сухарями, водой и смутной надеждой на лучшие времена.

В подвале, сыром, темном и неудобном, совершенно не приспособленном для войны в городе, кто-то расположился на раскладушке, кто-то притащил стул, кто-то растянулся на досках... Я нашел деревянные ящики, мы сели на них и облегченно вздохнули...

Темнота не вдохновляла... В этом подвале хорошо жилось только крысам...

Народ все прибывал... Однако достаточно быстро мы осознали, что здесь долго не продержаться... К одиннадцати ночи начали расходиться.

– Надо и нам собираться, – предупредила соседка. – Подвал открыт, в любую минуту могут появиться мародеры и всех перестрелять, как это было в Кочирах...

Мы направляемся к выходу в зловещей тишине, опасаясь напороться на солдат и быть обстрелянными. Нас могли принять за нарушителей, мародеров, диверсантов и расстрелять в упор. Война и комендантский час все спишут...

– Ма, ты можешь быстрее? – недовольно ворчу я, так как она топчется на месте.

– Как я могу быстрее? – разорвал ночную тишину ее недовольный голос. – Я и так еле жива. Я сейчас в обморок упаду и больше не встану.

– Ма, упадешь дома на кровать. И, пожалуйста, тише... Нас всех сейчас шлепнут...

– А что я такого сказала? Кто нас шлепнет? Мы никому ничего плохого не сделали...

Зря я затеял этот разговор. Теперь ее не остановит ни гвардеец, ни полицейский...

– Куда вы так спешите? Мы что, не успеем? У нас что, нет время? Нас что, кто-то ждет?

– Ма, закрой рот. Я тебя очень прошу... Пока его нам не закрыли враги... Они же все антисемиты... Они не любят евреев... Особенно ночью... когда темно...

Услышав про антисемитов, мама притихла... Антисемитов она всегда не любила и знала, что ничего хорошего ожидать от них не приходится.

К счастью, все обошлось... Все остались на третьем этаже, а я поднялся к себе в квартиру, на восьмой этаж.

Кажется, я уснул. Сквозь тяжелый сон я слышал стрельбу, а когда со всех сторон начало бухать и ухать, заходили стены и разлетелись стекла, я, еще не соображая, что происходит, почти автоматически сполз с кровати и, пробравшись на четвереньках в коридор, начал торопливо одеваться в полной темноте... Я дрожал, дыхание перехватило, сердце остановилось... Мимо окна на огромной скорости с невероятной мощью, мощь эту я ощущал каждой своей клеточкой, неслись огненные смерчи, то ли от «шилки», то ли от «алазани», и не было им конца... Они летели в несколько рядов и, казалось, так близко, что в любую секунду могли пробить меня насквозь...

Боже! Когда наконец они пролетят? Кто это стреляет? Чем?... Судя по направлению, снаряды летели в центр города...

Кажется, и на этот раз пронесло... Я выглянул в окно. Вдали слышались отчаянные крики:

– Не стреляйте!.. Не стреляйте... Мы – свои! Остановитесь!..

А утром только и говорили о том, что ночью гвардейцы по ошибке обстреляли своих, ополченцев, выходящих к мосту через Днестр... Погибло около пятидесяти человек. Только несколькими раненым удалось спастись...

В полдень явился Славик, мой двоюродный брат.

– Что вы здесь сидите? – закричал он с порога и, увидев нашу растерянность, обратился ко мне как к главе семьи. – Что ты сидишь? Ждешь, когда всех перестреляют?

– А что я должен делать?

– Ты еще спрашиваешь? Бросай свое барахло, едем в Израиль. Каждую неделю всех евреев увозят в Одессу, оттуда самолетами в Тель-Авив... Едут все, старики, молодые, калеки... В городе уже нет евреев... Только вы одни, шмоки, еще раздумываете...

– Мы не можем ехать, – робко возразил я. – Как бросить квартиру?... Здесь полжизни осталось...

– Но ты можешь лишиться второй половины. Что тебе дороже: прошлое или будущее? Решай... До отхода автобуса осталось три часа...

Он ушел так же неожиданно, как и появился...

Мы не знали, что делать. Ждать, когда в город войдут бандиты и всех перестреляют? Бросить все и ехать в Израиль, обрекая себя на неизвестность?..

Мы и раньше много спорили об отъезде, но не пришли ни к какому выводу, хотя и находились в лучшем положении: нас принимал Израиль... У других такой возможности не было.

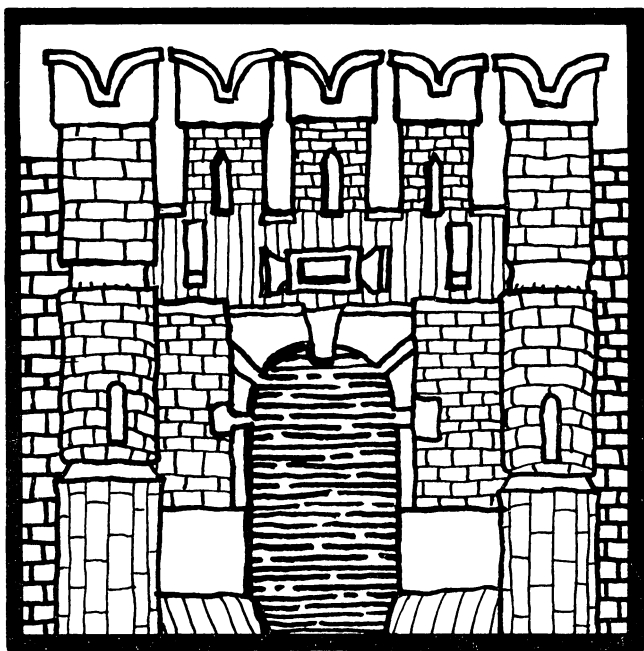
С какой завистью смотрели на отъезжающих евреев русские, украинцы, белорусы!.. Как они мечтали оказаться на нашем месте!

Мы собрали чемоданы и присели перед дальней дорогой...

Как это ни странно, автобус пришел в назначенное время...

ПЕРЕКРЕСТОК

ЦОМЕТ



ДА БУДЕТ СВЕТ НА ПЕРЕКРЕСТКЕ

В альманахе «ПЕРЕКРЕСТОК – ЦОМЕТ» встретились литераторы, которых никак нельзя объединить в одну когорту. Конечно, можно весьма условно разделить их на небольшие группы по одному из общепринятых признаков – возрастному, половому, по рейтингу популярности, которой пользуются они среди нашей (и не нашей) читающей публики, по эстетическим и этическим пристрастиям, по приверженности той или иной философской концепции, наконец, по силе противостояния Системе, которая породила каждого, независимо от возраста, национальности, вероисповедания и нынешнего места проживания.

Можно, разумеется, придумать какой-нибудь классификатор. Но ни к чему это. Надо честно признать, что наши авторы – случайные попутчики, загнанные под одну «крышу» причудливой интуицией составителей.

И тем не менее наш альманах не есть эклектическая постройка, наспех воздвигнутая безо всякого вкуса и смысла, где резной петушок, бойко примостившийся на крыше, никоим образом не сочетается с шестиконечной звездой Давида, изображенной на дверях парадного подъезда.

И в замысле нашем нет никакой тайны. Суть и смысл его можно определить двумя ключевыми словами: Россия и Израиль. В них все – древнейшая история еврейского народа, полная бед и побед, истребление и возрождение, рассеяние и стремление к воссоединению, сохранение национальных традиций и вращение в

культуру страны проживания. И изгойство. Изгойство, о котором с болью пишет Елена Аксельрод:

Не знать бы привилегии печальной
Расстаться с тем, с чем всей душой срослась, –
С чужбиной, нареченной, изначальной,
Той, что с рожденья родиной звалась.

Если исходить из постулата, что случай есть проявление закономерности, то вполне оправданно прозвучит название альманаха. Перекресток, распутье – место, где дороги пересекаются или расходятся, не разобрать. В России издревле перекресток – место роковое, где совершались чары и заговоры, где для охраны ставились кресты и часовни.

Наш перекресток особенный – ни на какой географической карте его не сыщешь. Но: Россия и Израиль – два ключевых слова. Нет дороги на карте, но есть литературный перекресток.

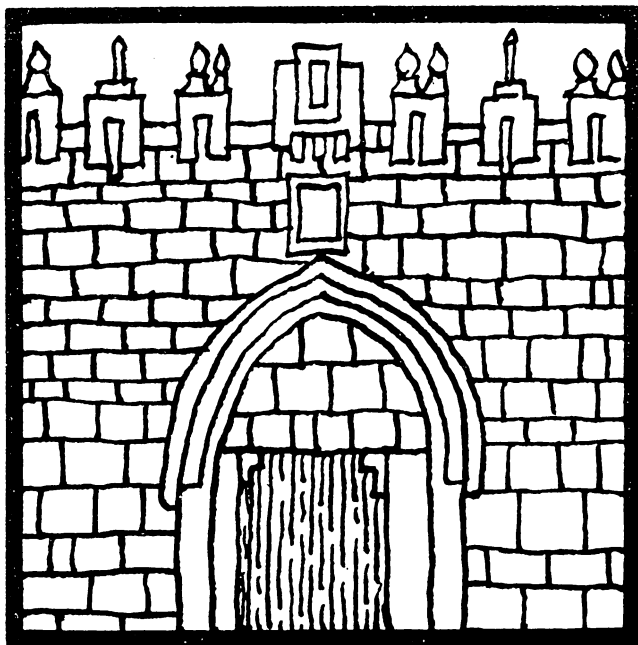
И пусть стоит на нем охранный часовня, и пусть рядом всегда горит менора.

Ибо, как написано в начале Торы: «И сказал Б-г: да будет свет... и отделил свет от тьмы».

Рада ПОЛИЩУК

Ц О М Е Т

П Е Р Е К Р Е С Т О К



сказал, что мы пойдем пешком. Когда мы вышли на поворот к Лавре и она открылась в дымящемся от мороза воздухе, Венедикт заметил, что она внизу, но кажется выше этой горы. Мы спускались по крутой улице, и небо с бледными звездами над куполами словно приподнималось с каждым шагом.

В Лавре было немногочленно, отъезжали последние экскурсионные автобусы. У часовни сверкали фотовспышки - японцы снимали живописного старца в ветхом пальто, галошах на босу ногу. Прошла вереница семинаристов, они немного замешкались, когда японцы отсалютовали им фотовспышками. Старец, тихая толпа женщин у часовни, соборы, палаты - все это было так ярко, неправдоподобно; я и не знала, что такое существует. Хотелось смешаться с этой толпой - но присутствие Венедикта останавливало. Пока я обегала двор, он стоял терпеливо и отдельно от всех, поглядывая на старика с бидоном святой воды, дымящейся на морозе. Так же терпеливо и равнодушно он прошел по музею, а в соборе остался у входа. Я пробыла там довольно долго, а когда спохватилась, Венедикта не было. Он стоял во дворе и толковал со стариком, которого мы заметили. Старик был такой же высокий, худой, странно похожий на Венедикта. Он уговаривал Венедикта окунуться в прорубь. Тот очень оживился, похоже, идея его увлекла. Когда я подошла, они оба стали уговаривать и меня. Венедикт подчеркивал пользу такого купания для здоровья и был особенно убедителен и серьезен. Я поглядела на сонную воду в бидоне и поежилась. «А ничего, дочка, - сказал старик, - столько людей купается, и никто не захворал, наоборот, исцеляются». Они с Венедиктом вспомнили несколько случаев чудесных исцелений и простились с большим сожалением. У ворот я обернулась - старика уже не было. Два молодых милиционера перебрасывались снежками. Мы зашли в лавку, и Венедикт выбрал для меня масленку на толстых кривых лапках.

Вокруг Лавры был еще один волшебный мир - с чудесным стариком, милиционерами со снежками, развеселой кособокой масленкой и светом в окнах деревянных домов. Он был равно далек и от ее золоченой старины, и от печальной жизни черных фигурок, высыпаящих на перрон и бегущих к автобусам.

Мы шли вдоль палисадников с кустами, оглохшими от снега, мимо окон с бумажными цветами и игрушками между рамами, голубым светом телевизоров и геранью на подоконниках. Мы подымались наверх, окруженные этим ровным, кротким теплом жизни, которого так недоставало в моем Питере, его Москве и, наверное, в Петушках, которых я никогда не видела.

через каменный мостик с табличкой «Чертов мост», нашли замечательное место на берегу пруда, приспособленное для культурного отдыха: кругом стояли три пенька, а посередине был положен кусок фанеры. Венедикт сидел на самом высоком пне, его друзья - на пеньках пониже, мне достались сломанные санки. Пили портвейн, молодой человек закусывал его изюмом из кулеца. Приторное вино и серый воздух сумерек, костерок, который сложила поэтесса, – все это окончательно смягчило наши души. И я запомнила красивую женщину и грустного молодого человека пронзительной жалостью, с которой смотрела, как они прикрывают ладонями огонь костра.

Прервался этот благостный покой неожиданно и резко – Венедиктом. Он вдруг встал и, как пускают голыши по воде, швырнул в пруд пустую бутылку, потом вторую. Они со скрежетом и визгом полетели по льду. И все разом кончилось. Бросилось в глаза неблагоприятное изображение нашего застолья: стаканы и окурки в снегу, грязное пятно вокруг костра, наконец, эти проклятые бутылки в пруду. Мы мигом продрогли и заметили, что уже темно. Раздраженные, замерзшие, мы молча спешили за Венедиктом. «Чертов мост» превратился действительно в «чертов» – он оброс льдом, под ним кипел водоворот. Вверх пришлось карабкаться по крутому откосу. Венедикт шагал, как на ходулях. Я шла последней, поскользнулась и начала сползать к воде. Молодой человек был в шаге от меня, я протянула руку, но он вдруг сложил ладони лодочкой и сказал: «Простите, но я не могу в пост прикасаться к женщине». Поэтесса остолбенело смотрела сверху. «Венедикт!» – закричала я, уже предчувствуя ледяное купание. Он пролетел мимо, удержавшись у самой воды, и ровно, сильно, как трактор, потащил меня вверх.

В электричке мы почти не разговаривали, все были обижены друг на друга. Зато дома, отогревшись, я принялась обличать ханжество молодого человека. Венедикт, как обычно, был снисходителен, подшучивал и уверял, что прогулялись мы на славу. Оно, конечно, – но застрял в памяти скрежет бутылки, летящей по льду...

В Сергиевом Посаде, в Лавре, я впервые побывала с Венедиктом. Собрались мы неожиданно, выехали довольно поздно, и в электричке он явно пожалел уже о своей аванюре. Я, глядя на его мрачное лицо, тоже. В вагоне была толпа людей, едущих из Москвы в свои пригороды. Дремлющие на лавках и стиснутые в проходе, в одинаково темных пальто, с тусклыми от усталости лицами, они заставляли чувствовать себя особенно неприятно.

К Загорску вагон почти опустел, и, мы, наконец, вышли на обледенелый перрон. Вокруг нас все куда-то спешили, на площади те же молчаливые темные люди набивались в автобусы. Венедикт

Очень жаль, что он написал так немного. Сил и таланта ему было отпущено куда больше, чем он успел реализовать; хотя и то, что успел, сделало его одним из лучших писателей современной России.

Со смерти Венедикта прошло два года. И по известному свойству памяти постепенно изменилось представление о том, что казалось прежде важным и неважным. Так, литературные отношения, счета и оценки, связанные с Венедиктом, отступили на второй план, а главное, что осталось, – наши не слишком частые встречи, частные обстоятельства и разговоры. И закончить эти заметки я хочу рассказом о двух загородных поездках, которые почему-то запомнились до мелочей.

В начале весны, во время Великого поста, небольшая компания во главе с Венедиктом собралась за город. Приехали мы в подмосковное имение кого-то из лермонтовской родни, кажется, Шан-Гиреев. Место это было удивительное – вроде и отъехали недалеко, а казалось, откатило нас на полтора столетия назад. Над усадьбой стояла обморочная тишина, ни голосов, ни огня не было в доме – ныне санатории для невротиков. Мы шли от станции в парк, по колесу проваливаясь в снег. Но сугробы, снежные отвалы вдоль аллей, лед на прудах – все это было уже лишь декорацией зимы. Декорацией казался и барский дом, поставленный «покоем», со стеклянной оранжереей, не освещенный электричеством. Даже гипсовой бюст советского бандита, чье имя носил санаторий, под снегом мог сойти за цветочную вазу.

И компания в это странное место у нас подобралась странная. Была кроме Венедикта, поэтесса, красивая, словно сошедшая с брюлловского портрета, и огромного роста молодой человек. Когда мы вышли из электрички и закурили, поэтесса припомнила было какую-то частушку, но осеклась – слишком это не вязалось с тишиной вокруг. А молодой человек держался совсем скованно: Великий пост он соблюдал с неистовой строгостью, ел, кажется, лишь семечки и сухофрукты, а на работу ходил пешком, потому что дал обет не прикасаться к женщинам, а в переполненном транспорте исполнить это было невозможно. Теперь он с грустью поглядывал на авоську, которую нес Венедикт, уже склоняясь к тому, чтобы выпить, и заранее переживал свой проступок.

С парковой дорожки, где даже лопата была воткнута в снег, – но ни души кругом, – мы сошли в снег по следу, который протаптывал Венедикт. Наш предводитель, кажется, единственный не чувствовал грусти этого света, снега и воздуха, он твердо и осмотрительно шагал, как по снежной целине в лесу. Перебрались

худел, под одеялом тело казалось совсем плоским. Временами я принималась твердить: «Мы еще проживем, еще есть время, увидишь...»

Венедикт слушал внимательно, без улыбки. Мою руку он положил себе на лицо, на глаза. И когда я снова заговорила о «поживем», он молча провел моей ладонью – по губам и подбородку, по свежему шраму от операции. Но однако сам заговорил о будущем. О том, что все сбывается – и «Петушки» ставят в театре в Москве, и «Вальпургиеву ночь» собираются, и Вайда хочет снять фильм по «Москве – Петушкам»... Я не помню всего, о чем он рассказывал, но все у него складывалось замечательно, почти фантастически. «Правда, поздно, конечно. Но еще год-полтора надо потянуть...» Он сказал это почти уверенно, и я поверила ему, как верила всегда. Так оно и случилось – еще год жизни был ему отпущен.

А вот «поздно»... Дело не в том, что официальное признание и слава на родине пришли незадолго до смерти. И не стоит обвинять журналистов и именитых почитателей в том, что они появились так поздно. Хорошо, что Венедикт застал и это время. Он сожалел о другом.

Из последнего интервью журналу «Континент»:

Вопрос: Ощущаешь ли ты себя великим писателем?

– Очень даже ощущаю. Я ощущаю себя литератором, который должен сесть за стол. А все, что было сделано до этого, – более или менее мудозвонство.

Странная, странная судьба у писателя Венедикта Ерофеева. Он был разночинцем в современной ему культурной иерархии России, всегда стоял особняком в литературе – в «правой», «левой», неважно. И отношение к нему было сложным: «великий писатель», «гениальная книга» – так заговорили о нем сразу после «Москвы – Петушков». А потом год за годом стало повторяться: «Да, великая книга... Но – только одна книга!»

От него всегда ожидали чудес, на него возлагали какие-то совершенно особые надежды, а он, казалось, эти надежды неизменно обманывал. В начале шестидесятих годов в соответствии с общественной ситуацией молодежь и начальство города Владимира видели в нем одного из вождей будущих классовых боев. В семидесятых, после появления в самиздате «Петушков», опять же в соответствии с ситуацией читатели ждали от Венедикта Ерофеева новых «Мертвых душ», эпическую картину «мерзостей российской жизни». А он замолк на долгие годы. Но и сейчас, когда описаний «мерзостей» в нашей литературе хоть отбавляй, написанное Венедиктом по-прежнему стоит особняком. Оно отличается от большинства книг его современников, как трагедия от натуралистической прозы или памфлета.

уже не возвышалась среди них так победительно. А обрюзгшие люди, вылезавшие из машин, были совсем не похожи на молодежватых ребят, некогда взбегавших по лестнице. И только сторожевой сыч по-прежнему сидел под портретом Ленина. Спросил, к кому я иду, проворчал, что в ту квартиру слишком много ходят. Дверь открыл Венедикт. В волосах седина, он еще больше похудел, горло закрывала марлевая повязка. Он молча, с улыбкой, смотрел, как я путаюсь в крохотной передней, запихивая сумку, переобуваюсь и бормочу что-то бодрое, стараясь не глядеть на эту марлю. У него появился новый жест – он прикрывал горло ладонью. Когда мы уселись на кухне, Венедикт широко и насмешливо улыбнулся, не торопясь приставил к горлу аппаратик и сказал: «Ну, здравствуй, Игнатова, как дела?» Я впервые услышала этот жестяной голос, и поначалу было очень трудно привыкнуть к нему.

В последние годы мы виделись редко. При встречах мне казалось, что он в затяжной депрессии. О новостях литературной моды, особенно когда наступил журнальный бум, Венедикт говорил резко и презрительно. Они по большей части того и заслуживали, но если когда-то он мог с убийственной точностью определить то, что было для него неприемлемо, то теперь чаще просто бранился. Так, с одинаковой энергией он бранил и концептуалистов, и бесчисленных «детей Арбата», которыми тогда зачитывались. О нем и его книгах в бурном потоке «перестроечной» литературы поначалу почти не упоминалось. При встречах Венедикт показывал статьи и письма зарубежных филологов, упоминал об их визитах и об интервью, которые давал на Запад, говорил, что особенно его любят в Польше... Вероятно, в этом была доля справедливой обиды на то, что в отечестве его, как и прежде, не баловали вниманием.

Потом «Петушки» были изданы, кажется, в альманахе «Весть», пришла и официальная мода на «Веничку». Как-то я смотрела по телевизору его интервью. Бойкий молодой журналист расспрашивал, подшучивал, Венедикт старался отвечать ему в тон, аппаратик его скрипел и перхал. Видеть это было больно.

Впрочем, все это было уже неважно. Болезнь развивалась, пришлось делать еще одну операцию. В последний раз мы виделись в 1989 году, за год до его смерти. Он болел так долго, и врачи столько раз говорили, что ему остались считанные месяцы, недели, а он продолжал жить – и это внушало не надежду, нет, но иллюзию того, что ему отпущен еще немалый срок.

Венедикт на минуту вышел встретить меня, и я увидела шрам на его лице – след операции. Потом он лежал в темноте (от света болели глаза), а я сидела рядом и рассказывала что-то необязательное, веселое, стараясь не сбиться на слезы. Он так страшно по-

Каждому из нас жизнь навязывает свои сюжеты. Венедикту как писателю сюжеты выпадали прямо хрестоматийные. Один из них можно назвать «двойник».

Началось почти с анекдота. В московском ЦДЛ однажды появилось объявление о том, что писатель В.Ерофеев расскажет о своих заграничных впечатлениях, о Париже, кажется. Народу собралось множество, ожидали услышать что-нибудь вроде «Париж – Петушки» да поглядеть на него хотелось – Венедикт был фигурой легендарной. Но Ерофеев оказался не тот – Виктор. Посмеялись – забыли.

Но сюжет продолжал развиваться. Одним из авторов альманаха «Метрополь», появившегося на Западе, был Ерофеев. Поклонники Венедикта обрадовались, но выяснилось, что это не он, а Виктор. Замечательно, что с «Метрополем» связана еще одна путаница такого же рода. Ленинградский прозаик Валерий Попов тоже много лет был «широко известен в узких кругах». Печатали его нечасто, он лет до сорока числился в «молодых, подающих надежды». О нем, как и о Венедикте, многие больше слышали, чем читали. И поэтому рассказы москвича Евгения Попова в «Метрополе» поначалу приписали ему. Путаница усугублялась тем, что никто этого «Метрополя» толком не читал, одни слышали рассказы по радио, другие – просмотрели мельком. Но сразу бросалось в глаза, насколько эти рассказы не похожи на то, что писали Венедикт Ерофеев и Валерий Попов раньше. Дело, конечно, быстро разъяснилось, но сюжет продолжал существовать. Думаю, что и Виктору Ерофееву он был не в радость, Венедикта же раздражал еще и потому, что очень разные они с однофамильцем писатели.

Сюжет с «двойником» и завершился, как в скверном анекдоте. После смерти Венедикта в газете «Комсомольская правда» появился некролог, где сообщалось, что умер Ерофеев, участник альманаха «Метрополь»... Странная история!

Большинство встреч с Венедиктом в последние годы сливаются в памяти и кажутся печальными. Правда, внешне мало что изменилось: и гости в доме не переводились, и смешных рассказов хватало, и бутылка стояла на столе. Только Венедикт теперь больше молчал, чем говорил, быстро уставал и отправлялся к себе в комнату прилечь.

Я не скоро увидела его после операции и, честно говоря, немного боялась этой встречи. Наверное, поэтому бросилось в глаза, как изменились окрестности дома на Флотской. Безотрадные хрущобы скрылись за разросшимися деревьями, и ведомственная многоэтажка

«Полет над гнездом кукушки». Вообще первые отклики о пьесе были лишены того энтузиазма, с которым когда-то были встречены «Москва – Петушки». Позже я прочла ее у Венедикта, и он подарил мне номер «Континента», где она была опубликована.

Мне показалось, что сходство «Шагов командора» с «Полетом над гнездом кукушки», скорее, внешнее: она о другом мире и другом времени, куда более безысходном. Пьеса Венедикта – записки из «мертвого дома» эпохи, которая выпала его героям, ему, да и нам всем. В связи с этим я подумала об одном из любимых приемов Венедикта, который есть во всех его произведениях: цитировании и пародировании расхожих цитат, в частности афоризмов. Эрудиция его в этом смысле поразительна, но, согласитесь, это довольно странная эрудиция. Кажется, все знания о мире, история, культура, духовные прозрения и политическая конъюнктура – все равноправно в этом цитатнике разночинца. И каждый, кто хоть что-то хоть раз сказал, имеет право на место в фантастическом сборище оракулов: от царевича Гаутамы до Зои Космодемьянской.

Все это очень напоминает сборники афоризмов и «мудрых мыслей», бывших очень в ходу во времена юности Венедикта, особенно в провинции. Их было множество, этих пособий по ликбезу. Я помню полочку в сельской библиотеке с картонной закладкой. На закладке разноцветной вязью было выведено – «Мудрые мысли».

Полагаю, и Венедикт в свое время усердно изучал эти сборники, недаром у него такая обширная коллекция высказываний и афоризмов на все случаи жизни. Книжки имели разделы: «О любви», «О труде», «О смысле жизни» и т.д. Но главное, они формировали мировоззрение, в котором все явления жизни были систематизированы, и на каждый случай предлагался свой совет и рецепт. И хотя в числе мыслителей соседствовали Мао Цзе Дун и Монтень, Горький и Гете, в книжечках этих утверждалось «разумное, доброе, вечное», в них был не всегда внятный, но явственный пафос.

«Веничка» и другие герои Ерофеева, несчастные и искалеченные, неизменно патетичны. Можно сказать, что их трагедия, шутство и юродство вызваны полным несоответствием реальности и «мудрых мыслей», с которыми они вышли в путь. Да и наше собственное существование проходило под этим знаком. Жизнь обнаружила склонность к циническому юмору, нескончаемым парадоксам, все казалось взаимозаменяемым и совместимым, никакие усвоенные нами «мудрые мысли» о долге, чести, достоинстве, вроде бы, не работали, мало что с ними совпадало. И, подобно героям Венедикта, да и самому автору, можно было лишь развести руками: «Ну, бля...», – озирая это фантастическое безобразие.

плакатный комсомолец. Он курил возле мусорного ведра и кисло рассматривал нас сверху.

А в квартире были оживление, шум. Полтора десятка людей обсуждали петицию, составленную горбуном. Он оказался большим законником и на все возражения отвечал ссылками на статьи уголовного кодекса. Самым резким его оппонентом был художник, требовавший резать правду-матку без всяких экивоков и сослагательных наклонений. Он нервничал, грубил, но глаза его смотрели уже как бы издалека. Венедикт ему поддакивал, поддерживал, даже предлагал усугубить – и в его редакции выходило так смешно и нелепо, что все рассмеялись, а художник обиделся (очень скоро он уехал на Запад).

Спор разгорелся, когда стали прикидывать, кому из именитых деятелей культуры предложить подписаться под петицией. «Этот струсит подписать... А этот струсит не подписать, у него репутация либерала...» Я десятки раз присутствовала при таких разговорах и прикидках – и всегда испытывала неловкость. Венедикт предлагает дать на подпись писателю Федину. Предложение отвергнуто, и мы уходим.

На улице он сказал: «Представляешь, вот они придут к власти и будут распоряжаться всем, в частности твоей судьбой. Как тебе такой вариант?» Представить себе такое было совершенно невысказано, власть была прочна, как надгробье. «Нет, ну почему, вот такие новые большевики...»

– Не очень, Венедикт, мне такой вариант, не очень...

Когда писатель писать перестает, подступает смерть. «Обстоятельства» смерти могут быть разными – постепенное угасание, тяжелая болезнь, убийство, самоубийство – примеры хрестоматийны. Но основа ее – отсутствие воздуха, меркнувший мир, удушье – очень точно названы Блоком.

Венедикт не писал или писал очень мало – годами. Его творческая немота реализовалась в самой буквальной и жесткой форме – рак горла и операция, во время которой были перерезаны голосовые связки, обернулись немотой. Спустя какое-то время у него появился аппаратик: Венедикт прижимал его к горлу, и из этой машинки звучал голос. Звук был жестяной, страшный, голос этот не походил на его собственный, исчезли интонации, характерные паузы. И я почти забыла, как звучал голос Венедикта, – задолго до его смерти.

Ореол его славы постепенно меркнул. Кажется, к восьмидесятым годам распался и кружок старинных друзей и поклонников. От одного из них я впервые услышала о пьесе «Шаги командора», он отозвался о ней довольно сдержанно, сказал, что напоминает

Июльская жара. Мы с Венедиктом сидим у детской площадки в арбатском дворе. Дом, возле которого мы ждем, обшарпанный, убогий, это «кооперативный дом» конца двадцатых годов. Я знаю поблизости еще один похожий – дом «старых большевиков», где живет моя добрая знакомая Ада Лазо. Эти невзрачные «новоделы» недавней поры обросли зловещими легендами не меньше, чем какие-нибудь замки за несколько столетий: жильцы их стрелялись в подъездах, выбрасывались из окон, отбывали в черных «воронках» – без возврата. Отчим моей приятельницы, известной командарм, застрелился на площадке возле своей двери: «вот здесь», – кивает она туда, где помойный бачок.

И дом, возле которого мы сидим, безусловно, может похвалиться столь же ярким прошлым. Сейчас он словно замер, во дворе только мы с Венедиктом да молодой человек, сошедший прямо с комсомольского плаката. В такую жару он, в костюме и галстуке, мается, сидя на соседней скамейке.

В одной из квартир этого дома сейчас будет собрание, предстоит составить открытое письмо о положении культуры в СССР. Молодой человек здесь явно по долгу службы, а Венедикт должен взять у приятеля, который придет туда, свою книжку. И мы делаем вид, что не замечаем служивого. Вот потихоньку начинают сходитьсь «диссиденты». Здесь, в безлюдье, особенно заметно, как их легко отличить по виду, этих молодых людей. По небрежности одежды, броской, с плеча заезжего иностранца, или очень бедной, по длинным волосам. Они вопиюще слабы и неспортивны по сравнению с молодцем на соседней лавочке. Каждому понятно, чего он тут загорает. Кто-то заметил его и ускорил шаг, кто-то, наоборот, идет особенно небрежно, разглядывая номера квартир над подъездами, рассеянно озираясь. Это маленький театр, и Венедикт наблюдает с интересом. Меня больше всего поразил горбун лет тридцати, широкоплечий, почти квадратный, с невероятной шевелюрой. Попав во двор, он сделал несколько шагов, повернулся, разлетелся к детской площадке и в упор уставился на нас и комсомольца. Так, наверное, глядел из своей клетки схваченный Емельян Пугачев. Он переводил взгляд с одной скамейки на другую, казалось, даже папочка у него под мышкой дрожит от возбуждения. Совершив этот акт гражданского мужества, он резко развернулся и пошел к подъезду. Я несколько опешила, Венедикт тихо рассмеялся и сказал: «Это просто страшно, до чего человеку хочется пострадать...» Наконец, появился тот, кого мы ожидали, и мы вместе поднялись вверх. На лестничной площадке выше нужной нам квартиры маялся еще один

вили на вокзал. Я не сразу пришла в себя после этой ночи, но больше таких приключений на мою долю, к счастью, не выпадало. И насчет этого Венедикт потом уверял, что половина мне примерещилась. «Да ничего такого там не было, ты, девка, придумываешь. Я их ругал? Да я их пачкотни и не читал никогда. А вообще-то, так им и надо...» – добавлял он весело.

Отголоски бурной жизни Венедикта доносились до меня не только в слухах. Однажды в Ленинграде неожиданно пришли двое, сказали, что по делу, с запиской от Венедикта. Записка была – только мой адрес и телефон и больше не слова. Почему же не позвонили? Ответили: нельзя, за нами следят. Один был маленький, с ухватками карманного воришки, второй – зловещего вида мужчина с ассирийской бородой, в сапогах и с четками. Говорил маленький – представил второго как лидера мусульманского движения (имени не назвал – для конспирации), попросил меня связать его с мусульманскими активистами в Ленинграде, дать материалы для журнала и вообще внести свой вклад в дело мусульманского движения. Черный сидел истуканом, перебирал четки, от еды отказался знаками и по-русски, видимо, не понимал. Иногда он согласно рычал, и мне чудилось, что у него нож за голенищем. Маленький все упоминал Венедикта и ссылался на него не реже, чем на Аллаха. При этом он пошучивал и повторял, что они к нам надолго и надо свести их со всеми писателями, сочувствующими мусульманскому движению.

Я была в ужасе. Венедикт спятил, если прислал их ко мне, – все это отдавало провокацией, уголовщиной, невесть чем. Спроварила их, пообещав передать тексты через Венедикта. В дверях черный вдруг без всякого акцента сказал, что со мной «будут держать связь» и «скоро придут люди». Я позвонила в Москву. Прямо говорить было нельзя, и Венедикт долго не мог понять, о чем я толкую. Потом сообразил, выругался и посоветовал гнать их в шею. «А ты видел, какая шея у этого ассирийского быка?» Но важно было, что он знал, о ком речь. Как к ним попал мой адрес, догадаться было нетрудно. По счастью, больше борцы за мусульманское дело не появились.

Летом, когда я была в Москве, у меня на улице сломался каблук. Доковыляла до сапожной будки, подала туфель сапожнику. Мы взглянули друг на друга – и не знаю, кто растерялся больше. В будке сидел мусульманский лидер – в фартуке, с кривым сапожным ножом... Первые несколько шагов я бежала в одной туфле, потом на ходу надела вторую. Каблук словно прирос к подошве, я его не чувствовала.

В углу у двери я видела мальчика, сына хозяина, он спал на ворохе одежды, сложенной гостями, спал, несмотря на шум. Его мать сидела у печки и смотрела в огонь. В какой-то момент хозяин стал уверять нас с Венедиктом, что эта женщина, его жена, за него любому горло перегрызет. Было неясно, к чему он клонит, но я поглядела на нее с любопытством: она по-прежнему не отрывала взгляда от огня, ни во что не вмешивалась, будто не слышала.

Глубокой ночью собрались к художнику, живущему по соседству: Венедикт уезжал в Москву ранним поездом, надо было скоротать несколько часов. Гости стали разбирать свои пальто, мальчик молча встал, оделся и вышел первым. Венедикт поднялся с трудом, его как бы не замечали. Мы с ним спускались по лестнице, из квартиры неслись возмущенные голоса.

После прокуренной комнаты замечательно дышалось на морозе. Венедикт был, кажется, несколько смущен, шел неуверенно, опираясь на мою руку. Не хотелось ни утешать, ни упрекать его – остались только сочувствие и жалость, какую испытываешь к другу, застигнутому приступом болезни. Так тихо было во дворе, чистый снег выпал, и мы стояли, прислушиваясь к равномерно повторяющемуся сухому шуршащему звуку. На горке катался мальчик – молча, с каким-то ровным автоматизмом, вверх-вниз. Лед шуршал под его сапогами. Глядя на него, вынырывающего на вершине горки, я подумала о своем сыне, который давно спал, даже не подозревая о таких печальных развлечениях.

Венедикт легко шагал по улице, он даже развеселился, а я, цепляясь за его рукав, скользила по ледяным дорожкам на тротуаре. Предводительствовал мальчик, а позади шли писатели – бородатые, мрачные, обиженные. Через несколько минут мы оказались в комнате, узкой, как щель. Большую часть ее занимал станок для печатания гравюр, а вокруг сидели люди, поджидавшие Венедикта. Они были такие важные и благодетельные, а Венедикт с таким оживлением поглядывал на них и на батарею бутылок на печатном станке, что я поняла – начинается второй раунд. Писатели, втиснувшиеся в комнату, ожидали того же с явным злорадством. Но скандала не вышло – после первого стакана Венедикт положил голову на печатный станок и заснул. Лучше всех повел себя мальчик – он сразу примостился у окна, накрылся своим пальтишком и тоже уснул. Мы до рассвета просидели в этой комнате, гости вяло шелестели о преимуществах ленинградской школы литературы перед московской. Слабость московской школы в образе поверженного Венедикта была налицо. Утром его доста-

Я любила бывать в доме на Флотской. Случалось это нечасто, но такие дни были самыми спокойными и теплыми, какие выдавались мне в Москве. Иногда там появлялись гости, но ничего похожего на загулы мифического Венички не случалось. Мне повезло – я почти не видела его в этом состоянии. Иногда при упоминании имени Венедикта я видела усмешки знакомых; временами кто-то из общих друзей рассказывал удивительные истории, героем которых был Венедикт. Вернее, сам он обычно в них бездействовал: не дрался, не буянил, зато приятели его вели себя, как бесенята из сказок. Правда, безобразничали они в угоду ему и при снисходительном его попустительстве. Мне казалось, что все эти рассказы по большей части выдуманы и имеют отношение к герою «Москвы – Петушков», а не к Венедикту, которого я знала и очень любила. Наверное, я выглядела смешно, когда в праведном гневном опровергала слухи, доказывая, что он совсем не такой... Но, повторяю, об этой стороне его жизни я долгое время знала лишь понаслышке, да и позже сталкивалась с нею редко.

Однажды он приехал в Ленинград. Занесло его в наши края случайно, непонятно зачем. Он позвонил мне в первый день, но уже тогда не мог толком объяснить, где остановился и что собирается делать. На следующий вечер я нашла его у полужнакомых людей, где его, бесчувственно пьяного, «забыли» какие-то приятели. Все это было похоже на дурной сон. Венедикт лежал на грязной постели, кроме кровати, другой мебели в комнате не было. На полу сидели хозяин-литератор и его друзья, собравшиеся по случаю прибытия знаменитого гостя. Этих людей я знала: они объявляли себя авангардистами, модернистами, авангардом модернизма и т.д., часто проявляя больше предприимчивости, чем таланта. Для них Венедикт был притягателен: ведь он, по общему признанию, был модернистом и, безусловно, знаменитостью. И сейчас он лежал здесь, на грязном тряпье, и поносил их сочинения последними словами.

В комнате было почти темно, топилась печь-голландка, на полу на газете расставлены бутылки и еда. Гости с каждым стаканом переходили от приниженности к наглости. В пьяной речи Венедикта, которую он произносил, спотыкаясь и уставясь в потолок, было много справедливого, и это, вместе со сбивчивой бранью, звучало особенно оскорбительно. Сначала писатели пытались объясниться, потом стали отругиваться. Хозяин приподымался с грязного пола, восклицая, что «он не позволит в своем доме...» Венедикт распялся все больше – казалось, тяжелому безобразию этой сцены не будет конца. Я не решалась уйти, оставить его одного.

квартиру я пойду. Тут кто-то вошел, и вахтер доверил ему сопровождать меня. Человек рассмеялся и сказал: «Ладно, поехали». Его лицо было словно знакомым, но я не могла вспомнить, откуда. Он вышел со мной из лифта, позвонил в дверь и спросил у Венедикта: «Гостей ждете?» Оказалось, он из соседней квартиры, а похож был на телегероев из сериалов о следователях и разведчиках. По утрам такие подтянутые супермены выбегали на разминку, потом садились в машины и уезжали на службу. Вахтер встречал их сладкой собачьей улыбкой, при виде же Венедикта и его гостей – суровел. Мы несколько раз сталкивались в подъезде – супермены после пробежки и Венедикт с бидоном пива. Они взбегали по лестнице, а мы ждали лифта, и я чувствовала холодок в затылке от взгляда вахтера.

Венедикт относился ко всему этому безмятежно, был доволен чистотой и чинностью дома, а на консьержа обращал внимания не больше, чем на сторожевого пса.

После многолетней неустроенности, скитаний он был рад тому, что есть своя квартира и кабинет, собирал библиотеку. Но главная мечта была – купить дом где-нибудь в Подмоскowie. Об этом он говорил, когда появлялись деньги и когда их не было, описывал прелести сельской жизни и заранее звал в гости. Мы не раз толковали, как я приеду пожить в тишине, буду варить кашу, а он огородничать, гнать самогонку... Каша неизменно включалась в картину идиллии и была наиболее осуществимой ее частью. Однажды я несколько дней прожила в гостях на Флотской. По утрам Венедикт будил меня сообщением, что каша готова. Варил он ее помногу, все подкладывал в тарелку и деспотически требовал достать до конца. В качестве стимула на стол выставлялся бидончик пива. К этому времени пить ему было категорически запрещено, и он объяснял Гале, что это – для гостей. В первый раз я решила пожертвовать своим здоровьем ради его и постаралась выпить побольше. Венедикт отнесся к этому с одобрением, допил остальное – и отправился с бидоном покупать еще.

Больше я уже не пыталась сохранять его здоровье таким образом.

А жить в собственном доме в Подмоскowie – была ему не судьба. История с покупкой затянулась на несколько лет и принесла им с Галей немало мучений. Однажды они как будто нашли дом и даже деньги наперед заплатили – но их обманули, не вернули задатка. Венедикт тяжело переживал эти неудачи. Похоже, что единственное место, где он мог устроить огуречную грядку, был балкон дома академии МВД, в котором он жил.

нему на работу. И Галя, и Венедикт подробно объяснили, как его найти. И вот летним утром я отправилась в путь. Доехала до окраины, до проспекта, уходящего за горизонт. Жилые дома кончились, на другой стороне было кладбище, а на моей – бесконечный бетонный забор. Пройдя мимо него с полкилометра, я засомневалась: судя по кладбищу и забору, я шла правильно – мои друзья работали именно в таких таинственных местах. Но что-то слишком много колючей проволоки, прожекторов и телекамер было на этой ограде. И нигде не было видно входа. Несколько приуныв, я тащилась мимо забора. Проволока наверху гудела под током. Вдруг впереди открылись ворота, и пока я бежала к ним, оттуда выехал бронетранспортер. Бронетранспортер в те времена, среди бела дня на московской улице – такого не могло быть даже там, где работали мои друзья.

Часовой объяснил, что нужный мне дом – следующий, а не этот, за забором, потому что этот – без номера. Когда я, наконец, отыскала его, Венедикт поджидал на улице. И я еще раз подивилась странности нашей жизни. Среди послевоенных бараков-развалюх, где вход в квартиры прямо с улицы, а окна в полуметре от земли, стоял огромный высотный дом с пандусами, подземным гаражом, какими-то стеклянными галереями. Венедикт служил в этом доме консьержем. В его дежурке на столе лежали словари и пухлый немецкий том. Он в это время занимался немецким. Проходившие мимо жильцы поглядывали на него с уважением и интересом. Они сновали мимо его комнатки, выводили здоровенных собак, оставляли записки. Они были бодры и подчеркнута доброжелательны. Худоба и высокий рост Венедикта особенно бросались в глаза рядом с этими солидными людьми. Я обратила внимание на то, что большинство из них были ниже среднего роста. Венедикт сказал, что ничего странного нет, – в этом доме живут космонавты.

Странного, парадоксального в его житейских обстоятельствах было немало. Я не раз замечала, что с писателями происходят удивительные вещи, словно они сами – герои талантливого, тщательно продуманного сюжета. По иронии судьбы дом, где жили Венедикт и Галя, тоже был чиновный, ведомственный, чуть ли не от академии МВД. После многолетних своих мытарств Венедикт был счастлив. Он уверял, что устроит на балконе грядку и станет разводить огурцы, хорошо бы – сразу соленые.

Приехав к ним на Флотскую в первый раз, я подивилась – куда занесло Венедикта? В вестибюле под портретом Ленина сидел дежурный, по виду отставник. Он спросил, к кому я, и велел подождать, пока он подыметесь со мной на лифте и проследит, в ту ли

Венедикт не вписывался в устоявшийся литературный контекст, не примыкал всерьез ни к какой группе, держался особняком. А поскольку он годами не писал и жил довольно замкнуто, то со временем стал личностью почти легендарной, с репутацией человека замечательно талантливого, но законченного алкоголика. Как-то молодой ленинградский прозаик долго расспрашивал меня о Венедикте, а под конец, зная, что Венедикт безнадежно болел, сказал: «Что ж, он свое сделал, получил, пора дать дорогу другим...» В московских богемных кружках в таких случаях говорили: «Пора снять с пробега». Эта ипподромная мораль была в ходу. Все общество, в том числе и «параллельная культура» андеграунда, были поражены общими болезнями. Только в ней лихорадочно стремились не к орденам, а к публикациям на Западе или хотя бы упоминанию там. В этом был свой резон – с таким человеком КГБ и прочие инстанции обращались куда деликатнее. Но не в этом даже было дело – как всякая страсть, она была иррациональна. Мы жили вне реальности или в каком-то особом мире: казалось, если ты упомянут «там» – только тогда ты наверняка существуешь.

Сейчас эти книги вернулись в Россию – книги прекрасные и книги, которые уже невозможно перечитывать. И все же роман «Москва – Петушки» стоит среди них особняком. И не потому, что он лучше всех остальных – просто Венедикт рассказал о том, о чем мог рассказать только он.

Как и все мои друзья, Венедикт был беден. Несколько раз у него случались деньги – гонорары с Запада, но они не задерживались. И ему приходилось работать.

Что за работы были у моих друзей! Кочегары, сторожа лодочных баз, церквей, кладбищ, автостоянок, вахтеры, вохровцы, шабашники и еще невесть кто! В солидные конторы их не брали даже в сторожа, и места их службы располагались там, где кончались город, людные улицы, милиционеры и автобусы. Сколько раз, обмирая от страха, я спешила мимо канав и угольных куч на работу к кому-нибудь из друзей! Единственным напоминанием о цивилизации в таких местах были мусорные баки, забытые на бескрайних пустырях, со всякой дрянью, свисавшей через края.

Венедиктовы места работы тоже были экзотические. Я запомнила название одной из них – пропитчик. Об этой и других работах я знаю только понаслышке, но один эпизод из трудовой биографии Венедикта мне запомнился. Я приехала в Москву на день, Венедикт был на дежурстве, и мы условились, что я найду к

то академических дачах. Он с восхищением разночинца говорил о структуралистах, которые были тогда в зените славы. Мы вместе слушали доклады нескольких знаменитостей, и мне все это показалось каким-то интеллектуальным Зазеркальем. Там было больше эрудиции, чем основательности, а блеск и остроумие аргументов ценились выше, чем их доказательность. Когда я сказал об этом Венедикту, он изумился и рассердился. На редкость свободный и самостоятельный, здесь он робел и почти безоговорочно принимал мнения и авторитеты, установленные в «узких кругах». Возможно, в этом сказывался комплекс «самоучки»? Недаром в его автобиографических интервью столько места занимает рассказ, как его исключили из МГУ, а потом из Владимирского пединститута, хотя был он отличником и стипендию особую получал... О том, как он жил несколько десятилетий после этого, он говорил куда меньше.

К ученым, к основательности академических знаний, к авторитетам Венедикт относился с почтением. Но к собратьям по литературе – как правило, отчужденно и без особого интереса. Хуже того, он не церемонился в суждениях и высказывал свои оценки с пролетарской прямоотой. При всей грубости его определения бывали очень точными и смешными. А жизнь, постоянное государственное давление заставляли писателей поневоле держаться вместе. Каких разных людей сводила в один круг неутомимая травля! – в нормальных обстоятельствах им никогда бы не договориться. Так и случилось – при первых послаблениях «перестройки» эти круги и кружки распались, участники их вдруг оказывались во враждебных лагерях. Но в 70-е годы они еще жили сплоченно и семейственно, держали круговую оборону, имели свою иерархию. Беда только в том, что, как и в казенной советской литературе, в иерархии этой было немало «мнимых величин». Если карьера советского писателя определялась количеством премий, то в «параллельной культуре» – степенью известности на Западе. Но субординацию по отношению к знаменитости требовалось соблюдать не меньшую, чем в Союзе советских писателей.

Однажды, когда я навестила Венедикта, он собирався в гости к одному из таких признанных «тамиздатских» авторов. Звал и меня и дал прочесть последнее его сочинение. Книга мне не понравилась, и я отказалась ехать. Венедикт выслушал мои соображения и сказал: «Нет, Игнатова, тебе обязательно надо поехать. Ты ему прямо так все и выложишь, а я добавлю. Мне есть что добавить...» И он поглядел очень многозначительно и важно. В гости мы, конечно, не поехали, но, кажется, Венедикт все-таки довел до сведения автора свое мнение о книге. И такое бывало не раз.

Как-то Венедикт подарил мне машинописную копию «Розанова» и еще несколько страниц – фрагмент прозы, которая никогда не была закончена. Обрывалась она неожиданно, чуть ли не на середине страницы, и было ясно, почему он ее забросил. Это был монолог алкаша, написанный замечательно – и казавшийся цитатой или повтором «Москвы – Петушков». Поэма Венедикта – одна из тех цельных, на едином дыхании написанных книг, которые не предполагают продолжения. Как и другая великая и горестная русская поэма – «Мертвые души».

Он искал выход из заколдованного круга «Петушков» в других жанрах: эссе, пьесе, коллаже «Моей маленькой ленинианы». Вероятно, ему недоставало самоуверенности, уверенности в своей гениальности, а значит, в праве на ошибку, неудачу, повтор. «Писать после «Петушков» было психологически трудно, я боялся повтора...» Слава в «узких кругах», пришедшая сразу, при невозможности нормальной литературной судьбы сыграла Венедикту дурную службу. Я знаю писателей, куда менее одаренных, чем он, но с неколебимым убеждением в своей гениальности. Благодаря этому они не только реализовали свой дар, но и «приумножили» его; случалось, за счет упорства и равнодушия к чужим оценкам человек со временем превосходил все ожидания своих первых читателей. Даже среди московской богемы жизнь и окружение Венедикта поражали воображение. Провинция, куда сильнее забитая и запуганная, глядела на столичные вольности с завистью. Московская писательская жизнь казалась со стороны чем-то вроде безнадежно затянувшегося празднования, где с перепою ссорились и, случалось, морды били, и вполне можно было ожидать любой гадости и скандала – и все же все сидели за общим столом и состояли в некотором родстве. Многие «левые» нашего поколения фрондировали, рисковали, но при этом где-то служили, зарабатывали, а иногда и умудрялись делать карьеру. До «полной гибели всерьез» дело доходило нечасто.

Надо отдать должное, Венедикту не раз старались помочь, уладить его катастрофические бытовые обстоятельства (без жилья, без работы, почти всегда без денег). Он был незащищен и постоянно виноват перед властью: принадлежал к категории, близкой к «тунеядцам», почти не зарабатывал, часто терял документы, а с военным билетом дело принимало угрожающий оборот. У него были проблемы с пропиской, а тут и влиятельные друзья не могли помочь.

Влиятельные друзья у него были. Венедикт дорожил своим признанием в элитарных «узких кругах», с удовольствием называл имена ученых, которые ценили его; временами жил на каких-

Так и случилось. Второй «личный момент» автобиографии – ответ, что написано, кроме «Москвы – Петушков», и отчего так мало? В его рассказе о судьбе рукописей сплетены легенда о «Веничке» и реальная судьба писателя Венедикта Ерофеева. История с пропажей рукописи в сетке с бормотухой – новелла в стиле «Москвы – Петушков». И не раз потом отзывалось среди поклонников ее эхо: «Написал потрясающую вещь – и надо же, опять потерял!.. в автобусе, трамвае, поезде...» И не раз знакомые говорили, что Венедикт пишет, и даже сюжеты и название сообщали. Сюжеты и названия были интригующие, необычные – но потом слух затихал. Думаю, что сведения эти исходили от самого Венедикта и были какой ни есть защитой от назойливости поклонников. Я никогда таких вопросов не задавала, зная, как тяжело на них отвечать, когда не пишется.

Из интервью в «Континенте»:

Вопрос: Между «Розановым» и «Вальпургиевой ночью» 13 лет. Что-то было в этом промежутке?

Венедикт: Какое кому собачье дело? Кому какое идиотское собачье дело, было чего-нибудь или не было? Это – вторгаться в интимные отношения...

Это – предсмертное интервью, когда уже нет сил и желания что-то растолковывать, умалчивать, объяснять.

А между тем, до этого он не раз говорил о причине своего молчания, во всяком случае, об одной из главных психологических причин. Года за два до смерти Венедикта советская журналистика, вдоволь накричавшись о «Детях Арбата» и прочих шедеврах, вспомнила и о других книгах и авторах. Тогда началось паломничество и к Венедикту. Я знаю, что он был рад этому – как и тому, что «Петушки» напечатаны в Москве и готовится спектакль. В интервью того времени, предназначенных для читателей в России, он говорил, в частности, и о том, почему так надолго замолчал после «Москвы – Петушков».

Вот интервью в журнале «Театр» (№ 4, 1989 г.):

«Рукописи «Петушков» разошлись мгновенно, и я стал известен, правда, в очень узких кругах, а говорили в узких кругах разное: одни – «самое свежее слово в русской литературе», другие – «безобразие»... А писать после «Петушков» было психологически трудно, я боялся повтора... «Шостаковича» (роман, рукопись которого была потеряна. – Е.И.) я пытался восстановить, но не сумел... Но известность росла, а писать новую вещь стало как-то неудобно, да и рукописи пропадали, а с «Шостаковичем» пропали записные книжки...»

У него было несколько «образов», несколько легенд, и он редко давал себе труд свести их воедино. Был литературный герой «Венничка», которого часто путали с автором. Этого Венедикт не любил и позволял панибратство только старым друзьям (многие из них упомянуты в «Москве – Петушках»). Для журналистов и западных славистов предназначалось биографическое клише с четко расставленными социальными акцентами: бегство родителей из голодного Поволжья, репрессированный отец, исключение из университета за бунт против военной кафедры, «университеты» рабочего-лимитчика, надзор и преследования КГБ и т.д. Эта биография жестко связана с общей советской «биографией» народа, она типична – и вполне анонимна. И когда в воспоминаниях одного из друзей Венедикта я прочла, что из университета он был исключен не происками военной кафедры, а за то, что не хотел сдавать сессию, я, честно говоря, не удивилась. Он ничего не приукрашивал, не лгал, – а просто выстроил себе «каноническую» биографию писателя по принятым в то время образцам. Большая часть личных, литературных и просто бытовых обстоятельств – то, что, собственно, и составляет человеческую жизнь, в этот канон не включалась. Это одна из печальных особенностей нашей эпохи: мы большей частью анонимны, мы голоса из хора, тянувшего одну и ту же мелодию – о государственной травле, допросах в КГБ и т.д. Это, действительно, составляло если не самую большую, то одну из главных тем наших жизней. Об этом мы рассказывали друг другу при встречах, давали интервью, писали. И постепенно плановые мероприятия «органов», «первых отделов» и отделов кадров становились важнейшими этапами, болевыми точками наших биографий. Вопросам и действиям капитанов Иванова, Петрова и Сидорова в них отводится больше места, чем «творческим поискам», внутренней жизни художника.

Из немногочисленных интервью Венедикта о личности одного из самых замечательных писателей современной России Венедикта Ерофеева узнаешь очень мало. Он не отступает от шаблона: разницы между интервью 1989 года в журнале «Театр» и последним, в «Континенте» 1991 года, почти нет. Из немногочисленного, что входило в эти рассказы, была история с отцом, которая мучила Венедикта. Когда ему, отличнику, вручали на выпускном вечере медаль, его отца, известного всему городу пьяницу, в школу не пустили. И отличник был рад, что вторжение неблагообразного родителя не испортило торжество.

Как-то мы с Венедиктом говорили о его сыне, тоже Венедикте и отличнике, и он вспомнил эту историю. Сказал, что отец умер, не дожив до пятидесяти, и он сам едва ли протянет намного дольше.

Венедикт позвонил к вечеру, договорились встретиться где-то у метро. Не зная Москвы, не умея толком разобраться в схеме ее подземки, я сломя голову бросилась на свидание. Мой гостеприимный приятель несколько оторопел, увидев лихорадочные сборы, и проворчал насчет «барышень, которые страсть как любят писателей». Венедикт стоял на улице возле метро среди таких же замёрзших унылых ожидающих. У кого-то в руках были цветы в ледяном целлофане, у Венедикта – авоська с бутылкой. Видимо, я разлетелась слишком сгоряча, слишком сияя от радости, потому что Венедикт с некоторым изумлением сказал, что он, собственно, просто хочет пригласить меня в гости к поэту Лёну. Но как я была счастлива и горда, проходя мимо принаряженных людей с гвоздиками в целлофановых кулках с Венедиктом, – продрогшим, прекрасным, беспечальным, помахивающим сеткой с бутылкой бормотухи!

Меньше всего Венедикт был склонен к открытости, разговорам о своей жизни. Он насмешливо и грубо оборонялся от попыток вызвать его на откровенность, выяснить взгляды, позицию и прочее. Так же по большей части он избегал этических суждений и оценок в отношениях со своим окружением. Шло это не от чрезмерного добродушия или снисходительности (он был человеком достаточно жестким и обидчивым), а, пожалуй, от нежелания ставить свою жизнь в зависимость от заданных норм, пусть самых почтенных. Сам Венедикт был человеком нравственным, но о других судил не по этим критериям и иногда с удовольствием рассказывал о коленцах, которые выкидывали приятели.

Тут мы с ним редко соглашались и, прерывая гневные филиппики, он примирительно говорил: «Ну, расходилась, уймись, девка. Лучше пей-ка свое пиво...» – или что-нибудь столь же убедительное. Но спустя какое-то время обычно сам заговаривал об этом и либо находил убедительные оправдания, либо соглашался со мной. Теперь я думаю, что требовала от него бессмысленно многого: его жизнь была куда трудней моей – и в ней не было места морализаторству. Она соединяла в себе такие «далековатые» друг от друга сферы и людей, что и представить себе трудно. Иногда случалось, что люди из этих разных сфер встречались у Венедикта – и смотрели друг на друга с глубоким изумлением. В таких случаях Венедикт мудро пускал дело на самотек, предоставляя им общаться, как знают, и вмешиваясь, лишь если дело доходило до прямого скандала.

В первую встречу мы проговорили очень долго и, пожалуй, меньше всего о литературе. Честно говоря, тогда он показался мне интереснее и ближе, чем его книга. Я по-настоящему оценила «Москву – Петушки» гораздо позже. Тогда же она затерялась для меня в ворохе «самиздата». Это было варварское чтение: как правило, книга доставалась на день, хорошо, если на два, прочитывалась залпом. Не чтение, а, скорее, «ознакомление», и важнее было не качество литературы, а – «про что». Так же наспех, вприкидку, подбиралось и определение – «авангардист», «модернист»...

Трудно придумать для писателя аудиторию и ситуацию хуже. Единственное, что может хоть как-то оправдать нас, верхоглядов поневоле, – то, что для большинства авторов самиздата тоже было важнее не «как», а «про что» писать. Самиздат представлял собой в аварийном порядке созданную культуру, где было все: информация, публицистика, история, «творчество наших читателей», религиозные труды... – в общем, почти все составляющие нормально развивающейся культуры. Другое дело, что существовал самиздат в совершенно ненормальной, уродливой системе общественной жизни – и это во многом определяло его уровень. Большинство из того, что тогда читалось взахлеб, сейчас перечитывать невозможно.

И роман Венедикта, попавший в руки на несколько часов, с затертой машинописной печатью и множеством опечаток, я тоже толком не прочла, а, так сказать, ознакомилась с тем, «про что» там написано. Поэтому при знакомстве с автором благоразумно помалкивала.

Утром Венедикт распрощался, и я смотрела из окна, как он бежит по морозу в воробьином своем пальто, без шапки, оскальзываясь на ледяной тропе. Наконец он затерялся в веренице таких же воробьиных фигурок, высыпавших из блочных домов-башен, – в город на первых автобусах ехали работяги.

Когда Венедикт уходил, я испугалась, что мы снова потеряемся, не увидимся долго, и это чувство родства, общности, возникшее так неожиданно и счастливо, забудется. Именно из робости, неуверенности в себе я не заговорила о том, как нам увидеться, где его найти. Полдня бродила по квартире, как отравленная, мучаясь от своей глупости и мысли, что уж ничего не исправить. «Человек без адреса», – сказал о Венедикте мой хозяин. Кто не знает, как часто душевные беседы за полночь, столь любимые в России, рассеиваются и забываются напрочь. Все это я твердила себе, но легче не становилось.

мне не по душе. Не раз, сидя на собрании в какой-нибудь квартире, слушая декларации и петиции, споры хитроумных тактиков, я думала: зачем я здесь? Мне неинтересно штурмовать Союз писателей, пробиваться в советскую литературу. Предыдущее поколение «шестидесятников» добивалось этого – и кануло там. Не дай нам Бог такой «удачи». Они правы, когда не принимают нас за своих и оттого не печатают, а мы лжем, что мы совсем как они, только иногда, по непонятному капризу, упоминаем слово «Бог».

Как ни странно, Венедикт был чуть ли не единственным собеседником, который был со мной согласен. И то, что он терпеливо слушал мои филиппики и снисходительно, как с очевидным, соглашался, меня поразило.

Тогда же, в первую встречу, выяснилось и некоторое сходство наших «родословных». Его родители и моя мама были родом из Поволжья, его отец и мой служили начальниками железнодорожных станций. Это был особый пристанционный мирок детства: с запахом мазута, бархотками на клумбе вокруг гипсового вождя, дрезинами и ни с чем не сравнимым стуком колес, под который так крепко спалось. Казалось, мы чудесным образом встретились – земляки из провинциальной, сельской России послевоенного времени.

В произвольном, с припоминанием случайных примет того мира, разговоре не было речи о том, как трудно приживаться (а, в общем, и не прижились) в мире, который нас окружал теперь. Жизнь далековато отнесла нас от трагической идиллии детства, но многое было усвоено там накрепко. То, что помню и люблю я, вызывало отклик и понимание у Венедикта.

И позже, много раз, когда мы говорили о доме, который он присмотрел в Подмосковье, о хуторе, купленном мной на Псковщине, эти разговоры доставляли нам особое удовольствие.

В том, как Венедикт держался, говорил, сидел, подперев ладонью щеку, даже закуривал, – была мужицкая, негородская манера. Легко можно было представить его деревенским философом, покуривающим, уже под хмельком, на лавке возле дома.

Впечатление это было, конечно, достаточно поверхностное и довольно скоро забывалось, но при встрече, когда мы долго не виделись, снова бросалось в глаза.

И в «Москве – Петушках» среди ужаса и уродства слободской российской жизни – всего страшнее столица: бетонный монолит с тоннелем, пробитым к вокзалу. Герой пытается выбраться из Москвы, но гибнет, отгороженный камнем от земли и от неба, на лестничной площадке многоэтажки.

прочел несколько поразительных рассказов. Жесткий колорит «Москвы – Петушков» по сравнению с ними казался почти пасторальным. Там был свальный грех дегенератов, ребенок с отрезанными руками и невеста что еще.

– Откуда вы берете сюжеты? – нелепо спросила я.

– Из газет, – кратко ответил прозаик и даже показал какие-то вырезки из «отдела происшествий».

Единственный, кто в этот вечер ничего не читал, был Венедикт. Он слушал внимательно, с усмешкой, отмалчивался, подливал водки. Часов в одиннадцать гости засобирались, засуетились: ехать из Чертанова – целое приключение. Один Венедикт словно не замечал общего бегства, ему спешить было некуда – в Москве у него не было жилья.

Шумное прощание, хозяин с Венедиктом устроились допивать, а я отправилась спать. Проснувшись под утро от хлопанья двери и шума на кухне. Хозяина сморило, Венедикт остался в одиночестве и слонялся по большой запущенной квартире в ожидании утра и первых автобусов. Мне знаком этот печальный момент, когда все разъезжаются, последние говоруны и хозяйева засыпают, и ты внезапно остаешься в одиночестве среди сора и грязной посуды, как в заброшенных декорациях.

Я вышла на кухню и увидела очень печального красивого человека, сидевшего пригорюнившись, подперев ладонью щеку. Снежный сумрак, сиротский пейзаж окраины, глухая обложная тишина в доме – все сошлось так, что мы разговорились и возникло спокойное доверие. Мы проговорили несколько часов – уже и автобусы пошли, и чай заваривался несколько раз, а Венедикт не спешил уходить.

Мало с кем из друзей-литераторов было так спокойно и интересно говорить, как с Венедиктом. Наши вкусы и оценки не всегда сходились, но он умел услышать чужое мнение и, хотя подтрунивал над моей категоричностью, это никогда не было обидно. В литературном быту Венедикт был из числа одиночек – не примыкал ни к какой «школе» или «направлению», его не заботили соображения групповой тактики. Попытки включить его в «общее дело» были заведомо безнадежны: он отлынивал, не соглашался или просто разругивался с остальными.

И я принадлежу к «единоличникам» в общественной жизни, всякие попытки включения в группировки неизменно заканчивались расхождениями и обидами. В те годы шло активное сплочение непризнанной, гонимой культуры (художников, писателей). Методы борьбы с нами были отнюдь не гуманитарными, но многое происходившее во «второй литературной действительности», было

И потом много лет мне казалось, что пальто это – пролетарское, подбитое ветром, с короткими рукавами – оставалось у него неизменным; в таких же – от первых холодов до раннего тепла – ходили по Москве мои друзья-поэты. Венедикт в любой компании выделялся высоким ростом, замечательной русой, с проседей, шевелюрой и этим пальто переростка. Появление новых гостей в застолье всегда немного театрально. Человек входит в возгласом изумления при виде общего сбора, ему отвечают радостными кликами. Он шумно усаживается, ему со всех сторон протягивают закуски, наливают стакан, он в центре внимания. Венедикт в больших компаниях держался скованно и несколько замкнуто, не стараясь привлекать к себе внимания, Он не терпел фамильярного обращения в стиле «Венички», но и к солидной манере в стиле «мы, мужики» относился иронически. Такой «мужик» тяжело подымался с места или тянулся через весь стол с рукопожатием, цедил суровое приветствие и, насупленный, усаживался вновь.

– А, – безмятежно откликнулся Венедикт, – и ты здесь, здорово! – но тон его был легковесен. Он был ироничен, насмешливо-зорок и совершенно несолиден.

Единственный ритуал при появлении в гостях он исполнял неизменно и со вкусом – «приношение даров». Со сдержанным торжеством вынимал из сетки или портфеля бутылки – и не сразу, но с некоторыми паузами, давая время нарадоваться и налюбоваться каждой. Если бутылка была одна, эффект не снижался: он ставил ее на стол королевским жестом – так в деревне среди тусклого самогона выставляют поллитровку «белой головки» из магазина.

Венедикт пьянел довольно быстро, но, не зная его, это трудно было заметить: разве что движения его, вообще неторопливые, становились еще замедленнее и осторожнее, да реплики более отрывистыми и ядовитыми. Но в вечер нашего знакомства он был благорасположен и говорлив, царственно оделял гостей водкой и выслушивал хвалы «Москве – Петушкам» и цитаты из них. Это было время славы Венедикта, он был окружен почтением и любовью.

Я спросила, можно ли смешивать коктейли по рецепту из «Петушков»? Он с комическим ужасом заклинал меня не делать этого (это же литература, художественный вымысел!), не сбивать смеси веточкой жимолости – но только сирени, в крайнем случае – бузины.

Посиделки были литературные, все, кроме Венедикта и тихого прозаика, похожего на счетовода, читали стихи. Затем прозаик достал из потертого портфеля папку и, вздыхая и помаргивая,

ВЕНЕДИКТ

Я живу в Иерусалиме - городе, где впервые были изданы «Москва – Петушки». Здесь странные дела со временем - оно неподвижно. Так, говорят, неподвижен воздух в сердцевине смерча. Из пестроты языка в первые дни мне перепало слово «карагиль»¹ – обломок древнего дерева. Тогда же я узнала о твоей смерти.

Дерево карагиль, не дающее тени, прибор мертвого времени. И неоставляющая боль оттого, что больше мы не встретимся, Венедикт...

Мы познакомились в 1973 году, зимой. Я приехала в Москву и остановилась на несколько дней в мастерской у моего друга, художника. Жил он на окраине, у черта на куличках, в Чертанове, однако гости в доме не переводились, и хозяин с законной гордостью говорил, что у него бывает «вся Москва». По утрам он будил меня стуком в дверь и громким пением: «Как прекрасен этот мир, посмотри...» В один из дней прекрасного мира здесь появился и Венедикт. Нагрянула очередная компания: румяный молодец в дубленке, барышня с повадками «роковой» и тихий, несколько старообразный человек, похожий на колхозного счетовода. Последним в коридоре топтался Венедикт - на две головы выше всех, без шапки, с сеткой бутылок в руке. Он дождался, пока остальные разденутся, бережно поставил сетку и скинул свое пальто поверх дубленки и шуб.

¹ Карагиль (иврит) – обычно.

тература печатная и благопристойная пыталась (не в первый и далеко не в последний раз) похоронить литературу непечатную, списочную и возмутительно живучую. Писалось так:

«Едва ли найдется в истории литературы пример такого полного падения, нравственного и литературного, какое представляет И.С.Барков, один из даровитейших современников Ломоносова... В них (его произведениях – И.Г.) нет ни художественных, ни философских претензий. Это просто кабацкое сквернословие, сплетенное в стихи: сквернословие для сквернословия. Это хвастовство цинизма своей грязью».

Вдруг подумал я, пока перепечатывал, что глупо полемизировать с этой ханжеской чушью, но пусть останется в статье, ибо забавно заметить, что и спустя сто лет не в силах были вдумчивые коллеги ни понять Баркова, ни обрести великодушия, пристойного потомкам. Так что на советскую цензуру пенять нечего (рад любой возможности защитить советскую власть от обвинений облыжных, сй сполна хватает справедливых).

А меж тем уволился от академической кормушки тридцатичетырехлетний переводчик Барков и на два года сгинул без следа. А те, кто два эти года составляли ему компанию, те не писали, повторяю, мемуары, да и не все из них, боюсь, писать умели.

А через два года умер, это известно с достоверностью. В очень достойном для художника возрасте умер, тут ему соседствуют и Рафаэль, и Пушкин с Моцартом, и Хлебников, и Байрон.

Рукописей не осталось, ни единой. Только списки, сделанные почитателями. И, по счастью, несколько из них до нас дошли. В них гениталии гуляют сами по себе, вступая то в беседы, то в дебаты. В них иная, нежели в научных трудах (и куда более правдоподобная), философия истории человечества – ибо ясно, от чего зависят все события на свете. В них гогочет, ржет и наслаждается человеческая неумная плоть, круто празднуя свое существование. И нескладный нашему уху стих восемнадцатого века слышится законсервированно, как фольклор, которому не нужно имя автора.

Тем более, что имя витает самостоятельно и не нуждается в сопутствующих текстах.

когда время от времени приходилось разыскивать служивого Баркова с помощью полиции, уже знавшей, где его искать. Да еще и переводчиком отменным был этот находчиво-дерзкий и загульный молодой человек, а работал с тем же азартом, что кутил. Можно с уверенностью утверждать, что полным-полно у него было друзей, а врагов – ничуть не меньше, ибо шутил наотмашь и без жалости, но был надежен, излучал тепло и обаяние. Только дружил он (к нашей и иных потомков жалости) с теми людьми, что мемуаров не оставляют. Все, кто писал о нем по свежим следам, воздавали ему должное и выражали сдержанное, чуть высокомерное сожаление о неверно избранной стезе. Вот Карамзин, к примеру: «У всякого свой талант. Барков родился, конечно, с дарованием, но должно заметить, что сей род остроумия не ведет к той славе, которая бывает целью и наградою истинного поэта».

Ах, как бывает иногда близоруко благонравие приличных классиков! Хорошо, что сидевший в Пушкине собственный бес (не случайно всю жизнь летала сюда десятая муза) по достоинству помог оценить забубенного покойного коллегу.

А Барков переводил и писал. Переводил, чтобы кормиться, а писал, чтобы жить и дышать. Он переводил сатиры Горация и басни Федре, нравоучительные (о благонравии!) двустиишия некоего Дионисия Катона, снабжал переводы тщательными комментариями, и литературно эти работы были на предельной для его времени высоте.

Разумеется, не обходилось без казусов, очень куражист был этот поэт на жалованьи. Сохранилась одна доподлинная (среди тьмы недостоверных) история, как получил он в Академии для перевода какую-то редкую старинного издания книгу и долго-долго не приносил ее обратно. А на вопрос начальства каждый раз преданно и честно отвечал на голубом глазу, что книжка неуклонно переводится. Когда терпение начальства лопнуло, Барков глумливо пояснил, что он не врал, и книжка переводится действительно: из кабака в кабак в качестве залога за выпитое. Более того, сказал Барков, – он даже заботился, чтоб она переводилась как можно быстрее.

А для души и для друзей писал Барков непрерывно. Оды и элегии, поэмы и басни, эпиграммы и притчи, загадки в стихах и мадригалы. Все это читалось, переписывалось, ходило по рукам, запоминалось, искажалось и цитировалось. Только о печати даже на заикался никто.

Спустя сто лет издали сборник переводов Баркова, и давно умершие эти тексты (вовсе другим уже был в России литературный язык) предварили предисловием-надгробием. Это ли-

ли отдельную. В восхищение пришли бывалые педагоги от его латинского языка и общей востроты, и был зачислен юноша Барков в университет. Ах, знал бы Ломоносов, какую он пригревает змею: столько неприлично низких пародий написал впоследствии Барков на высокие классические оды благодетеля, что уже без смеха было невозможно читать эти оды.

А впрочем, он учился хорошо, охотно и умело переводил древних авторов, отменно успевал по тем предметам, к коим ощущал душевную склонность, и вполне обещал вписаться в свой век Просвещения, и в парике напудренном его бы лицезрели равнодушные потомки на обложке нудного собрания сочинений.

Подводило только поведение, а точнее выразиться – благонравие. То есть тот таинственный и неясно очерченный, но весьма чувствительный предмет преткновения многих талантливых людей. Ибо гулял Барков, словно моряк на берегу или монах в коротком отпуске. Второе будет поточнее – он будто наверстывал годы, прожитые в строгой семье и постно-прекрасной духовной семинарии. Учинял он пьяные шумные кутежи, а на отеческое увещевание старших отвечал насмешливо и без тени почитания. По распоряжению ректора университета бывал наказан неоднократно (то есть попросту секли голубчика), а однажды, как ему показалось, наказали без вины, чего стерпеть никак было нельзя, это понятно. И понятно, что для храбрости он выпил и отправился бить морду не кому-нибудь, а ректору университета. И неважно ему было, грубияну, что не просто то был ректор, а большой ученый и географ Крашенинников, он же ботаник и неустрашимый путешественник, соратник Ломоносова по очищению русской науки от иностранцев (да, да, это давно в России началось, только тогда евреями были немцы).

Было наглому студенту девятнадцать лет, и лопнуло терпение наставников. После учинения публичной порки его почти что сдали в матросы, но уж очень был, видать, талантлив юноша – назначили ему такую кару: выгнали из университета и перевели на борщиком в академическую типографию... с правом посещать занятия французским, русским и немецким языком. Все-таки явно хорошими людьми были его учителя: ведь выгони его они на улицу тогда, по вовсе скользкой бы дороге он пошел и быстро погиб, жестокая была эпоха на дворе и климат жесткий.

А еще он проявил себя способным копиистом, что весьма ценилось в то время, и к работе этой его тоже привлекали. Переписывал он рукописи Ломоносова, перебелил старинные исторические тексты, и настолько в этом качестве ценим был, что начальство академической канцелярии только вздыхало тяжело.

вольного дыхания. Это муза духа, который веет, где хочет, и знать не знает (ему это неважно) – что можно, а что нельзя. Эта муза посещала очень многих (человечество давно живет на свете), но в сравнении с любой ее сестрой у нее ничтожно мало клиентов. И хотя полным-полно в духовной жизни человечества людей вольного по виду духа, но лишь десятая муза точно знает (жаль, не хочет рассказать), сколь недоброкачествен часто такой дух и насколько к вольному дыханию не имеет никакого отношения.

Хоть клиентов очень мало, проживает муза вольного дыхания безбедно, потому что – от сестер в отличие – ей без разницы, чем занят человек. Если Клио, например, возле историков пасется, Эрато и Эвтерпа предпочитают поэтов-песенников, наша муза и поэтов знавала, и философов, и математиков с физиками, и бродяг-скоморохов.

Интересно тут заметить невзначай, что о ней догадывался Осип Мандельштам. Ибо сказал он как-то, что стихи для него делятся на разрешенные и написанные без разрешения, и что первые – уничтожительное он тут что-то сказал, а вторые – краденый воздух. Тут он то же самое божественное чувство проявил, что десятой музе свойственно от матери-природы, только благодаря этому инстинкту она свою живительную пищу и находит.

Безусловно (своим темным и глубинным чувством гения), именно это Пушкин и ощутил – еще задолго до того, как стал Барков со своей низменной лирой высоким символом присутствия десятой музы. Бесплотным образом вольного дыхания стал поэт разгульной плоти. И в сознании прижился этот образ. Что в российской жизни не случайный парадокс, и только отвлекаться неохота.

Сейчас как раз Ивану Семсновичу Баркову исполнилось бы ровно двести шестьдесят лет – очень подходящий возраст для первой публикации своих стихов. Это случай необыкновенный даже для России, которая уж чего только ни делала со своими поэтами. (Хочу заметить, что поэзии, как таковой, это шло только на пользу).

Жизнь была прожита короткая, полная достоинства, удач и унижений. Он родился в 1732 году в семье священника, что предопределило его последующий ровный и безоблачный житейский путь. Поступил двенадцати лет от роду в Александро-Невскую духовную семинарию. Смутным недовольством и тоскливой скукой обуян, поплелся отрок в университет, своим призванием влекомый, а каким – он вовсе пока не знал. Уже экзамены закончились (лично Ломоносов отбирал способных учеников), но Барков просил, канючил и убеждал, и ему проверку знаний учини-

Пушкин. И еще он вот что сказал (ввиду ответственности момента процитирую точно): «Стихотворения его в ближайшем будущем получат огромное значение».

Как серьезно сказано – услышали? Теперь начнем совсем-совсем издалека. С мифологии древнеримских греков начнем, ибо гипотезу хочу я предложить – сугубо научную.

Конечно, музы есть и, несомненно, посещают смертных. Собственную музу видеть невозможно, ибо исчезает она в тот самый миг, что вспоминают о ее присутствии и намереваются разглядеть. Но чужую музу иногда подсмотреть можно. Боже, какая она обычно плохонькая и неказистая! А порой, наоборот – очень жирная, потная и совершенно не привлекательная. Музы ведь в равной степени посещают и способных, и бездарей. А от графоманов, к примеру, – вообще почти не отходят. И никакой в этом нет загадки: просто древние греки, первыми обнаружившие муз, впали в естественное для первооткрывателей заблуждение. Они вообразили, что музы покровительствуют различным искусствам и даже увенчивают удачников лаврами. Это вполне типичный пример мифа, благополучно сохранившегося во времени благодаря рассеянности нашего ума и поглощенности его другими заботами. Кроме того, лживые музы действительно время от времени подают художнику нужную краску, а поэтам – еле слышно подсказывают точное слово (а историку – бредовую идею, которая оказывается правдой), но вообще – ужасное суеверие полагать, что музы приносят и даруют вдохновение. Наоборот! – истые женщины, они сами питаются вдохновением и безошибочно мгновенно прилетают на его неощутимый смертным людям острый запах. Источник творческого духа – их любимая единственная пища, оттого-то они с равной охотой пасутся возле таланта и бездарности любой духовной масти, ибо этим несчастным одинаково свойственно вдохновение (резко различен только результат), и музы – постоянные клиенты тех и других. А что в знак признательности и приязни они могут порой принести незримый венок и возложить его на потное плешивое чело – так это просто стимуляция кормильца, и не надо в этом смысле заблуждаться.

Но не только в этом ошибались древние греки. А еще они досадно просчитались. Ибо муз не девять, а десять. Что десятую они проглядели, в этом нету ничего удивительного: слишком часто она пасется вместе с одной из девяти своих сестер, и трудно отделить их друг от друга нашему поверхностному взгляду.

Как назвать эту десятую сестру, оставленную греками без имени? Не посмею давать ей имя и я (ибо оно существует, просто неизвестно до поры), только вид ее пристрастий обозначу: это муза

Понемногу подтянулись и остальные обитатели ада. Первыми прибежали сестрички-гарпии. С ними была Химера. Тут я хочу напомнить читателю, что это некое существо с тремя головами – льва, козы и змеи, и все три изрыгают пламя.

Ну и что из этого? Химеру герой тоже не обидел.

Интересная гуманистическая деталь: на это время массового соития в аду приостановлены были мучения смертных, что случается, прямо скажем, не часто.

И еще одна деталь для зоркого внимания: в сбежавшейся толпе опять мелькнули эвмениды – так порой именовали тех же эриний. Так как Барков знал мифологию отменно, следует полагать, что три старушки подвернулись по второму разу.

Далее попался ему под руку (простите неточность выражения) сам Плутон, а за ним наступила очередь Прозерпины, с которой герою было так хорошо, что Плутон вскоре погнал его вон из чистой ревности. Кстати, всю остальную сладострастную нечисть владыка ада разогнал чуть раньше, ибо они дико вопили и совсем забыли о своих прямых обязанностях.

На обратном пути и Цербер, и Харон получили то же вознаграждение, и герой вернулся благополучно. Хоть и не совсем, но это лучше прочитать, конец счастливый.

И вот что вспоминается невольно. Жители Флоренции, прочитавшие «Божественную комедию», боязливо и почтительно шептали друг другу, когда встречали Данте Алигьери: «Он побывал там! Он видел!» А могли ведь это шептать и обыватели Санкт-Петербурга, встречая Иван Семеныча на прогулке, и ему наверняка было бы очень приятно. В этом смысле жаль, что не увидели света его тексты.

Еще изрядно жаль, что не дошла наука к тому времени до исследования и познания космоса, ибо совершенно ясно, чем бы занимались в необъятных его просторах герои Баркова, и, быть может, это был бы лучший способ налаживания контактов с обитателями иных миров, туземцами внеземных цивилизаций.

Но достоин обсуждения высокий и непростой вопрос, почему в России именно Барков стал некой светлой загадочной туманностью, стал символом... – кстати, чего именно символом он стал? Только неприличия и нарушения границ? Только скабрёжности и мата?

Нет, упас Господь это имя, упас и предназначил, а для чего – мы попытаемся сейчас обсудить. А иначе Пушкин (знавший толк в поэзии и многом другом) однажды не сказал бы Вяземскому свои слова удивления: как, мол, вы собираетесь поступать в университет и не прочли Баркова до сих пор? Это курьезно, сказал

нам сейчас важнее остальные действующие лица. Здесь бесчинствуют без жалости и милосердия три богини гнева и мести, три сестры-эринии: Тизифона, Алекса и Мегера. Поясню цитатой из мифологического словаря:

«Вид эриний отвратителен. Это старухи с развевающимися змеями вместо волос, с зажженными факелами в руках. Из их пастей каплет кровь».

Тут же в округе орудуют безобразные демоны всех мастей и наружностей, о которых страшно даже подумать, и пять разбойных сестричек-гарпий, блудных дочерей морского бога. Это полуженщины-полуптицы кошмарной наружности и столь же омерзительного нрава, их пятеро. Словом, вид компании понятен.

Изредка сюда спускались герои различных мифов. Кто хотел похитить старую приятельницу, безвременно сошедшую в Аид, кто по иным каким-нибудь делам. Для большинства это заканчивалось плачевно, а кто-то ускользал благополучно, сообщая живым на земле разные достоверные кошмары и ужасы.

Именно сюда пришел герой Баркова, как-то разузнав по случаю дорогу. Для чего же он сошел в преисподнюю?

А ни для чего – потрахаться, если повезет. Он уже на белом свете поимел тьму-тьмушую различного живого люда, познавал при случае скотов, зверей и птиц, теперь хотел любопытствовать на тени смертных. То есть он собрался (говоря в понятиях современной научной фантастики) проникнуть в прошлое и погулять там по буфету.

И добрался он до берега весьма известной речки Стикс. Где угрюмый, грязный и в лохмотьях старик Харон брал неукоснительно высокую плату за перевоз. (Для того ведь древним покойникам и клали в рот монету). Денег у героя не было с собой, но всегда он знал, как поступить, и немного старика Харона употребил, как это делал со многими другими на земле. И Харон без звука согласился, что оплата была очень достойной.

Далее, читатель, как вам известно, вход в Аид охраняет свирепый трехголовый пес Цербер. Он лаял, яростно ревел и укрощен был тем же способом. Я думаю, что смолк он больше от удивления, ибо античные герои вряд ли обращались с ним так по-свойски.

Первой нашему герою подвернулась страшная Тизифона. И по-неслось! Хочу напомнить (ибо это вспомнил и Барков), что у подземного чудовища вместо волос на всех местах шипели змеи, и герой немало претерпел, но нимало не был обескуражен.

Она тирану уступила,
он был настойчив, как тиран,
он был вынослив, как стропила,
и ей понравился тиран.

А было время Возрождения,
народ был гол и необут,
но ведь теряешь убежденья
в момент, когда тебя ебут!

Собственно, именно это я и хотел сказать бессильной предыдущей прозой.

И над духовным пробуждением этим величественно и неподвижно висела тень известного нечитаного поэта.

Нет ничего более нелепого и академически некорректного, чем причисление Баркова к мелкому ведомству эротического жанра. Все словари определяют эотику в живописи и литературе как изображение чувственности, связанной с сексуальным общением, или как описание, возбуждающее эту чувственность. Но этого нету у Баркова и в помине! Каждое описанное им совокупление – это, скорей, сражение, игралище богатырей, баталия, турнир и битва, удаль молодецкая и раззудись плечо (хотя плечо здесь ни при чем). Это рукопашная наотмашь (и случаются смертельные исходы), это Куликовская битва, купец Калашников и Ледовое побоище совместно. Это культовая ритуальная оргия в честь могучего и почитаемого божества, это игры героев эпоса, а не скользкий слабосильный коитус для стимуляции хилых плотью читателей.

Процесс любви предстает в стихах Баркова как тотальная идеология жизни – о какой же тут жалкой чувственности может идти речь?

Более того, идеология эта настолько глобальна, что пронизывает все мироздание, плавно и естественно (то есть закономерно) перехлестываясь из обиталища живых в загадочное земному сознанию царство мертвых.

Тут я вынужден одно стихотворение пересказать своими словами, хотя помню, что вам его, почтенный читатель, легко теперь просто прочитать.

Представьте себе зловещий Аид, подземное царство мертвых. Там на троне восседает Плутон, лично распорядясь наказанием грешных смертных. Рядом с ним – его царственная супруга, богиня преисподней Прозерпина. Истая женщина, она пытается смягчить жестокость мужа – а каким образом, вы прочитаете сами,

выражает желание посмотреть Соединенные Штаты Америки. В ответ на это ее муж не без некоторого раздражения замечает, что путешествие будет затруднительно ввиду отсутствия железнодорожного сообщения.

Вы уже, конечно, догадались, читатель? Речь идет о весьма простой частушке:

Говорит старуха деду:
я в Америку поеду.
Что ты, старая пизда,
туда не ходят поезда.

Ну, скажите, кто на свете, кроме нас, над этим засмеется?

Помню, когда я мучился в тщетных попытках донести до знакомого иностранца (с отменным, но выученным русским языком) замечательность частушки, сочиненной отпетым русским интеллигентом, покойным Толей Якобсоном:

Нашу область наградили,
дали орден Ленина;
до чего же моя милка
мне остоебенела.

А один приятель мой, заядлый автомобилист, остро мучившийся (жалко было купленную ценой многих лишений машину) от выбоин и колдобин городских дорог, вдруг начинал с ненавистью бормотать полувслух как заклинание или заклятие:

– Выебины и колдоебины, – говорил он монотонно, – выебины и колдоебины, – и успокаивался прямо на глазах, продолжая прерванную дорожную беседу.

А когда в конце пятидесятих-шестидесятих годов начала вдруг материться почти вся городская рафинированная интеллигенция – не было ли это первым предвестием начинающегося раскрепощения душ? По-моему, было несомненно. Ибо тот странный летаргический сон наяву, то полузабытье, в котором пребывала она (не только от страха, нет, совсем не только, был еще некий коллективный гипноз, он был), – вдруг начал прерываться, и мат явился признаком какого-то нового, просоночно-утреннего осознания реальности.

Дивные вдруг вспомнились стихи (и пусть они присутствуют здесь, ибо прямо соответствуют теме) покойного поэта Юры Смирнова, про интеллигенцию стихи:

Когда венецианский дож
сказал ей: дашь или не дашь? –
она почувствовала дрожь,
потом превозмогла мандраж.

интеллигентный взгляд. Каждый час (иногда минут сорок, но не реже и не чаще) он медленно и деловито слезал со своей шконки, неторопливо подходил к двери камеры и в эту глухую, обитую листовую сталью дверь говорил с непередаваемой ненавистью и энергией:

– У, скоты ебанные, – говорил он.

Один только раз. И возвращался на место, умиротворенный и благостный, как старушка после истовой молитвы или – как разрядившийся электрический скат. После чего с полчаса примерно мог разговаривать и был вполне спокоен.

Впрочем, благодетельную психотерапевтическую роль мата знает, скорее всего, каждый, кто хоть раз пользовался в своей жизни этим несравненным сокровищем великого, могучего, свободного и правдивого русского языка.

Но у российского мата есть еще множество всяческих других ипостасей и предназначений. Необыкновенно широка и пластична его знаковая, семиотическая многогранность. Матом можно выразить все спектры и оттенки наших переживаний, впечатлений и чувств, стоит лишь поменять интонацию. Впрочем, это тоже всем известно, так что не будем терять время попусту и зря переводить бумагу.

Но есть нечто, самое, быть может, важное в явлении и назначении этого языкового счастья. Вековечно рабская (на всех уровнях общества) и вековечно ханжеская атмосфера российской жизни была бы губельно удушливой для почти любой живой души, если бы в самом языке не возникло благодатно живительной щели, лакуны, пространства вольности, раскованности, распахнутости. Ибо мат – это еще игра и карнавал живого духа, глоток свежего воздуха и краткой свободы.

Может быть, именно ввиду многообразия своих жизненных функций русский мат практически не только непереводаем, но и недоступен пониманию людей, проживающих свою жизнь в иной атмосфере. Может быть, людям иных наречий просто не нужны были такие кислородные зоны краткого душевного отдыха и разрядки? Я не берусь судить, не знаю, только и русская частушка – уникальное русское явление именно в силу такой необходимости в российской жизни. Аргументы существуют всюду, но у них (как и русской блатной фени) совсем иное назначение.

Есть известная история про то, как недоуменно обсуждали специалисты–американцы русский фольклор и непонятный для них смех российских слушателей.

– В этом кратком народном стихотворении, – сказал докладчик, – содержится очень незамысловатый сюжет. Некая пожилая дама

Да, конечно, это гнусная несправедливость, что его не печатали. Да, конечно, поразительна преемственность ханжества, длящегося два с лишком века. Но несправедливость, совершаемая так долго, обретает странным образом право и необходимость, становясь естественной (и уже без боли неотъемлемой) частью нашего духовного существования. Да еще несправедливость, столь убедительно поправная глухой немолкнувшей славой, обаянием мифа и вознесением в высокий символ. Ну, отыскиали бы и напечатали подлинные тексты перечисленных выше лиц – что изменилось бы в их нетленном облике? К лучшему не изменилось бы ничего, уверяю вас, ровно ничего. Ну, раскопал дотошливый Шлиман маленькое скучное поселение по имени Троя – сей городок завоеватели и штурмовали, небось, минут сорок, путаясь в пыли и грязи узких улиц, – что же изменилось в том сверкающем, величественном и бессмертном мифе, который нам поведал слепой Гомер?

К лучшему не изменилось ничего. Жалко, что мелкотравчатые просветители вкупе с поспешливыми книжными торговцами облекли текстовой плотью лучшую из российских легенд.

Русский мат – явление уникальное, и, говоря о нем, я испытываю чувство, давно и точно определенное как национальная гордость великоросса. Очень, очень далеко ушли русские матерные слова от своей функции обозначать мужские и женские половые органы, процесс продления рода или некую особенность характера молодой женщины. Слов-то можно насчитать всего несколько, а образуют они – целую вселенную, властно вторгающуюся во все поры и области нашего существования. Властно и благостно, добавил бы я, ибо знаю по себе и видел на примере других великую психотерапевтическую роль этих заветных нескольких слов.

В одиннадцатой камере Волоколамской тюрьмы через проход напротив меня лежал на нарах мужичонка лет сорока по имени Миша. Он душевно мучился невероятно. Боль его и тоска проистекали от того, что тюрьму он заслужил вполне и давно (по его личным и советского закона понятиям), ибо нигде годами не работал, чуть подворовывал, бродяжил и крепко пил. Но вот в этот раз, именно сейчас, был он схвачен по пустому подозрению, был не виновен в какой-то дворовой драке и томился зазря. Отчего душа его пылала и разрывалась, а следователь продолжал держать его, ибо истинного виновника найти никак не могли, и прокурор покладисто и равнодушно продлевал срок Мишиного задержания.

Так вот Миша этот, несправедливо ввергнутый в узилище и томимый в нем несправедливо, страдал ужасно. А чтоб на время полегчало, делал нечто странное – на мой, естественно, фрайерский

ЗАМЕТКИ О ДЕСЯТОЙ МУЗЕ

Размышления над текстом

Жаль, что все-таки напечатали, наконец, поэзию Баркова. Двести с лишним лет он был загадкой и туманностью, мифом и легендой, тайной и поэтому мечтой. Сбылась мечта, легенда потускнела, миф лишается своего обаяния. Имя Баркова с давних пор витало вне и над литературой, осеняя ее духом неприкаянной забубенной вольности, а нынче низвели его, втолкнули в общий ряд и перечень, всучили в руки общего достояния. Зачем он нам такой? Он был величественней и нужнее в качестве бесплотного (бестекстового) мифа.

Мало в человеческой истории имен, оторвавшихся от текста и витающих свободно в райских кущах нашего сознания. А то даже гуляющих там настолько по-хозяйски, что мы физически ощущаем тень их, когда что-нибудь говорим, сочиняем, делаем. Безусловно, таков хитроумный и распахнуто свободный раб Эзоп (не читал я никогда и не буду читать его басни, ибо их сто раз уже украли потомки и перешли краденое по моде своих эпох). Это, конечно же, рыночный гуляка и неутомимый спорщик Сократ, образ и символ подлинного философа (он-то на тексты вообще плевал, а то, что записывал Платон, – уже не в счет, ибо протекло через Платона). Это и чудаковатый Диоген с его фонарем и бочкой (текст вообще уже не нужен). Смело и уверенно (ибо убежденно) я упомяну здесь и бродячего раввина Иисуса Христа, ибо все, что говорил он, записали другие, но остались образ, символ и легенда.

А в России так покинуло все свои тексты и воспарило в миф имя Баркова. И спасибо, что тогда его не напечатали: с текстом на ногах имя не вынеслось бы в столь высокое пространство.

ОЧЕРКИ, ЭССЕ, ВОСПОМИНАНИЯ

Игорь ГУБЕРМАН

Елена ИГНАТОВА

Бесмысленны и Лунная соната,
и муки Данте, и Рембрандта свет.
Погибнет все под наслоением ила,
под толщами арктического льда.
Пустынный шар, летящий в никуда,
одна большая братская могила.
Нас косит рак, мы коченеем в СПИДе,
распался атом, оскудел озон.
Скажите, а спокойно ли вы спите?
Виденья – не тревожат ли ваш сон?

1990

белесые туманы,
росистая трава.
Гляжу я на Голаны –
кружится голова!

Погашу лучину,
затопчу костер,
Я иду – мужчина! –
на язык остер,
смою сеть царапин
с рук, с лица и ног.
Пусть играет Скрябин
и творит Ван-Гог!
Незнакомку в танце
вмиг обворожу.
– Милая, останься, –
ласково скажу.

1988

* * *

Нас косит рак, мы коченеем в СПИДе,
распался атом, оскудел озон.
Скажите, а спокойно ли вы спите?
Виденья – не тревожат ли ваш сон?
Бельмом восхода небосклон ослепнет,
пожухнут травы, почернеет снег.
Как проведет его, свой день последний,
последний на планете человек?
Он будет долго-долго шарить взглядом
в бескрайностях, где дали сожжены.
Он будет выть, не обнаружив рядом
ни матери, ни друга, ни жены.
Один на всей необозримой тверди,
он вдруг поймет, что пройдена черта,
что все абсурд: любовь и милосердь,
достоинство и честь, и доброта.
Зенит провиснет, горизонты смяты,
и мир утратит запах, вкус и цвет.

В борьбе противу скверны
сходились – рать на рать
неверные неверных
за веру убивать.

Века катили мимо
событий колесо,
решая судьбы мира –
истории лицо.
Когда ж стихали войны,
струилось по горам
степенно и спокойно
дыханье Биркет-Рам:

недействующий кратер,
мерцанье талых вод,
помост, сторожка, катер,
рыбак и небосвод.

1987

ГОЛАНЫ

Вокруг меня Голаны –
кружится голова!
Цветущие поляны,
зеленая трава,
и голубое небо,
и голубая даль.
Кто на Голанах не был,
того мне просто жаль.

Здесь мой желанный берег
и наивысший трон –
божественный Кинерет
и царственный Хермон,

ЗДЕСЬ МОЙ ЖЕЛАННЫЙ БЕРЕГ

БИРКЕТ-РАМ

Недействующий кратер,
мерцанье талых вод,
помост, сторожка, катер,
рыбак и небосвод.

А в отдаленье чинно
глядят со всех сторон
скалистые вершины,
заснеженный Хермон.

Дорог крутые ленты
летят то вверх, то вниз.
Здесь мифы и легенды
с былым переплелись.

Убийцы и пророки
здесь находили кров,
и горных рек потоки
текли, смывая кровь.

и бусы сыплет, четки нижет
и звезды вяжет бечевой,
и в отраженье глаз я вижу
ее у нас над головой.

1992

* * *

Нет ностальгии
в земле,
под водой
и на небе.
Ангел-хранитель,
да ты на меня и не смотришь!
Бес-исцелитель
повадил к смерти, – за нею
полз, искуситель, но что они сделали с морем!
В этой вражде, убаюкана словом и делом,
Я собираю в пустыне от ракушек пепел,
я отрываю с колючек и от верблюдов
белую кость – и в крови голубой клокотанье.
Нет ностальгии – куда она делась от солнца?!
Нам иссушило и слезы, и кровь поднебесье.
Перебеситься – и перепастись это стадо, –
что перепелке нашаркает голос картавый?
Рыб не люблю, или птиц не ловлю, или лица
скользкие
(сколько их было-шталось по свету!)
не различаю по свисту,
и оперенье
ветер колышет на камушке все от убитых.
От убиенных русское слово привольно,
рыжих седых переписка гоняет по миру.
Это поэты стихи говорят после смерти,
где для собак рассыпали мы битые стекла.
Так им, собакам, они необрезаны мокнут
на перепутье от засухи к Мертвому морю,
в соли чужая звезда заворочалась ночью –
хочется плакать ей, очень ей хочется плакать.

1993

* * *

На берегу пустыни красной
Земля встает сухой и грязной,
как бедуинка, на глаза
надвинув небо, но гроза

в июле быть не обещает,
и луч песчаный между туч,
пронзая горло, навещает
глубины вечности.

Ползуч,
верблюжий сцеженный кустарник
ждет, что к нему взойдет напарник
колючка скатится ежом,
и голос полоснет ножом.

Вздевая руки золотые,
в одеждах смерти заплетясь,
идет пастушка, заливные
луга вытаптывая в грязь,

она воздушна и доступна,
ее собака неотступна,
ее бараны сожжены,
ее мужчины сложены.

Дождями выместив коварству,
подолом вымесив полцарства
за каплю влаги –
за хамсин,
захомунав молитвой тучку,
разув кормильца, пряча ручку,
глядит арабка из трясин

на пальмы наши с голубями,
на стриженные паруса,
запекшимися шьет губами
в глухом Эдеме небеса,

пламя, мол, – это племя мое,
сыр овечий пастушек, и гойский
голос – глас окаянный геройский –
в забытии доклюет воронье.

Виноград и лисица – при нем.
перебесится в Негеве стая.
И отловит меня, нарастая,
гон, и вытопчет череп конем,

и копыта отрет о траву,
и песком это горло прочистит,
эти кости промоет, – отчизне
все равно, где я вновь оживу.

По пустыне лопатой скребя
и карабкаясь в небо по скалам,
я тебя перед Богом искала,
я в пути потеряла себя.

1993

* * *

В Ливане ветрено и многолюдно,
хамсин вливает в рот песок и фляжку,
на лютне режет слух – скрипит в овчарне,
как пляшет ливень, но – мираж, бедняжка!

Неряшлив, ест пастух и дымом пахнет,
от жара пухнут ноги и не лезут
в колодки, и подошвы отсыхают,
и сыпет камушки гора под вечер.

Но как любить от зноя – или бредить,
затвор защелкнет, и ударит эхо.
И вторит мальчик, и собьются овцы,
и с той же ноты зажуют – и с той же
ноги.

* * *

Стихи мне отвратительны. Крошу
круг меловой – кошерное свиданье,
когда любимый, зубы сжав, грошу
не доверяет, – выйдя на заданье
с цингой еще российской, под киркой
согнется, заслонив меня рукой.

Нам срок мотать – шмон снится на святой
не на неделе – на земле, – по смерти
мы будем строить Вавилон, постой
окончив, – для кого ты тлело, сердце?
В норе крысиной век перетерпя, –
ты знаешь ли, что не было тебя?

Тоска моя не в Сохо у дверей,
где мне поддых давали, как лекарство,
не на торгу варшавском, – вор добрей, –
когда вбирает, он идет на царство;
не в петербургской яме на ветру,
где я себя зарыла, как сестру.

Мой плен ползет змеей из Палестин
иных, где, нерожденный, мной обрезан
и связан у распятия мой сын,
где Бог-Отец забытый и нетрезвый
отплакал на гортанных языках,
качая боль, как птицу, на руках.

Окружены заботою твоей,
мы бьемся над смешением кровей
и греемся на этом круглом гетто,
не в космосе – и до скончанья света.

1991

* * *

В сем притоне за сим суждено,
где приткнуться и где притвориться,
преклоняя главу, притаиться,
и колена, – уже зажжено

Там кипарису голову кружит
неповоротливая вечность,
и птица землю сторожит,
роняя перистость и млечность.

1993

* * *

Здесь дождь не падал
сыроежкам в ноги.
На полдороге потерялся ветер,
и лес отстал, и заблудились дети –
не те слова.

Смола к стволу приникла
и впиталась,
кровь голубая от корней клокочет,
от кости белой сохранилась – жалость,
не хочет в землю стертую, и прочит

не зелень – свищет простыней в подворье
и дует в рог

алмазный нищий мальчик,
идут солдаты с гор – и ветер с моря
в горах дробится, миражом маячит.

На пряжке слепнет злое солнце, глохнет
от залпа света и таранит волны –
здесь было море, на колючках солью
шуршит, и ракушки впились до крови.

В пустыне сумерек не знает стадо,
верблюды качается и тащит память,
из-под ладони ветеранам юным
подносят фляжку – и цикуту ночи.

Еще проснуться бы, луну глотая,
туманом вытереть курок взведенный,
как пахнут гибелью под утро звезды,
любимой облако взошло в Египте.

1993

ОТЧИЗНЕ ВСЕ РАВНО, ГДЕ Я ВНОВЬ ОЖИВУ

* * *

Жизнь была – она проходит, к счастью.
От любви остались поцелуи,
как литые пули, с ветерком,
и язык могучий с матерком.

Оккупанты выверили площадь,
по пустыне, озираясь, метят,
и сараф на них белье полощет,
и колышется над ними месяц.

Серебрятся в их карманах дыры,
в голове звенит, и на дорогу
перед зайцем выбегает Ирод
понемногу помолиться Богу.

* * *

В моей раздвоенности солнце – и луна,
и год от года я встаю со дна.

Из мелового круга обратясь,
перешагнув намыленное время
и ветреную пыль сменив на грязь,
мы входим в прах – наедине со всеми.

В чужой стране мне ястреб – кровный брат.
Нам ближе к небу, чем ему, стократ;
меня вздымают ужас и смятенье,
а возвращаться вместе – говорят,
и возвращать – наедине со всеми.

И дал пинка:
– Со Мной не споря,
Тащись от горя и до горя.
Ты – Вечный Жид. Пищать – пищи
Но легкой смерти не ищи!

... Тысячелетняя тоска
Поводит дулом у виска.
Еврейский Б-г, еврейский рок
Ей не дает спустить курок.

...Свищут качели.

Но, как изнутри ни держись, –
Позади – безначальность,
а впереди – бесконечность.

1981

* * *

Г. Люксембургу

Я одинок как плач кочевника,
Затерянный в песках Синая.
Тоска пустынная, вечерняя.
Душа усталая, больная.

Я разеваю жаркий рот,
И кровь моя во мне орет:

– Я слабый, жалкий муравей,
Прижат песчинкою Твоей!

Корявой ножкой шевелю:
– О, Б-же, я Тебя люблю!

Душа моя – Синай тоски.
Одни пески, пески, пески...
В пустыне наступает ночь.
Змея в испуге льется прочь.

Я одинок как Имя Б-жис,
Произнесенное безумцем.
Из моря солнце краснорожее
Грозит языческим трезубцем.

– Г-сподь! Я жалкий скарабей.
Не мучай – плюнь да и убей!
В тоске своей и во хмелю
Я все равно Тебя люблю!

Он взял меня, больную мошку,
И сделал поворот на ножку,
Луною высветил тропинку,
Песчинку положил на спинку

Вот ты и дома. Не спеши,
Следи, как в глубине души
Растет прорезавшийся трепет.
Польются слезы, как стихи:
Господь простил тебе грехи
И вновь тебя из праха лепит.

К стене ты приложишь щекой
И слушай, как журчит покой,
К сухой душе пробив дорогу,
Ты вновь – у вечного ручья,
Ты вновь – в начале бытия,
Ты снова дома, слава Богу.

1979

КАЧЕЛИ

И.Городецкому

Жизнь – что качели.
В каких я провалах бывал!
Ползал по дну я
хмельного московского скотства.
Плакал с ворами
и руки блядям целовал.
Душу сгибало
жидовское бремя сиротства.
Миг – и взлетел я
к святым иудейским горам.
Что за высоты
открылись с Сиона еврею!
Вычистил душу,
как будто загаженный Храм.
Но о былом
все равно, все равно не жалею.
Там – моя молодость.
Там – моя краткая жизнь.
Тут – моя зрелость.
Моя обретенная Вечность.

СТАРЫЙ ИЕРУСАЛИМ

Войдешь в зловоние Востока –
И задохнешься от восторга!

...Курилен тайных дурь и чад,
Бесмыслица людского хора,
Вой одичалых арабчат
И человеческий крик хамора¹.

Плетется, замшевый, замшелый,
С тупой покорностью судьбе,
И взор, большой и ошалелый,
Скользит печально по тебе.

Тут – иностранцев толчея
У лавок древностей фальшивых,
И у помойного ручья
Баталия котов паршивых.

До этой страшной высоты
Как доползла такая проза?
Язычники свои кресты
Несут по Виа Долороса.

Степенно шествуют попы,
Снуют проворные монашки...
Дымятся красные супы,
Кровоточат бараньи ляжки.

Туристы всяческих пород
Столпотворят язык базарный,
И кто-то в медный тазик бьет,
Как будто в колокол пожарный.

За поворотом поворот,
Уж гомон за спиной, и вот
Перед тобою – панорама:
В горячей солнечной пыли,
За светлой площадью, вдали –
Стена разрушенного Храма.

¹ Хамор – осел.

Где, вы, милые славянки?
Сионизму на беду,
На какой московской пьянке
Льнете к новому жиду?

Быстро вы меня забыли!
Вам с жидами – не везет...
В облаках горячей пыли
Танк по Негеву ползет.

И кому осталась пьянка
Посреди пустого дня,
А кому досталась танка
Воспаленная броня,

Ощущение отчизны,
Воплотившейся мечты,
И осмысленности жизни,
И особой правоты.

Счастье – вырваться из бездны
К свету вечного огня!
Только бы Отец небесный
Продолжал хранить меня.

Так отжить и отписаться –
И уйти в небытие...
А любовь – куда деваться –
Доживу и без нее.

Потому что древней страсти
Зов, проснувшийся в крови, –
Выше жизни, выше счастья,
Даже, может быть, – любви.

1978

Был любим, купался в счастье
И не видел берегов.
Окромя советской власти
Больше не было врагов.

Мама старая жалела,
Льнули дети и зверье.
Женщины любили тело
Неленивое мое.

Сто друзей прекрасных было,
Было выпить с кем винца.
Дочка малая любила
Приходящего отца.

И когда бывало плохо,
На судьбу грешно пенять, –
Было и кому поохать,
И утешить, и понять.

Относясь к себе нестрого,
Не ценил тогда того.
Но позвал меня в дорогу
Голос Бога моего.

И, закормленный любовью,
Я бежал, как из тюрьмы,
Орошать своею кровью
Иудейские холмы...

Средь любимого народа,
На земле моих отцов,
Два прекрасных долгих года
Счастлив я, в конце концов.

Слава Богу, есть свой угол,
Бросил пить, обут, одет.
Слава Богу – красных пугал
Тут у нас покуда нет.

Все – Абрамы да Эсфири,
Все – Шапиры да Леви...
И, однако, в этом мире
Не хватает мне любви.

Еще один – допустим, Шнеерзон –
В гражданской жизни – плут и фармазон,
Напяливает свой комбинезон
И грязно, по-советски, матерится.
Другой – как только расстегнул мешок,
Вонючий пар попер от потных ног
По всей палатке, – видно, дал зарок
До самой смерти никогда не мыться.

Вот, наконец, олимовский¹ народ
Перед начальством строится в «шлошот»²
Румыны, саксы, русские и франки.
И каждый вьючным выглядит ослом:
Рюкзак и каска, пояс с барахлом
И автомат на шее под углом.
А впереди уже готовы танки.

Взревел мотор. Его живая мощь
Железный корпус повергает в дрожь.
Сидим мы по бортам, а резкий дождь
Притихших нас сечет из полумрака.
Кто мы такие? Различимы в нас
Все признаки блудосмешенья рас,
И только глубина печальных глаз
В нас выдает потомков Исаака.

1978

* * *

Тридцать лет любви и ласки,
Пониманья и добра.
Из какой волшебной сказки
Ты пришло, мое вчера?

¹ Олим – репатрианты.

² Шлошот – построение в три шеренги.

Все оставил я за порогом.
Все отдал я чужой стране.
И остался я только с Богом.
Только с Богом
Наедине.

МИЛУИМ¹

На юг Синая утекла жара.
Холодный вечер. Ливень – из ведра.
А завтра утром – первая сидра² –
Учению подводящая итоги.
Спят англосаксы. Тихо у румын.
Угомонились русские. Один
Не спит шомер³. «Уж лучше бы – хамсин⁴.
По крайней мере – не промочишь ноги».

Сто двенадцать дней мы тут – плечом к плечу
Что за зверинец, Боже! Не хочу
О них и думать. Лучше промолчу...
Увы, не едет к нам элита духа!
Плебс местечковый выплонула Русь.
Живописать его я не берусь.
Воспоминая навевают грусть.
Вы с ними в дружбе? Ни пера ни пуха.

Побудка в пять. На улице темно.
Еще минутку покемарить... но
Сосед истошно завопил: «Говно-о!» –
Безадресно, для самоутверждения.
Разинул он свой толстогубый рот,
Бессмысленно и весело орет.
Большого духа дерзостный полет –
Кричащая примета вырожденья.

¹ Милуим – сборы резервистов.

² Сидра – полевое учение.

³ Шомер – караульный.

⁴ Хамсин – горячий ветер, дующий с востока.

Я ОДИНОК КАК ПЛАЧ КОЧЕВНИКА

* * *

К величайшей вершине мира,
Над которой – лишь только Бог,
С иноземной своею лирой
Дотащился я, одиночек.

Наседало на пятки время,
Злобным зверем в ночи сопя,
По дороге я; словно бремя,
По частям оставлял себя.

Дочь покинул и мать оставил,
Тридцать лет отшвырнул к шутам,
Землю-мачеху я ославил
Черным дегтем – по воротам.

Только память свою да лиру
Я спасти по дороге смог.
И стою на вершине мира,
Над которой – лишь только Бог.

Жадным взором весь мир объеблю.
Вновь рожденный, я нищ и бос.
В обретенную эту землю
Я по самое сердце врос.

Белая скатерть в пятнах от сока.
Сдвинут, задвинут праздничный стол.
Обетованная радость далеко.
Кто из нас в Землю Святую вошел?

Новая убрана на год посуда.
Сбивчивый, был ли услышан кадиш?
Как мы устали, как хочется чуда!
Господи, что ж ты с укором глядишь?

1993

ПЕРВЫЙ ПАСХАЛЬНЫЙ ВЕЧЕР

Ф.Я.

Горькая зелень.
Сладкий орех.
Здесь угошенья
Хватит на всех.

Всех-то нас – двое.
Бокалы красны.
Счастье лихое.
Привкус вины.

Видишь – свобода?
Просторно сидим.
Праздник исхода
Запьем, заедем.

Длинные свечи
Долго горят.
Горбятся плечи,
Туманится взгляд.

Дремлешь ты в кресле.
Покой, благодать.
Тени исчезли.
Некого ждать.

1993

ПОСЛЕ ПАСХИ

Вот и закончился праздник пасхальный.
Снова батон, пухлотелый, нахальный,
Не умещается в сумке прозрачной.
За ночь с прилавков смахнули мацу.
Все ли оплачено,
Что предназначено?
Правда ль, блужданья подходят к концу?

Вышла, заткнув полоумный эфир,
Бреднями полный и взрывы сулящий.
Вышла – вдохнула чуть приторный пир,
В ящиках яства субботние тащат.

Сладок, как йогурт, сегодняшний день,
Сдобный февраль, по-апрельски весенний.
Все остальное – тень на плетень,
Где ни плетня не отыщешь, ни тени.

1993

ВЕТЕР В АРАДЕ

Сыплются листья, жуки, мотыльки,
Душная вьюга вдоль тротуара.
Вывалив мусор, несутся мешки.
Как угорелые, как от пожара.

Корки, окурки, стручки, кожура,
Бланки, квитанции, ключья рекламы
Пестрой трухою прочь со двора.
Бьется белье об оконные рамы.

Это мой день превращается в прах,
Это акаций вчерашнее пламя.
Еле держась на слоновьих ногах,
Пальмы размахивают ушами.

Ящеркой бывшая ветка ползет,
Ветошки листьев неся осторожно.
В сизой пороше дрожит небосвод,
Кажется, выжить, ожить невозможно.

Даль захлебнулась сухой волной.
Плюхнулась в комнату черная птица...
А петербуржец поет за стеной:
«Хочется счастья добиться!»

1993

Нет лет и нет зим – лишь озноб в полутьме
и ожог –
Это память своя, отделившись от памяти общей,
Совершает длиною в бессонницу шалый прыжок,
И отдельная жизнь, от двойняшек отклеившись,
ропщется

1993

ФЕВРАЛЬ

I

Шуршит, ершится полиэтилен,
Нехитрые пожитки прикрывая.
В ночном окне, меж напряженных стен
Узка луна, как рана ножевая.

Колодками таранит потолок
Молодка, затыкая рты младенцам.
В бетон зажатый дом насквозь продрог.
Скорей бы в день, скорей бы в свет одеться!

И подан белый праздничный сюртук,
Широкополой тьмы как не бывало.
Колясок детских мелодичный стук
Вдоль тесной улицы, как вдоль канала.

Собравшись с силами, пускаюсь вплавь.
Не вижу дна, и нет конца дорожке.
Играй со мною, смейся и лукавь,
Мой длинный день в изменчивой одежке.

II

Зимней горбуньей в пяти свитерах
Из дому вышла, чтобы согреться.
Хищное лето дышит в горах,
И от прыжка его не отвертеться.

Что Божьей воле вопреки,
Четыре мерзлые доски
В четыре черные строки
Вбиваю виновато.
Все вывернуться норовлю
Из мрака, света, жара,
И в Мертвом море жизнь ловлю
С доверчивостью старой.

1992

АВТОБУС В НЕГЕВЕ

Вечер. Автобус. Полюшко-поле...
Детство, отец. Померещилось, что ли?
Смуглый красавец крутит баранку
В такт, словно старую крутит шарманку.
Эхом протяжным поле в пустыне.
Пахнет жнивьем иль настоем полыни?
Неуловимые льются слова.
Плещется детство. Всплывает Москва.
Папа насвистывает негромко...
На окоеме черная кромка.
Все перемолото. Все отзвучало.
Брось. Позабудь. Начинаем сначала.
Не допетляла дорога покатая,
Не досияло солнце патлатое,
Из нескудеющего сосуда
Тушью окатывает верблюда
И совмещает единою волей
Сполох в пустыне и полымя в поле.

1993

* * *

Лежу на кушетке, продавленной телом чужим,
Чужою бессонницей, взятой взаймы у кого-то.
В наемные соты забились, слипаясь, заботы,
Похожие, как близнецы... Голос памяти
неразличим

* * *

Жизнь после смерти есть. Я умерла
И вот попала в вечность – город вечный.
Теперь я знаю, что скрывала мгла
Последняя и что сказал мне встречный,
Последний в жизни той, когда осуждена
Была я на Эдем, который не заслужен,
Не выстрадан моим безверием досужим –
Ни этот грозный зной, ни эта тишина.

А встречный говорил, что соль крута в раю,
Где персик да инжир свисают с ветки каждой,
Что буду мучиться неутолимой жаждой –
Хоть плоть свою сожгла, чем душу напою?
Живу внутри стиха, где между строк песок,
Где юный Яков – рубашка цвета хаки –
С Рахелью обнялся – их караулят маки,
И черный автомат, как пес, лежит у ног...

Зачем я в бестелесности моей,
Предвидя и в раю явлении Амалека,
В большую даль гляжу, где больше полувека
Жила, не зная, что в раю больней,
Чем в том чистилище, где в мерзости и смраде
Не помышляла о такой награде.

1992

* * *

Полы белы,
Стена бела,
Весь белый свет –
Четыре белые угла,
Бумага поперек стола –
Забав ненужных след.
Привыкла в кубики играть
Сама с собою.
В скалу вмурована кровать
Над белой мглою.
И так подушки высоки,
Так душно, так горбато,

Не знать бы привилегии печальной
Расстаться с тем, с чем всей душой
срослась –
С чужбиной, нареченной,
изначальной,
Той, что с рожденья родиной звалась.

1976

ВОСТРЯКОВСКОЕ КЛАДБИЩЕ

В Вострякове на кладбище тесном
По соседству с крестом могодновид.
Помирились ли в царстве небесном,
В опрокинутом душном гнездовье?

Все сравнились под глиной раскисшей
Или сводят по-прежнему счеты?
Под тяжелою общею крышей
Ни поблажки, ни щели, ни льготы.

Поклонюсь я торжественным плитам,
Где огонь оборудован вечный.
Кто там есть – под броней, под
гранитом,
Под звездой пятиконечной?

Что же с ней, путеводной, светлее,
Чем с другою – шестилучевою?
Пирамиды и мавзолеи,
Крест и камень – над общей судьбою.

Я хожу, невзначай примеряюсь
К той тропе, что меня не минует,
Только в этой тиши примиряюсь
С тем, что так безнадежно волнует.

1977

ПОЭЗИЯ

Елена АКСЕЛЬРОД

Борис КАМЯНОВ

Лариса ВОЛОДИМЕРОВА

Илья ВОЙТОВЕЦКИЙ

быть, открыть жалюзи? Жалюзи, жалюзи... От слова «жаль». Жаль открывать жалюзи. Открываю жалюзи, и врывается солнце; нестерпимый солнечный свет слепит глаза, комнату моментально заполняет уличный шум: веселые крики с детской площадки, лай собак, скрежет лебедки, визг тормозов, зазывные возгласы уличных торговцев. Нет, что-то не по душе мне эта жизнь за окном, такая шумная и доступная, пестрая и крикливая. «Как глупо все это, малыш...» – ей, исчезнувшей, адресуя это бормотанье, быстро запахиваю, закрываю жалюзи, плотно, еще плотнее. И снова все тихо и темно.

дачно: с работы ушел, друзья сгнули в заботах, в карманах – пусто. Жизнь свернулась в эту темную комнату; лишь белые цветы напоминают о другой жизни.

Слава Богу, хоть позвонил кто-то.

«Кто-то»? Прекрасно знаю – кто.

– Здравствуй...

– Тебе передавали, что я звонил?

– Да, конечно.

– Слушай, мне надо многое тебе сказать. Пока ты не звонила, я...

Она перебивает:

– Нам не надо встречаться.

– Ты позвонила мне для того, чтобы еще раз сказать об этом?

– Я решила, что так будет лучше. Что-то происходит во мне самой, что – я сама еще не понимаю.

– У тебя появился кто-то другой?

– Разве в этом дело? Я должна определиться сама, пойми ты!

– Ты получила мое письмо?

– Да.

– Может быть, ты все-таки ответишь мне, напиши хоть пару строк!

– Не буду я ничего писать, это уже не имеет никакого смысла.

– А если я тебе напишу? Ты не возражаешь?

– Конечно, напиши.

– И ты опять не ответишь?

– Нет...

– Как у тебя дела?

– Спасибо, все по-прежнему. Завтра сдаю последний экзамен.

– Психология?

– Психологию я уже сдала, это статистика.

– Я уверен, что ты сдашь нормально.

– Видела твою публикацию, она мне очень понравилась.

– Это фрагмент из книги.

– Как твое сердце?

– Да уже не беспокоит. Прости, мне надо уходить. Целую тебя крепко, малыш.

– Прощай...

Она повесила трубку.

Ну, вот, опять какой-то дурацкий разговор получился. «Темна вода в облаках...» или правильно – «в облаках...»? Черт его знает, не помню! Ничего не помню. Сердце что-то побаливает. Может

ДЕРЕВЬЯ СТОЯЛИ КАК ВКОПАННЫЕ

... Он смотрел на исписанный листок бумаги, не понимая: что случилось? почему такой холодный тон? нет, не холодный даже, а просто безразличный? Десятка два равнодушных строк, набросанных простым карандашом на разлинованном листке.

Он спросил у вахтерши:

– Это все, что она мне передала?

– Кто? – не поняла вначале вахтерша, – а, эта из 109-й комнаты? Все, все...

Он еще раз повертел записку в руках, достал ручку из кармана пиджака, подумал, потом махнул рукой огорченно и стал писать на обратной стороне. Мысли путались, сбивались, он злился, что-то зачеркивал, фразы выходили какие-то кривые, неуклюжие, топорщились, кололись. Так и получился бессвязный, злой и горячий текст, дымящийся от растерянности и отчаяния.

– В 109-ю передать? – заговорщицки улыбнулась вахтерша.

– Да-да, спасибо большое... – он как-то засуетился, заторопился и вышел на улицу. Было очень жарко, с неба струился зной и обволакивал дома, улицы, прохожих. Деревья стояли, не шелохнувшись как вкопанные. Хотелось прохлады, хотелось дуновенья ветерка.

ТИХО И ТЕМНО...

Солнце не пробивается сквозь плотно сомкнутые жалюзи. Плавно вращается вентилятор, словно разбрасывая струи прохладного воздуха, и белые цветы, стоящие в воде, вздрагивают, когда их касается искусственный ветерок. В комнате темно и тихо. Даже телефон звонит не оглушительно, а еле слышно стрекочет, как кузнечик. Вот и сейчас застрекотал, я сразу и не услышал: лежал задумавшись. Да и думы какие-то невеселые, мрачные, тяготившие сердце. Все складывается у меня в последнее время не-

МОЛНИЯ

... блеснула и пропала, раскрыв небосвод острым блеском своим. Ткань небесная, поврежденная, развороченная – всего на миг, тут же: свернулась, сгустилась, поглотила этот молниеносный выпад и пропала в себе самой.

Гром. Прогрохотал, прогремел и затих.

Дождь. И затренькали капли дождя тоненько-тоненько, выводя нехитрый скрипичный мотив. И все мысли о дожде, все взгляды к дождю – всюду: дождь, дождь, дождь; серебряная мелодия дождя. А молния ... забылась, выветрилась из сознания, и нет ее и не было... никогда.

– Дождь, кажется. Ты слышишь?

– Слышу только тебя.

– Поцелуй меня.

– Я хочу тебя.

– Чему ты улыбаешься?

Богом забытый отель, не отель даже – хостель, общежитие, черт его знает, как именуется это гостиничное заведение. А вокруг горы и горы, внезапно навалившаяся Вселенная и эти двое в пустынном коридоре, который, изгибаясь, образует небольшой закуток. И вот в этом закутке двое, он и она, шепчутся, и шепот переходит в лепет, в легкий стон, прерывистое дыхание: «милый, милый, нет, не здесь, зачем, зачем, что ты делаешь, нет, мне так хорошо, еще, еще, еще...»

лась в подворотне. Она все время пыталась вспомнить, не видел ли ее кто-нибудь, – не могла.

Дома Ольга собрала вещи и, как только стемнело, на такси отвезла их к подруге. Потом вернулась назад, позвонила знакомому перекупщику и за полцены сдала товар оптом.

«Ловить» в Москве было больше нечего, негде, да и опасно... За пять штук крупный овировский деятель, заранее подкормленный Ольгой, в течение суток организовал паспорт с выездной визой на постоянное место жительства в Израиль. А еще через день она просунула в окошечко на Большой Ордынке вместе с паспортом Велвелову хирургическую лажу, получила выездную визу и заказала билет на ближайший рейс...

Сегодня у нас в Хайфе успешно работает «олимовский» магазин «Ляля», куда я частенько захаживаю выпить чудесного голландского пива за два шкееля. К вечеру ём шиши¹, после закрытия магазина я иногда помогаю хозяйке управиться побыстрее: вывезу на тележке порожнюю тару, протру влажной тряпкой пол, постелю газетку на низкий мясной холодильник и открою бутылку водки «Тройка», а Ляля выставит вкуснейшую чищеную кильку и пару малосольных огурцов «русского» засола, и мы говорим, вспоминаем Трубную, Сретенку, Колокольников, винный магазин «морковку», пиццерию на Рождественском, гриль-бар «Аннушку» на Цветном, отвальную перед «ездкой», таможенный кордон в Бресте, заветную дырку в Стене, куда мы ошалело, минуя пограничный запрет, лезли, лезли, как безумные, в Свободный мир нашей неправдоподобной, ублюдочной мечты...

¹ Ём шиши – пятница.

Со Славиком они встретились у Сретенских ворот около магазина «Галантерея». Второпях Ольга пропустила одну важную деталь: за углом, у почты, стояла машина, белая «Волга»...

Вдвоем они перешли Сретенку и стали спускаться вниз к Трубной по Рождественскому бульвару. Этот молодой светловолосый атлет был предупредителен, говорил гладко, как воспитанные мальчики, без блатной фени. Славик очень понравился Ольге, и, хотя она была старше его лет на десять и хоть было сейчас не до лирики, она вдруг подумала: «Чем черт не шутит!» Ольга была невелика ростом, в последние годы изрядно располнела, лицо имела широкое, с родинкой, но глаза ее были решительны, и чувствовалась в них глухая непреклонность, которая, видно, влекла к ней определенный сорт мужчин. Заходить в подворотню Славик категорически отказался, резонно опасаясь засады. Ольге пришлось оставить его на бульваре, а самой идти домой за товаром. Вскоре она вернулась, неся в руках темный полиэтиленовый пакет.

Славик терпеливо коротал время на лавочке, но Ольга сразу почувствовала в нем что-то новое, какое-то волнение, резкость какую-то, настороженность. Народа вокруг не было совсем, и Славик внимательно рассматривал «газ», как-то отстраненно расспрашивал и как будто чего-то ждал. В какой-то момент пакет со всем содержимым вдруг оказался у него. Тут же бесшумно, как наваждение, за оградой появилась белая «Волга», трое дюжих громил разом выскочили из машины, перемахнули низкий барьер и бросились к лавке; двое резко подняли Славика и заломили ему руки за спину, третий выхватил пакет. Славик и не думал сопротивляться. Все было сделано организованно, быстро, но вместе с тем и плавно, артистично.

Обычная инсценировка, разыгранная кидалами.

Ольга стояла как вкопанная и заворуженно смотрела незнакомый гангстерский фильм с погонями и мордобоем. Неожиданно кровь ударила в голову, и она чуть не потеряла сознание.

– Это очень важный преступник, – сказала третий, с пакетом, – мы его давно ищем, будет суд. Вам все понятно? – Он даже не прятал усмешки. Этот был невысок, но крепок, с уже поредевшей шевелюрой. – Вам все понятно?

– Да, понятно.

Ольга сунула руку под кофту, выхватила из-под пояса пистолет и несколько раз подряд, почти в упор выстрелила капсулами нервно-паралитического газа. Все четверо кидал рухнули как подкошенные, не успев даже пикнуть. Откуда им было знать, на что способна эта полная тетка не первой молодости? Ольга подняла пакет, спрятала «пушку», тяжело перелезла через ограду и скры-

каскадером, а ныне торговцем антиквариатом и поддельными метриками.

– Я тебя умоляю, Лялочка, – сказал Велвел, – сделаем все по высшему классу. Если бы я имел в виду втюхать тебе туфту, то просто продал бы за штуку бланк дубликата. Ты могла бы написать там напротив своей мамы все, что ты хочешь: хоть «еврейка», хоть «столбовая дворянка», хоть «бангладешка». Но я же интеллигентный человек! Видишь, сзади стоит год, когда его напечатали: 1987. Эти евреи в консульстве очень умные люди. Они быстро расчихали, что за штуку евреем может стать хоть Валентин Распутин вместе со всем обществом «Память» в придачу. И они уже стали проверять. Так вот, эти деятели теперь требуют, чтобы бланк метрики вышел из типографии еще до того, как ты родилась. Хорошенькое дело! Ты спросишь – Велвел, а для чего это надо? Для этого надо рядом с твоей мамой – как ее, кстати? Варвара Трухина? очень подходящее имя! – изъять не соответствующее ситуации «русская» и вписать романтическое и загадочное «еврейка». Конечно, эти отъявленные антисемиты из консульства, эти непримиримые борцы против еврейской диаспоры скажут тогда: Лялочка, как же так? Что это за еврейка, Варвара Трухина? Ты что, пришла сюда над нами шуточки шутить? А посему придется провести еще одно хирургическое вмешательство в твою маму, дай ей Бог здоровья: вытравить подчистую «Варва» и на освободившемся месте засунуть «Са». А? Как тебе это нравится? Сара Трухина! Почти в десятку? Но... опять только «почти». Придется еще поднапрячься! Чуть-чуть! О! Сара Трухман! То, что доктор прописал! Это, конечно, тоже будет стоить, но уже дороже. Тебе, Лялочка, по большому благу – три штуки с полной гарантией успешной абсорбции на земле предков.

– Сколько? Ты что – серьезно?

– Но, Лялочка, это же вместе с гарантией: если факир будет пьян, и фокус не выйдет – никаких с тебя бабок. Ты поняла?

– Давай за две!

– Лялочка, я вижу, что ты хочешь и на елку влезть, и жопу не ободрать. Слушай, кстати, а тебе не нужна панагия, петровские дела, полный «свежак», муха не садилась, и совершенно бесплатно – всего двадцать штук...

Договорились на двух с половиной. О метрике, конечно, не о панагии...

Приехав в Москву, Ольга засуетилась. Она допустила сразу три непоправимых ошибки: во-первых, решила сдать товар, минуя обычные каналы, во-вторых, слишком быстро и, в-третьих, слишком дорого.

– Видеомэгнитофон.

– Один?

– Один.

– Тебе какая сумма полагалась?

Ольга назвала.

– Откуда же столько товара?

– Давайте считать! – ответила Ольга.

Таможенник вдруг с интересом взглянул на Ольгу. Ей почудилось, что у нее отовсюду торчат пистолеты.

– Открой сумку! – приказал таможенник, взглядом указывая на дорожный баул, стоявший рядом с Ольгой.

Она поднялась с места отнюдь не грациозно. Снизу и сверху давило оружие.

– Николай! – раздался голос из коридора. – Николай, иди сюда!

– Сейчас. – Таможенник нехотя заглянул в сумку, как бы размышляя о чем-то. – Сейчас, – снова ответил он голосу из коридора.

Стриженный вышел. Ольга уселась на свою полку, откинулась назад и закрыла глаза. Она знала, что еще ничего не кончилось.

В соседнем купе вдруг возникла какая-то суэта: кого-то пригласили на личный досмотр в отсек проводников, кого-то вывели из вагона, слышались мольбы, ругань, увещевания...

«Прокололись, бедолаги», – подумала Ольга.

А о ней, похоже, забыли совсем. О такой удаче бедняжка не мечтала и в самых сахарных своих снах... На московской платформе Бреста, когда проверка давно была завершена, Ольга увидела стриженного таможенника Николая. Он был, казалось, не в себе.

– Смотри, кукла, больше не проскочешь! – только и проскрежетал он зубами.

– Ты о чем, начальник?

Теперь Ольгу беспокоило только одно: если стриженный связан с «мафией», то сегодня же в Москву пойдет сигнал о подозрительной бабе, колящей туда и обратно через брестский кордон.

Все. Ольга приняла это решение не сейчас – надо резко завязывать. Сдавать товар и сматываться совсем. С концами.

Конечно, для людей сведущих Ольгина фамилия – Малкина – со всей определенностью указывает на принадлежность к международному еврейскому и сионистскому заговору. Но на самом деле это не так. Никаких евреев в своей родне Ольга не помнила и не знала, откуда взялась подозрительная фамилия – понятия не имела.

Поэтому в Москве Ольга сразу связалась через знакомых знакомых с небезызвестным Велвелом, в застойном прошлом – кино-

В досточтимые времена застоя Ольга Малкина окончила знаменитую московскую «Плешку», институт народного хозяйства имени Плеханова. Жила с родителями в каком-то Курятино или Телятино, благо, что с пригородной пропиской в столице на работу брали всегда. Но – по четыре часа в день скакать по электричкам, плюс родительские внушения об устройстве личной жизни, плюс курятинская скука и телятинская тоска, минус всякое продуктивное довольствие в магазинах, не говоря уже о полузабытых курах и телях...

Однажды Ольга плюнула на подмосковную идиллию, на свой НИИ, на заветный «стольник в зубы» и рванула техником-смотрителем в один из центральных ЖЭКов с захудалой, но своей комнатенкой за выездом.

Много мороки приняла она, честно вам скажу, и от нашего брата-мужика, докучливого и в быту нескромного, и от начальства, тупого и загребушего, попивать стала в котельных, но не сломалась как многие, жизненная сила, что ли, какая в ней обитала, право дело, не знаю.

Откуда ни возьмись, явилась перестройка – и вот пошли делюшки, а потом дела, обозначилась кое-какая валютка, цэнтики-пфенюшки. А потом, как мечта и загадка, всплыл Вольный город с умопомрачительными витринами суперсамов, видео- и компьютерными салонами, уютными пабами, «русскими» магазинами, где почему-то торгуют сплошь негры, нелепой поверженной Стеной с разведенными, но все еще опасными лазами. А еще, до всего этого кайфа, были всегдашние преддорожные хлопоты, щемящее предчувствие таможенной проверки и острый взрыв облегчения при виде первых польских домиков с той стороны. А потом – обратная дорога, и снова ноющее ожидание, и снова всплеск развороченных иллюзий...

Проводник уже собрал паспорта и распорядился приготовить декларации и вещи. И, как всегда, в эти минуты Ольга ждала особенно напряженно, чтобы мигом расслабиться, стать естественной и приветливой простушкой, своей в доску бабой, только лишь дверь двинется перед таможенником.

– Здравствуйте...

Ольга едва сдержалась, чтобы не вскрикнуть: в купе показался стриженный. Было раннее утро, заканчивалась ночная смена, и на щеках его проступала едва заметная щетина. Сегодня он не был угрюмым стражем законности или веселым балагуром, как давеча, он был просто озабоченно-деловым.

– А, старая знакомая. Ну-ну. (Опять это «ну-ну».) Что везешь, кроме дискет?

В самом начале 89-го года власти предприняли отчаянную попытку прорыва в демократию: МВД Союза ввело «облегченные правила» выезда за рубеж.

Вот тогда-то, чтобы наварить дополнительную сумму к обменной квоте, первые «ездочки» стали прикупать «сувениры родственникам» – матрешки-поварешки, самовары-балалайки и прочую посконную мишуру, которая немедленно сбывалась в Тиргартене или на Польском рынке, а позже – на Александрплатц и даже у Бранденбургских ворот. Вдруг объявилась мода на атрибуты военной формы – поехали ремни и фуражки, кокарды и значки. Вскоре потребовались медали и ордена, спрос, как ему и положено, определил предложение. Ни с того ни с сего Запад стал покупать живопись совдеповского реализма. В подвалах учреждений началась инвентаризация снятых было в связи с перестройкой ленинов, в кепке и без кепки, на броневике и без броневика, с крейсером «Аврора» и без него. Цены назначались в прямой пропорции с размерами. Если на полотне густо кучковались матросы, а вождь в сопровождении каких-то кровожадных девиц в красных косынках указывал нам дорогу в грядущее, то перскупщики давали по 900 рублей за квадратный метр. Конечно, все это барахло никакого отношения к искусству не имело, вывозилось в рулонах и сбывалось за хорошие бабки одуревшим от перестройки «фирмачам».

Осенью матрешечно-фуражечный рынок наконец насытился, подспела очередь монетам, старинным книгам, дорогому антиквариату. Обратной дорогой помимо видиков и дискет потянулись «порнуха» и «газ», курсировали нарезное оружие и «наркота».

Доходы «деловых» стали пухнуть, как на дрожжах. Быстро сбились и распадались группы, появились монопольные команды, «мафия», требующая отчета и «отстегая» с рядовых «ездочков». Мелкая шушера отпала, остались «профи», сделавшие контрабанду своей специальностью.

Ольга упорно избегала «мафиозной» групповщины, работала одна, деловые точили на нее зуб, запахло жареным, пора было сматывать удочки. Она твердо решила, что это будет ее последняя «ездка».

Из плоских коробочек на десяток дискет Ольга извлекла содержимое и заховала баллончики и пистолеты, потом заново сложила упаковки и заклеила лентой. Комар носа не подточит – фирма! В последнюю минуту Ольге вдруг взбрело на ум, что коробочки получились слишком тяжеловесные. Пришлось облегчать. Два пистолета она спрятала на себе – в бюстгальтер, благо формы, далеко уже не девичьи, в этом смысле позволяли многое, и... совсем уже интимное место, там тоже все было нормально.

перепуганных Ольгиных попутчиков, скользнул по невозмутимой Ольгиной курице и пробежал по тощей Ольгиной сумке.

– Одна едешь?

– Одна.

– Ну-ну.

И вышел. Это «ну-ну» почему-то ей особенно не понравилось.

Но – все. Дело сделано. Путь на Варшаву свободен.

В сопредельной столице Ольга пробыла полчаса, не больше, водички только попила. Отходил поезд на Брест. В последнюю минуту она вскочила в вагон, сунула проводнику-поляку двадцать марок и принялась с аппетитом поедать жареный контейнер для валюты. Деньги уже покоились в косметичке.

С утра она снялась с Белорусского. Поздно ночью пересекла границу в Бресте. Рано утром была в Варшаве. И вот опять скоро Брест... Лихо!

Заслышав глухую суету таможенного досмотра, Ольга высунулась в дверь и обомлела: в соседнее купе входил давешний стриженный таможенник. Только угрюмости его как не бывало, наоборот, он улыбался и пошловато шутил. Это ничего хорошего не предвещало.

– Какие люди! – забалагурил он, с ходу вычислив Ольгу и совершенно не обращая внимания на неуютно жавшуюся друг к другу пожилую пару, расположившуюся напротив. – Что так быстро?

– Да времени нет – туда и обратно.

– Что так?

– Да на платформе встретились, он мне бабки отдал, да я назад. Ребенок дома с соседкой кукует. Тороплюсь.

– Да, история! А кто – он-то? Муж, что ли?

– Любимый человек.

– Ну? И много бабок?

– Да не так, чтобы очень... – Ольга протянула декларацию стриженному таможеннику.

– Много-немного, а все же кое-что... – ответил тот. – А что еще везем: порнушку какую, баллончики?

– Окстись, да у меня и сумки-то нет!

– Ну, ладно-ладно! – примирительно произнес стриженный. Будто и вправду не сообразил, что при провозе валюты никакой дурак не станет рисковать другим товаром.

– Ладно, – подытожил таможенник, – ты ведь в Бресте на посадку? Зайдешь в контору, я тебе печать на декларацию шлепну и справку выпишу. Договорились?

– Договорились.

После питерской побывки Ира уезжает в наш Бат-Ям, куда мы перебрались из южного Тель-Авива около года назад. Сегодня вечером она будет дома, а завтра с утра пойдет на работу в магазин на улице Ротшильд. Вход в него не с улицы, а с галереи одного из домов, где я частенько сиживаю на деревянном ящике, попивая пиво, и веду разные интересные разговоры на актуальные темы нашего иммигрантского бытия. В такие минуты бывает томительно жарко, суматошно нервно и бездумно умиротворенно. У синагоги напротив собираются люди, а внизу мимо галереи, обмениваясь со мной приветствиями, идут по своим делам герои моих очерков и рассказов.

КОНТРАБАНДИСТКА

Все было задумано просто – до гениальности.

Сначала она добыла бундесмарки по 11 рублей за единицу. Это было крайне выгодно, так как марочка потихонечку-помаленечку тихой сапой ковыляла к 14 рублям.

Теперь валюту следовало легализовать, и Ольга надумала вот что: пересечь границу в Бресте, доехать до Варшавы, тут же пересечь на обратный поезд, вписать сумму в таможенную декларацию и получить официальное разрешение на владение валютой, а следовательно, и на последующий вывоз за рубеж.

Заручившись таможенной справкой с указанием заветной суммы и наименованием дензнаков, Ольга могла запросто предпринять новую вылазку из цитадели демократии и гласности, но теперь уже в Западный Берлин, вольный город, голубую мечту советских контрабандистов – за товаром. Поэтому заграничный паспорт она оформляла сразу на две поездки – в Варшаву и в Голубую Мечту.

Марочки она аккуратно завернула в полиэтиленовый мешочек и тщательно укрыла в утробе громадной жареной курицы, которую водрузила прямо на столик, дескать, вот-вот начнем поедать, ночью, мол, жор напал, бывает. Идею с курицей она придумала сама и старательно подготовила в Москве: птица выдалась жирная, аппетитная, с розовой корочкой.

После проверки паспортов пограничной службой в купе наконец вошел хмурый коротко стриженный таможенник. Он оглядел

бой, выгляжу при этом полным дураком, потому что кот после моей нелепой выходки смотрит на меня, как на дикаря, смотрит долго, в упор. Мне становится не по себе, и я кричу: «Ира, сюда кот зашел!» – тут уж он совсем презрительным взором обдаёт меня: дескать, вот точно уж нелепый человечешко свалился на мою голову – и отворачивается. В дверях появляется Ира и зовет: «Рыжик! Рыжик!» Кот глядит на нее с любопытством: Ира тоже рыжая, может, за свою признал. Но нет, ноль внимания, отворачивается – обход еще не закончился и непонятно, какого рожна мешают ему эти пришлые...

Наша хозяйка поведала, что сестра Даниила Хармса, с которой они приятельствовали долгие годы, перед тем как перейти в мир иной, отдала ей своего кота Рыжика. И вправду литературный кот, ничего не скажешь!

Почему-то там, у нас, коты совсем на этих непохожие, дикие какие-то, длинноногие, борзые; странное дело: вроде бы жизнь у них полегче – теплее там, да и сытнее, ан нет, наверное, порода такая.

... И вспомнился мне странный город Яффо, чуть ли не первый порт в мировой истории, выстроенный до потопа одним из сыновей Ноя, город, где и сегодня большинство жителей арабы, а по улицам шныряют такие вот лихие полудикие коты...

И сижу я на лавке среди пальм на берегу моря, до одури, до рези в глазах синего, под таким же синим небом и час за часом слушаю истории поэта Илюши Бокштейна: о его отчаянной решимости уйти за флажки, о роковом докладе у памятника Маяковскому, об аресте, суде, лагере, о его знаменитых поделельниках. Мимо ступают арабы, с удивлением взирая на пришельцев из чуждого им северного мира. И вправду странно: средиземноморские пальмы – и лагерь в Мордовии, черный воронок в промозглой предзимней Москве – и белые, поставленные ступенчатыми террасами дома израильских арабов в полуденном мареве. Особенно охотно Илюша говорит о философии логотворчества, потом читает свои безудержные стихи под невнятный шепоток средиземноморского бриза, под еле заметное дыхание работающего диктофона...

Вновь собравшись в дорогу, мы вышли в коридор, и хозяева наши вышли, чтоб проститься и пожелать нам доброго пути: Ире – на Святую Землю, мне – в первопрестольную. Появился и литературный кот Рыжик, он пристально смотрел на нас, не мигая и не отрывая взора, в котором читалось презрение и вместе с тем жалость к нелепым неприкаянным существам, крутящимся по миру, как шарик перекаати-поле.

И все-таки я нашел вечность. Вечность – в Иерусалиме...

В мире нет двух более разных – контрастных – столиц: самой молодой и самой северной – Санкт-Петербурга и самой древней и южной – Иерусалима. В различности их схожесть: ни тот, ни другой город так столицами и не признаны, хотя ими являются бесспорно.

Непризнанность – родовая черта гениев.

Писатель Эфраим Баух ведет меня по самой старой части Иерусалима – Городу Давида; он останавливается вдруг возле одного из древних колодцев трехтысячелетней давности. «Вот здесь, – говорит Эфраим, – были найдены черепки кувшина, по-видимому, зачерпывая воду, женщина обронила его, эта ее неловкость и осталась в веках как свидетельство человеческой истории, сгинули цивилизации, сохранилась лишь случайность, ненарочитость...»

Я вспомнил об этом несколько дней спустя, уже после того, как проводил Иру в Пулково и самолет поднялся в воздух, и у меня оставался целый день до отъезда в Москву, и я всласть бродил по Питеру, и вдруг увидел в Петропавловке сидящего в кресле (или на троне – я не понял) огромного смертельно уставшего человека с маленькой бритой головой – недавно установленное скульптурное изваяние Петра, подаренное городу Шемякиным. Я рассматривал царя в течение получаса, я не мог оторвать от него глаз, поскольку увидел ту непреднамеренную удивленность, которой так не хватало внутреннему облику северной цитадели. И что с того, что оба эти жеста разделяют три тысячелетия, важно, что они, наконец, явились.

... Мы с Ирой снимаем комнату на набережной Невы за 10 долларов в сутки. Наши хозяева – милейшие люди, они немолоды, их дочь живет в Петах-Тикве, и они в скором времени собираются к ней в гости.

Окна комнаты выходят на речной невиский простор, а с противоположного берега «Аврора» привычно делится в наши окна прямой наводкой. По утрам я отдергиваю занавески и, как безумный аккумулятор пришельцев, смотрю в питерскую даль, насыщаясь и набирая энергию.

Кроме хозяев в квартире живет кот, огромный рыжий кот, который изредка останавливается и с удивлением смотрит на нас, дескать, что нам здесь надо, сидели бы там, в своем средиземноморском благе, так нет же, шатаются по миру и беспокоят солидных котом.

По утрам он заходит в нашу комнату, видно, совершает осмотр владений. Я еще в постели, он глядит на меня сверху вниз, непонятно, как это ему удастся, я зачем-то говорю: «Брьсь», само со-

...Мы идем по набережной Невы, солнечной и ветреной, город вдруг раскрылся веером неприбранного пасьянса, сказочным оперением райского павлина, ступающего по подмосткам строгого и стройного концертного рояля...

А там все иное – и деревья, и море, и город. Ну, вот хамсин, например. Северным жителям даже представить невозможно, что это такое. Хамсин – это некая противоположность ветру: антиветер, что ли. Он приходит из пустыни и свинцовой гирей опускается на город. Листок не вздрогнет, и птица не ойкнет. Воздух, как манная каша. И даже если вы мааетесь на пляже, то облегчения все равно не чувствуете – море, как суп, непонятно откуда берется прибой. И так круглые сутки, да не одни. Жить не хочется. И вечером нет спасения. Ночью простыни, как гипсовые повязки...

В один из таких вечеров я проводил Иру домой на Кирьяти, а сам пошел к себе на Бен-Цион. Воздух липким сиропом проникал в легкие... Но стоило мне пройти полсотни метров, как внезапно налетел ветер, сдул стоячую мороку – хамсин кончился, стало свежо. К своему дому я добрался легкой рысью. Была глубокая осень: градусов двадцать тепла. Но все равно холодно.

... Мы идем по набережной Невы к Летнему саду и дальше к Дворцовому мосту, говорим о пустяках, обреченные на очередную безвременную разлуку. Вот уже полгода я торчу в Москве, слоняюсь по коммуно-фашистским митингам и демократическим тусовкам, пытаюсь все это понять и изобразить на бумаге...

Я поехал на Землю обетованную искать вечность и нашел ее там. Но я потерял... устойчивость. Я был похож на дитя, оказавшееся вне пределов своего загончика, опустившего ручонки и балансирующего на ровном полу. Если бы можно было соединить несоединимое, склеить распавшиеся части... Что ни говорите, а родина... она там, где вы родились, все равно она мать – пьяная, смурная, безобразная, вы отталкиваете ее от себя такую, а сами тотчас остаетесь без опоры...

...Мы ступаем по набережной Невы, гранитно-вечной и первозданно-стройной, мы вдыхаем северный воздух ископаемого нашего детства, поражаемся решительной и невымученной строгости городского монолита. И одновременно, вместе мы чувствуем предательское прикосновение одной и той же идейки: «И вот такую-то красоту я оставил ради...» Еще недавно мы жили в южном Тель-Авиве, в районе развалюх и трущоб под названием Эсмеральда, среди восточного люда, невдалеке от блошиного рынка и старого автовокзала. Это самая древняя часть города, уже распавшаяся, разложившаяся от времени, почти забытая туристами и городскими властями.

Этого голого Левитанскому затем приходилось все время подтаскивать к соску, тем самым, по его собственному выражению, «исправлять законы природы», в противном случае несчастный котинный отпрыск как пить дать окочурился бы. Но из него-то как раз и получился удалый рыжий красавец, единственное дитя, легшее, по-видимому, в масть родителю противоположного Маркусу пола.

Так кот Маркус стал кошкой...

Котята выросли, и теперь уже пятеро зверюг носились вверх-вниз по шкафам, шторам и стенам, отнимая всякую возможность не только творчески трудиться, но и просто вести мало-мальски человеческое существование.

Левитанскому предстоял переезд в Москву, и котята были розданы окрестным ребятишкам, кот же Маркус отправился с поэтом на новую квартиру...

— Да кошка же! — застонала Ирина.

— Да, да, конечно... кошка... — согласился Левитанский, впрочем, как мне показалось, так до конца и не поверивший в свершившееся чудесное перевоплощение.

II

Конец нынешнего лета застал меня в Ленинграде, простите — Санкт-Петербурге, на набережной Невы на переломе прохладного предосеннего дня. Было ясно и ветрено.

... А там, откуда приехала Ира, — еще по-летнему жарко, она уехала в разгар лета и вернется в разгар лета, потому что там, откуда приехала Ира, всегда разгар лета — и в мае, и в июле и в октябре.

Ира — ленинградка, она оставила свой родной город, когда он был еще «колыбелью революции» и областным центром союзного значения, а теперь вернулась на побывку в город иной, так что теперь Ира — петербуржанка, но мы все равно говорим «ленинградка», потому что мы привыкли, так же точно газету мы зовем «комсомолкой», а пепси-колу — «газировкой».

Я — москвич, но я не люблю Москву, не люблю ее кривых разбойных улочек и грязноватых воровских подворотен, ее нелепо заставленных домами, как чемоданами, площадей, ныне нескстати обросших коростой импортного ширпотреба и волдырями нечистых бродячих людей, собирающих подаяние и дающих интервью журналистам о своих фантастических доходах. Я не люблю Москву, но жить без нее не могу.

зверя с дерева, но тот, ухватив свою добычу, рвал когти назад, в природу. Так продолжалось довольно долго. Но со временем кот все-таки привык к поэту, и, однажды спустившись с дерева окончательно и бесповоротно, через некоторое время даже поселился в литературском доме.

Я почему-то ждал от этой истории какой-нибудь дурацкой метаморфозы: ну типа такой, что вдруг шерсть с него опала, хвост отвалился и, как в сказке, возник стройный юноша-принц...

Но ничего подобного не произошло... Просто со временем кот обвыкся и стал нормальным домашним котом.

– Кошкой! – поправила его Ирина.

– Нет, котом, пока еще котом! – упрямо возразил Левитанский.

Поскольку животное и неудобно, и оскорбительно именовать «котом Полторастова», Юрий Давыдович придумал ему кличку – Маркус. Бог знает, какие резоны подвинули его к этакой заковыристости!

Дальше события развивались следующим, не вполне стандартным образом. В один из долгих вечеров, когда поэт по обыкновению сочинял за своим столом, в кабинете внезапно появился кот Маркус и с помощью загадочного движения головой, сопровождавшегося легким мяуканьем, пригласил хозяина на выход. Левитанский очень удивился такому странному поведению животного, но все-таки последовал за ним.

На кухне кот Маркус улегся на своей подстилке в плоской картонной коробке, и через несколько секунд из него выполз мелкий писклявый зверек, в котором Левитанский не без труда узнал новорожденного котенка.

Поэт опешил. Как это кот вдруг сумел разродиться потомством! Чудеса! Только он вернулся в комнату и уселся за стол, чтобы обдумать этот странный природный феномен, как в дверях вновь возник кот Маркус и вновь принялся производить пассы головой и туловищем, приглашая поэта на новый раунд деторождения, таким образом кот...

– Кошка, Юра! – взмолилась Ирина.

– Да, теперь уже кошка, теперь уже, пожалуй, кошка, хотя для меня, как ни странно, она все еще оставалась котом...

В течение часа вся эта история повторилась четыре раза, но Левитанскому так и не пришлось заняться акушерством, поскольку все происходило само собой. Последним почему-то появилось абсолютно голое малюсенькое существо, хотя до него вылуплялись вполне приемлемые зверьки черной масти, точь-в-точь в прашура, точнее говоря, в мать.

РЫЖИЙ КОТ СЕСТРЫ ХАРМСА

Ире Гринштейн

I

Однажды в застольный беседе, ну знаете – когда уже выпили, но еще не напились, поэт Юрий Левитанский рассказал вот такую историю...

В давние пятидесятые, нагрянув в первопрестольную из Иркутска и не имея еще своей московской квартиры, Левитанский поселился на литфондовской писательской даче, где до него жил известный литератор Полторастов. В один из смутных осенних дней Юрий Давыдович вдруг с удивлением обнаружил, что по двору мимо окон изредка прошныривал здоровенный черный кот...

– Кошка! – неожиданно поправила Левитанского его супруга Ирина.

– Да нет, кот, настоящий кот! – энергично возразил Юрий Давыдович. – Все так и говорили: «Кот Полторастова!»

Далее из разговоров с соседями выяснилось, что писатель Полторастов, отбывая с летних вакаций на зимние московские квартиры, бросил бедолагу-кота на произвол судьбы. Животное одичало до такой степени, что поселилось на дереве, с которого слезало очень неохотно, по-видимому, только в случае крайней голодной надобности.

Левитанский в силу своей поэтической сентиментальности и серждобольности решил кота подкормить. Вынося ему остатки своего не очень обильного довольства во двор, он с трудом выманивал

кане чая размокшие куски печенья и искренне верит, что может научить счастью существо с серым ежиком на голове; мне жаль и интеллигента в светлом плаще, а когда я поднимаю взгляд в небо, мне до смешного жаль того огромного, неведомого, одинокого, который зачем-то создал всех нас по своему подобию...

И тогда мне кажется, что всю жизнь я сижу на пустынном берегу моря в молитвенном облачении старого еврея, и ветер тихо играет кистями его, проданного внуком, белого талеса...

появилось не только в его лице, но во всей его фигуре. Боком, молча он скользнул за ствол сосны, пропал за сирневым кустом, а там уж на повороте дороги мелькнул его силуэт на велосипеде. Словом, он бежал...

Я не стала почему-то рассказывать Маринке об этой встрече. Оставшиеся два дня я старалась выйти из столовой без попутчиков и медленно шла по аллее, вглядываясь в просветы между деревьями – не мелькнет ли светлый плащ. Нет, он не приехал больше на своем велосипеде...

Я не стала ничего рассказывать Маринке, потому что она охальница, как и всякий талантливый детский писатель, и стала бы строить предположения, громко ржать и отпускать дурацкие замечания. Зачем?

Да, этот человек вел себя необычно, скажем жестче: неадекватно. Но кто из нас без странностей? И у кого чиста биография? И кто может поручиться за себя в дальнейшем?

(Правда, уже в Москве я слышала краем уха от знакомых психологов, что некий Лева Бушман, социолог-одиночка, некогда начинавший свою научную карьеру муляжом при Соломоне Яковлевиче, беззаветно преданный своему делу, – провел целое лето, скитаясь в лесах Подмосковья, в местах скопления творческой интеллигенции, ставя острые эксперименты в области неадекватных реакций среди людей художественных профессий, и собрал богатейший материал, на основе которого хочет сейчас провозгласить создание новой науки – соционики... Может быть, может быть...)

А еще я думаю о Косе. Что это было с ним, что? Что привязывало его к Татьяне-то Евсеевне? Ведь не деньги же – я тоже неплохо зарабатываю, Кося и у меня бы нужды не знал. Голос и у меня модуляциями не бедный. Так что же, что? И, знаете, думаю, – она, Любовь. Шлюховатая, конечно, подловатая, но она самая, сомневаться не приходится... И как задумаюсь – мне становится всех-всех жаль. И мрачного Кириллова, который безвинно тащит по жизни свой ужасный акцент, и Мишу с Русей, сочиняющих бодягу, и милую старую дуру Эмилию Кондратьевну, и Маринкиного мужа Ленечку, от которого она все время куда-то уезжает; мне жаль Косю, который болтается по жизни, как дерьмо в проруби, и Татьяну Евсеевну, которой не с кем поговорить о покойной маме, жаль психоаналитика Соломона Яковлевича, который ловит в ста-

и больше уже не решались говорить ни о литературе, ни о падении нравов, словно кто-то неведомый крепко снасмешничал над нашими беседами, показав цену их и суть...

... Я понимаю, грубо говоря – вам нужна развязка.

Да, я тоже встретила его. Дня за два до отъезда. Я не сразу его заметила, сначала увидела велосипед – он лежал на песке, на обочине аллеи. Потом я обратила внимание на человека в светлом плаще. Он крался за мной, перебегая от сосны к сосне, стыдливо показывая из-за ствола лицо и еще одну деталь своего тела, которую по причине моей близорукости вполне можно было принять за деталь данного дерева. Нет, правда, у него было вполне интеллигентное лицо, непонятно даже – зачем отвлекать внимание встречных дам с такого приличного лица на нечто противоположное по смыслу и назначению.

Да, это верно – почему-то сразу захотелось бежать сломя голову куда-нибудь прочь, но я сдержалась. Я подумала – когда Кося несколько месяцев моей жизни занимался, в сущности, тем же самым, я же не бежала, хотя и стоило убежать тотчас, как я поняла – чем он занимается.

Я остановилась и сказала ему громко: – Бахтина, если вы имеете в виду книгу «Творчество Франсуа Рабле и народная культура средневековья и Ренессанса», выпустило издательство «Худлит», а не «Просвещение»... Тут вы ошиблись.

Он судорожно застегнул штаны на все пуговицы и застыл в странной позе, точно собирался бежать.

– Кстати, у меня есть это издание. Могу обменять, если заинтересуетесь.

Он помолчал, подумал, помял пальцами сорванную ромашку и спросил тихо:

– Гумилев вас устроит, «Письма о русской поэзии»?

– Нет, знаете, Гумилева оставьте себе...

– А Мандельштам?! – спросил он неуверенно. – Полное собрание, правда, ксерокс.

– Мандельштам есть, спасибо. А вот Чарской у вас, случаем, не найдется, «Княжна Джаваха?»

– За кого вы меня принимаете?! – воскликнул он с легкой обидой. – Вы еще предположите, что я святочные журнальчики собираю.

– Ну это вы напрасно так категорично, – возразила я, – на Чарской не одно поколение выросло... Мне недавно попалось на глаза одно исследование, не помню только – в каком журнале...

В эту минуту в конце аллеи показались Эмилия Кондратьевна с Маринкой, и мой собеседник отпрянул, страшное замешательство

– Но тут Арончик пригласил ее на танец, – запел Миша, – он был для них тогда почти что иностранец... Слушайте, Кириллов, что у вас в голове? В голове у вас, извините, такой же акцент, что и во рту... Литература не помойка, чтобы сбрасывать в нее все дерьмо общества. Можете сколько угодно писать о расчлененных трупах, лучше от этого никто не станет, и радости от этого мало, ибо катарсиса – катарсиса нет!

– Уж не в вашем ли «библеизме» катарсис? – насмешливо спросил уязвленный Кириллов, – послушайте, как говорил один мой знакомый маркер...

Миша треснул по струнам и перебил Кириллова:

Тут подбежал к нему маркер известный Моня,
Об чей хребет разбили кий в кафе «Фанкони»
Побочный сын мадам Олежер, тети Эси...

– Прекратите ваши гнусные намеки! – сильно вскрикнул Кириллов. Лакки, потревоженный его возгласом, вскочил и зарычал.

– Господа, господа, – заволновался Руся, – такой прекрасный вечер, а вы о всяких гадостях... Радуйтесь природе, любите друг друга! Посмотрите, какое небо расстилает над нами Господь, как он показывает нам...

Эмилия Кондратьевна послушно задрала в небо крашеную пожилую башку и вдруг издала сдавленный вопль. Мы дружно подняли взоры. Да, вот этого я ни разу не корректировала: в небе, повыше сосен, висел огромный продолговатый предмет, напоминающий по форме банан или огурец. Он медленно проплывал над нами в жуткой тишине, в которой только перебрехивались псы деревни Глухово.

– Что это? Что?! – захныкала Эмилия Кондратьевна.

– Не пугайтесь, – сказал Маринка бодро. – Это аэростат. Я на таких летала в юности.

– Кой-черт аэростат! – взвизгнул Кириллов. – Это НЛО! Смотрите, смотрите, он качается! Остановился!!

– Мне дурно, – заплакала Эмилия Кондратьевна. – Боже мой, это знамение!

Лакки оглушительно залаял на незнакомый предмет в вышине, и тот, плавно покачиваясь, поплыл за верхушки сосен, стал уменьшаться, меркнуть и, наконец, пропал.

Стоит ли говорить, что до поздней ночи на террасе обсуждали странное явление. Был ли это глобальный оптический обман, НЛО или банальный аэростат, на чем настаивала Маринка, – не знаю... Но долго еще мы то и дело осторожно, искоса взглядывали на небо

– Теть Фира, теть Фир! – кричал он свое обычное. – Глубоков из МХАТа приезжал, нет? Таки взял?! А в синей папке вы показывали ему «Шизофрению»? Нет? У вас таки память, теть Фира, как – я знаю – что... Голова вам болит? А? Сердце вам болит?..

Повесив трубку автомата на рычаг, он вдруг задумчиво уставился на нее странным взглядом...

– Кириллов! – окликнула я. Я знаю, что ему приятно слышать лишний раз свою хорошую фамилию. – Кириллов, на что вы смотрите?

Он вздрогнул от неожиданности, оглянулся на меня и пробормотал:

– Я знаю? Кое-какие ассоциации...

...Тем же вечером все мы сидели на террасе, лениво поддерживая довольно хилую беседу. Миша потренькивал на гитаре, Руся задумчиво качался в плетенке, Кириллов молча бродил туда-сюда с сигаретой. Мы с Маринкой сидели на каменных перилах террасы и грызли семечки, купленные утром на станции Дорохово. У наших ног дремал Лакки.

Эмилия Кондратьевна работала. Она вообще могла работать в любых условиях. Сейчас она держала на толстых коленях ученическую тетрадку и что-то писала в ней, время от времени заглядывая в тощую книжку какого-то детского писателя.

– Замечательно! – воскликнула она вдруг, отрываясь от тетрадки с младенческой улыбкой. – Изумительно по стилю. Очень талантливый парень, этот Говорунков. И все так светло, ясно, наивно. Среди всей сегодняшней литературной грязи читаешь вдруг, – Эмилия Кондратьевна зачитала нараспев: – «Мама, – сказал я, – мне так нравится эта девочка в синем платье... По-моему, она должна нравиться всем мальчикам...»

Миша хлопнул по деке гитары ладонью и запел:

Три полудевочки, один роскошный мальчик,
Который ездил побираться в город Нальчик
И возвращался на машине марки «Форда»,
И шил костюмы, элехантны, как у лорда...

– Знаете что, Эмилия Кондратьевна, – сказал мрачный Кириллов со своим жутким акцентом, – обрыдли-таки ваши хорошие мальчики и невинные девочки. Вырастает-таки дерьмо. Наркоманы, проститутки, я знаю?.. Все летит к чертям – нравственность, идеи гуманизма, привязанность к Отчеству. Распад и гниль, и преклонение перед иностранным... Все это и надо отражать в литературе.

– А Бахтин не поступал еще? – спрашивает он мягким, каким-то пугливым голосом, – должен уже поступить по времени... Издательство? Кажется, «Просвещение»... Вы не заказывали?

Продащица, я смотрю, мало что о Бахтине слышала, лицо соответствующее, а этот молодой человек...

Но тут Маринка потащила меня из магазина волоком, потому что безбрежный восторг распирает ее, булькает и выходит через нос – она давилась и фыркала.

– Бахтин!! Бахти-ин!! – вопила она на весь автобус. – Ой, я не могу, это чудо! Это тема! Один интеллигент уселся на дороге! Издательство «Просвещение»! И кое-что еще, и кое-что другое!!

Писатели оборачивались на нее, но умеренно – за две недели они попривыкли к Маринке, да и то сказать – писатели народ сложный, у каждого своя биография...

Первым делом мы побили Лакки, который в наше отсутствие в знак протеста сделал кучу на письменном столе, прямо на черновик рассказа, прототипом героя которого он являлся.

– Сволочь!! – закричала Маринка с ненавистью и дала ему по морде. Лакки закрутил башкой и полез под кровать. – Сволочь! Я о нем рассказ нетленный пишу с большим будущим впереди, а он – взять и насрать на рукопись!

– Это неграмотно сказано, – заметила я машинально, хотя, признаться, люблю то, о чем еще ни один писатель не писал. – Так Акын скажет. А ты русский писатель.

– А как грамотно, как?! – вопила Маринка.

– Грамотно: «а он взял и насрал на рукопись».

Но Маринка меня не слышала – она как-то странно смотрела на Лакки, который опасливо и виновато высунул морду из-под кровати.

– Подожди-ка, – пробормотала она, – дай очки... – не оборачиваясь, она протянула руку, взяла наощупь протянутые мной очки и насобачила их на длинную морду пса.

– Смотри! – крикнула она. Я всмотрелась и оторопела: длинная интеллигентная морда Лакки в очках поразительно напоминала внешность нашего пикантного знакомца. Казалось, сейчас он откроет пасть и спросит пугливо: – А Бахтина не привозили?

В этот вечер поглазеть на Лакки в очках приходили все: Эмилия Кондратьевна, Миша с Русей, мрачный Кириллов.

– Это-таки тема, – бормотал Кириллов. – Это – цимис что за тема, – пока я не отняла очки, потому что без очков утомляюсь: у меня сильная близорукость.

... На следующее утро я застала Кириллова у телефона в вестибюле главного корпуса.

И вдруг я вспомнила, где видела такие белые шали, – в книжке одной, атеистической, я ее лет пять назад корректировала – там на картинке были изображены евреи в синагоге, и у каждого на плечах была шаль, с длинными полосами по краям.

И, знаете, – меня совсем не передернуло. Я поняла, что осталась единственной, кто будет хранить память о неизвестном дедушке.

Утром я купила билет на поезд до Москвы и на случай, если Кося придет искать меня, до отхода поезда пряталась в вокзальном туалете, о чем неоднократно читала у разнообразных писателей...

* * *

По средам литфондовый автобус возил нас в Старую Рузу. Набивалась в старый тарантас половина малеевских постояльцев. Знаете, в Рузе всегда какой-нибудь дефицит ухватишь – шампунь, например, бывает. Мы заперли Лакки в номере и минуты три стояли за дверью, слушая, как псина воет и рыдает. Маринка сказала решительно:

– Плевать. Я имею право распоряжаться собой, в конце концов, я тоже человек.

– Акын пожалуется, – напомнила я.

Номером ниже под нами жил классик казахской литературы, очень солидный человек – мы называли его условно «Акын». Он уже неоднократно жаловался дежурной по корпусу Люсе, что Лакки воет и лает во время творческого процесса. В ответ на жалобы мы совали в синий карман синюю пятерку, и жалоба как-то не доходила до администрации, глохла у Люси в кармане.

– Ей-богу, сегодня пожалуется, – повторила я, прислушиваясь к безобразным воплям избалованного пса.

– Дадим пятерку Люсе, – сказала Маринка.

– Может, лучше сразу дать ее Акыну? – спросила я...

... В Рузе мы прогулялись по сельмагам, зашли в «Детский мир», купили майку Сереге, Маринкиному сыну, потом заглянули в книжный – порыться на полках. Вдруг Маринка больно пнула меня локтем в спину, я обернулась, а у нее глаза просто горят бешеным восторгом. «Это он!! – сдвленно шепчет Маринка. – Прислушайся к разговору – охренеть можно!!»

Оборачиваюсь – да, молодой человек лет сорока, в очках, в светлом плаще, излишнем для теплой такой погоды, беседует, облокотясь на прилавок, с продавщицей:

И когда я это услышала, эту фразу, эту фразу, которую я корректировала сто раз у ста писателей, я вообще от хохота опустилась на пол телефонной кабины, я рыдала от смеха, я захлебывалась, я стонала, Господи, никогда еще я так не смеялась в жизни...

... А под утро я добрела до набережной, села на скамейку посреди пустынного пляжа и застыла. Море гудело, как... нет, не хочу, про все это уже было. Ветер выдувал тепло отовсюду, даже из-под мышек. Я околела и казалась себе скифской бабой, затерянной в степи. И тут я вспомнила, что у меня есть шаль. Не теплая, конечно, но хоть что-то. Я достала ее из бархатного чехла, при этом на колени мне вывалились какие-то ремешки, похожие на уздечки, с коробочками, я надела шаль на голову, закуталась вся и даже подвязала на шее уздечкой, чтобы ветер шаль не сорвал. Сидела, дремала, мерно покачиваясь от утреннего ветра, и смотрела на пустынный пляж.

Когда я открыла глаза, уже рассвело. Море было похоже на жидкую дрожашую финишь. На пустынном пляже бодрая старуха делала зарядку. Она только что вылезла из воды, взобралась по крутому бетонному гребню на цепко раскоряченных ногах и делала зарядку, да не обычную, а какую-то чудную, вроде китайской гимнастики у-шу. Старуха и была похожа на старого желтого китайца. Видно было, что она из тех людей, что до старости в спортивных рейтузах и с рюкзаками на спинах взбираются на Камчатские сопки. Из тех старух, что лет тридцать уже не едят мяса, рыбы, яиц, орехов, грибов, кофе, чая - потому что все это вредно. Из тех старух, которые завтракают горсткой сырого геркулеса, запаренного кипятком, а обедают куском вареной свеклы, ну и так далее. Из тех старух, которые носят с теорией могучей мочетерапии, по утрам опрокидывая стаканчик свежей собственной мочи. Словом, из тех.

Они действительно молодчаги и в девяносто лет свернутся вам в любую позу йоги, но говорить с ними почему-то совершенно не о чем, кроме как о йоге, голодании, клизмах и мочетерапии.

Да. А потом старуха обмоталась полотенцем и стала, суча ногами, стаскивать с себя мокрые трусы, чтобы сменить их на сухие. Полотенце съехало, обнажив старый морщинистый зад. Следовало деликатно отвернуться, а я смотрела на этот мятый мешочек старухинога зада, и вдруг страшная горячая жалость хлынула в мое горло: какое это, в сущности, издевательство - вся наша жизнь, думала я, и к чему зарядки, диеты, клизмы и мочетерапия, если все равно в конце концов пленительное человеческое тело превращается вот в это...

морды манекенов. В одной из витрин раскинули рукава распятые мужские рубашки, так, что хотелось вставить туда гармонию. Эта распашка пустых объятий пугала больше, чем мертвые улыбки манекенов.

И вдруг из переулка вышел странный, давно небритый человек, и, возможно, кому-то и страшным бы показался, особенно в синеватом свете витрин, но я не испугалась. В моих смешных обстоятельствах кто уже мог мне навредить? Убить, например, или еще что – нет, это уже была бы другая стилистика. А жизнь она, знаете, очень щепетильна в вопросах стиля, особенно, когда дело касается фарса.

И действительно человек подошел ко мне и спросил заботливым голосом:

– Извините, вам шаль не нужна? – и вытаскивает из чудного такого бархатного чехла с вышитым на нем подсвечником тонкой материи шаль-не шаль, а что-то вроде длинного широкого шарфа, белого, с кистями, с продольными черными полосами по краям. Видно сразу – благородная, красивая вещь. Что-то она мне сильно напомнила.

– Вы не волнуйтесь, это не краденое, – торопливо объяснил небритый. – Видите ли, у меня траур, дедушка скончался. Это от него осталось. Попробуйте – какая ткань, попробуйте. За четвертак я вам отдам. Вам же холодно без головного убора.

И хотя я не понимала – почему от дедушки осталась женская шаль и зачем ночью на улице продавать память о дедушке, я сказала:

– Ну, хорошо, четвертак – это недорого.

Он обрадовался, сунул мне бархатный чехол с шалью и, пока я доставала деньги, говорил торопливо.

– Понимаете, у меня жена... она и так раздражена, что я не бреюсь семь дней по закону, а тут еще этот дедов... шаль... Ну, до скандала, до развода – иди, говорит, выбрасывай, куда хочешь, первому встречному продай этот наряд антихриста...

– Не нервничайте, – сказала я, – все народы должны в дружбе жить...

Он так радовался, пожал мне обе руки и даже вывел к центральному телеграфу, потому что мне необходимо было с папой поговорить. Но полноценного разговора не получилось, даже денег жалко: когда папа снял трубку, я вдруг захохотала и не могла ничего сказать. Папа слушал минуты три мой хохот и взвизгивания и наконец сказал дрогнувшим голосом:

– Доченька... Доча, вернись, я все прощу.

спортивный стиль. Да... Снимайте, снимайте, говорит, свое пальтишко...

Я села в уголок дивана, а она, Татьяна Евсеевна, присаживается рядом, тесно, подает мне фотографии какие-то и говорит:

– Это моя мама... Она умерла полгода назад... Ее все, все любили...

И так она доверительно, по-сестрински касается меня плечом, и я так тупо рассматриваю чье-то лицо на фотографии и – ну совсем уже ничего не понимаю – какая мама? при чем тут мама?!

– Это мама в молодости, в Кисловодске, – продолжает Татьяна Евсеевна, и я чувствую завораживающую глубину и магию этого голоса, – с Шуриком на руках. Шурик – это мой брат, он известный литературовед.

Она курит одну сигарету за другой, говорит о маме – и знаете, очень искренне говорит глубокоим печальным голосом, и я понимаю, что, в принципе, она могла любить свою маму. Могла? Ведь могла? Но... помилуйте, причем тут мама!

Кося между тем совершенно пригрелся, прихорошился, замурлыкал песенку, ушел, шаркая тапочками, в кухню.

– Таня, – позвал он оттуда. – А покушать есть чего?

– Возьми гречневой каши в кастрюле, – отозвалась Татьяна Евсеевна.

– А где она?

– Господи, ничего никогда не найдет сам, – вздохнула она, поднялась и ушла в кухню. Я все еще держала в руках фотографию с какой-то пальмой.

– Ну вот же, вот она стоит, – донеслось из кухни раздраженное, – сыр возьми. Чего на ночь-то жрать, не понимаю. Завтра опять будешь ныть, что печень болит.

– Слушай, надо бы завтра яиц купить. Да, забыл: Мазуцкий звонил насчет халтуры. Три детских садика заказывают выпускные фотографии.

Я положила карточки на диван, тихо встала, на цыпочках прошла в темный коридор, нащупав замок, быстро повернула его и вышла вон, бесшумно притворив за собой дверь.

Минут десять я бежала наугад, не понимая – куда, словно за мной гнались. Я петляла по улицам, забегала в переулки, словом, всячески заметала следы.

Наконец я выбежала на какую-то узкую улицу средневековой архитектуры и остановилась: все нижние этажи зданий занимали витрины магазинов. В полном безлюдье раскачивался на ветру повешенный на цепях кованый сапог, бледно светились глумливые

Она круто повернулась и пошла, сильно стуча деревянными сабо, в комнаты. Кося ткнул меня пятерней в спину и, споткнувшись на пороге, я тоже влетела в квартиру, после чего дверь захлопнулась. Здесь, в коридоре, Кося, как-то сразу уgomонившись, снял куртку, переобулся в домашние тапочки и зашлепал следом за Татьяной Евсеевной. Кажется, обо мне они подзабыли. Я потопталась в коридоре и тоже пошла в столовую. Там оказалось очень уютно, по-видимому, у Татьяны Евсеевны был тонкий вкус понимающей в жизни, близкой к климаксу дамы. И я разглядела ее наконец, очень интересная женщина была Татьяна Евсеевна: крошечная, на коротковатых ногах, с чудовищным носом и прекрасными черными глазами – она завораживала своим дивным профессиональным контральто.

– Идио-от, – простонала она опять, и я ощутила почти зримо, почти увидела, как звук этого низкого сильного голоса захлестнул арканом Косину шею и потянул к себе, как тянут на поводке упирающуюся собаку. – Что ты хотел – чтобы люди тебя понимали? Я растеряла всех, я смирилась с людским злом, я никому не верю, я всегда говорила тебе... – на полуслове она пошла в соседнюю комнату, может быть, в спальню и через минуту вернулась с пачкой сигарет и с какими-то фотографиями. Странно, как умудрялась она дома ходить на таких высоченных сабо... Зачем?

– Но Таня? – Кося умоляюще протянул к ней руки. – Скажи, ответь ради всего святого... Ведь мы с ним были друзьями...

– Кося! – Татьяна Евсеевна тем же обкатанным театральным жестом протянула руки к нему, и получилась классическая мизансцена, и от того, что на ногах ее были сабо на толстых подошвах, казалось, что стоит она на котурнах и играет для меня какой-то очень знакомый спектакль. Для меня лично. – Кося! Никто нам не нужен... Мы отдохнем... Милый, мы отдохнем...

И я знаю, что уже раз пять корректировала каждую эту фразу, но в экстремальной такой ситуации не могу вспомнить – у какого писателя.

– Снимайте, снимайте свое пальтишко, – вдруг обратилась она ко мне.

Обдуманно употребила уменьшительный суффикс «к», для выражения презрения. (Когда я догадалась – что она вытворляет своим голосом, я стала понимать ее как профессионал профессионала.)

Пальто у меня, конечно... Я его в «Детском мире» купила – клетчатая такая курточка до колен, на бирке было написано: «Куртка девочк.», вместо пуговиц палочки деревянные, на такие шеколды дачные сортиры запираются. Просто мне идет

И тут с горячей сковородкой возвращается из кухни веселенький Кося и еще успевает в остывающей тишине рассказать два еврейских анекдота с великолепным – он, все-таки, очень артистичен был – акцентом.

– А что, собственно, случилось? – наконец, интересуется он.

– Кося, – спрашиваю я деревянными губами, – а ты с Татьяной Евсеевной договорился, что ли, что я тут с тобой маленько поживу? Она тебе отпуск дала?

Тогда Кося переводит взгляд на этого своего хм... друга – жаль, что забыла, как его зовут, – и с ледяным бешенством цедит:

– Ну, ты... какого... в чужую жизнь... – хватает за грудки этого милого, как впоследствии я поняла, человека, и поскольку сковорода ему мешает, он бросает ее на пол, и отбивные разлетаются по щербатому некрашеному полу. Кося и друг его, сгрудившись, топчутся и матерятся, скрипя зубами.

Вся эта интермедия совершенно выпадала из моей тихой жизни, с желтыми листами корректуры, спокойными вечерами со строгим папой, и стало вдруг очевидным, что семейная моя жизнь, хрупкая, как лист мацы, хрустнула и раскрошилась, и затоптана.

В это время Косин друг поскользнулся на отбивной, рухнул, и Кося сел на него сверху и закрутил ему руки за спину.

Я встала, надела куртку и пошла к двери.

– Стой, Анна! – заорал Кося, сидя верхом на этом милом человеке. – Ты что, ты веришь этому мудаку?!

Он схватил меня сзади за воротник, и я задохнулась.

– Едем?! – орал он, сильно меня потряхивая. – Едем к Татьяне Евсеевне! Только она расскажет тебе, как я страдал!

Он потащил меня в холодную хлябь весеннего дождя, встряхивая по пути и матерясь в адрес своего... ну, давайте, все-таки, я буду называть его другом...

Потом он впихнул меня в подвернувшееся такси, ввалился рядом, и мы ехали зачем-то к Татьяне Евсеевне – что-то там выяснять, хотя все уже мне было ясно.

Татьяна Евсеевна открыла дверь рывком, словно стояла часа два в темном коридоре, прикинув к глазу.

– Идиот! – сказала она Косе глубоким звучным голосом, совсем не обращая на меня внимания. – Чего ты приперся среди ночи? Ты истерзал мое сердце! Ты погубил мою жизнь!

И у меня мелькнула мысль, что Татьяна Евсеевна, должно быть, не только последние известия читает по радио, но и в радиоспектаклях, пожалуй, играет.

– Таня... – вибрируя всем телом, проговорил враз обмякший Кося. – Мне передали, Таня...

Маринка, человек просветленный до циничности, как и всякий талантливый детский писатель, говорит мне: езжай. Там разберешься. Там увидишь, кто держит его за... его долбленный челн.

И вот я лечу и прилетаю в Таллинн, прекрасный туманный город, которого я просто не вижу, потому что седеющие Косины кудри заслоняют от меня ратушу, соборы, черепичные крыши и прочие виды.

Кося везет меня в свою комнатенку в дощатом коммунальном доме на окраине города, очень суетится и успевает по пути рассказать чудовищное количество анекдотов. Я натужно улыбаюсь сизыми губами, потому что ситуация мне совершенно не ясна, и тошно мне не столько от того, что не могу понять – замужем ли я, сколько от того, что не могу понять – разведен ли Кося. Вот такое восточное воспитание дал мне мой страшный папа, по дяде – перс.

В дощатом домике с тремя соседями и холодным туалетом события и вовсе разворачиваются в сюрреалистической плоскости. Представив меня соседям как двоюродную сестренку из Киева, Кося жарит на общей кухне свиные отбивные, одновременно весело рассказывая мне, сколько денег он выручил за прошедший месяц, насобирав в соседнем лесу пустых бутылок... Кто-то входит в кухню, толчется у столов, уходит – Кося комментирует все очень смешно:

– Мой сосед – алкоголик, – шепчет Кося. – Вообще, он голубь, но когда напьется, воркует сильно, через стену слышно...

Чахлые балтийские сумерки долго колеблются за окном, не в состоянии сгуститься в ночь, и тут является с бутылкой коньяка довольно трезвый еще актер, Косин друг – забыла, как его звали. И вот, когда слегка выпив, Кося выбежал из комнаты – перевернуть на сковороде отбивные, друг его – забыла, как его звали, вдруг говорит мне грустным мягким голосом:

– Аня, мне кажется, вы такой искренний симпатичный человек, неужели вы не видите – с кем связались?

– Вы пьяны, – с достоинством бедной швеи отвечаю я на это, – и не смейте говорить о Косе гадости.

– Я, конечно, пьян, – подтверждает он грустно, – но вам от этого, увь, не легче.

– Кося мой муж! – гордо говорю я и с тоской чувствую, что все это я уже вычитывала, и не у одного писателя, а он – вот забыла, как его звали! – поморщился так досадливо и говорит:

– Да какой там муж! Он прекрасно живет все это время с Татьяной Евсеевной. Они очень друг другу подходят. Они и расходились, чтобы вот эту комнату оттяпать.

бель переставим, все заново начнем...» – и, кажется, он совсем не чувствует, что это было уже у одного писателя.

И лежит он целыми днями на диване навзничь и смотрит перед собой большими мокрыми глазами. И рассказывает мне по ночам, как она изменяла ему, бедному, и как он, бедный, ей изменял! А работает Татьяна Евсеевна диктором на радио и обладает глубоким голосом с богатейшими модуляциями.

– В чем дело, Кося, – говорю я тогда с небывалым мужеством. – Ты, конечно, сделал мне предложение с цветами и перед папой, вся столица знает, конечно, что ты мой муж, но если радиный голос Татьяны Евсеевны зовет тебя так трубно, и ты внимаешь ему за тыщу километров, так вали себе в Таллинн, хотя я ничего не понимаю и все смешалось в моих представлениях о мужчине.

Кося садится на диване и говорит мне:

– Анна! Ты прямолинейна, как гвоздь! Неужели ты не понимаешь, как я тебя люблю! Но у Татьяны Евсеевны может начаться обострение гастрита, у нее может сесть голос, а голос – это ее богатство. Мне надо поехать и разобраться в своих чувствах. Мне нужно время, дай мне время!

А я слушаю его и вспоминаю, что корректировала все это у одного писателя.

Словом, покупаю я Косе билет до Таллинна, покупаю ему носки и трусы и провожаю в аэропорт, как жена провожает мужа, хотя, повторяю, все, что я знала и понимала в жизни, смешалось и рассыпалось.

И вот Кося возвращается в Таллинн и начинает звонить мне, как сумасшедший, каждый день. Как ему плохо, бедному, и как там я, и с кем я без него, бедного... Кося, кричу я, на какие деньги ты звонишь? Не волнуйся, говорит, мне Татьяна Евсеевна одолжила. Как же так, Кося, кричу я, потому что очень плохая слышимость, – это ж Бог знает что, в смысле этики. С чего мы возвращать будем? С моей корректорской зарплаты? Анна, кричит он в ответ, ты прямолинейна, как гвоздь!..

Ну, а я хую и страшною настолько, что впервые в жизни пропускаю в гранках одной научно-популярной книжки ужасную опечатку, которую прежде ни при каких обстоятельствах ни за что бы не пропустила: я прозевала подпись под фотографией: «Дубовый член первобытного человека», в то время как подпись должна была быть «долбленный челн первобытного человека». В общем, такой скандал, что и передать трудно. Правда, на летучке у главного меня многие редакторы защищали. Упоминалось, что фотография долбленного челна была некачественной, размытой и что следует принять во внимание неприятности в моей личной жизни.

народ не видел. Потом целый год жалела, что всего один мешок взяла – ее муж Ленечка и сын Серега как семечки ту мацу грызли. Да и Лакки, английский сеттер, – кинешь ему кусок – он схватит и хрустит, как заправский еврей.

Три мешка приобрел один писатель – почвенник, очень известный, я даже фамилии не привожу. Насчет мацы я не злорадствую: почвенник был язвенник, а маца при подобных заболеваниях гораздо, гораздо полезнее хлеба. Почвенник приехал на своем «вольво» и долго торговался, характерно окая.

И вот – надо же какие совпадения бывают в жизни: в этот день в который раз повторяли многосерийный фильм по роману этого писателя. Так что он торговался, одним глазом посматривая на экран, где ведущие советские актеры окали точь-в-точь, как автор романа.

– Почему это у вас маца по шесть рублей, а в Большой Хоральной синагоге по пять пятьдесят? Печати не видать.

– Какой еще печати? – темнея персидскими глазами, спрашивает мой папа.

– Это как же вы не знаете? – говорит укоризненно писатель-почвенник на фоне грудной протяжной песни из фильма. – Печать главного раввина, о том, что сия маца кошерна.

А папа к тому времени так приноровился торговаться, что ему палец в рот не клади.

– Знаете что, – говорит он, – тут уж либо-либо. У них кошер, у нас качество.

Даже соседка, Изабелла Федоровна, на что уж женщина непреклонная – и та, крепилась-крепилась, да не выдержала, купила мешок.

– Я, – говорит она папе, – верю вам, как брату, Василий Ибрагимович, вашу мацу я буду есть, а ихнюю – в рот не возьму. Всем известно – чего они в свою мацу добавляют...

В общем, замечательно мы расторговались. Два месяца моя жизнь была посвящена Косе и маце, маце и Косе. А это очень много душевных сил забирает. Я вообще, когда люблю, растворяюсь без остатка в любимом человеке. Впрочем, про это было уже у одного писателя.

Ну, и вот. Проходит Пасха, и наша, и та самая, и начинают Косе лететь письма от бывшей супруги Татьяны Евсеевны. На Главпочтамт, до востребования. Теперь вам встречный вопрос: договорились они писать друг другу, что ли? Ну, ладно, получаешь письма, так помалкивай, да? А он мне их читает, и слеза скатывается с его кудрявой ресницы и бежит по крупному его блестящему носу. «Вернись, Кося, милый, – пишет Татьяна Евсеевна, – мы ме-

шено за мною ухаживать. Ну, бешено! В тот год Кося приехал из Таллинна подработать на маце. Он, будучи артистичным человеком без профессии, каждый год ездил куда-нибудь на заработки. В восемьдесят третьем, например, мидий собирал на Белом море, а также отлавливал морских звезд, высушивал и продавал оптом в киоски «Союзпечать», а там звезды шли как сувениры на подставке с надписью: «Привет с Белого моря!». И неплохо заработал.

Ну, а в тот год он приехал подработать на маце. Его шурин станок держал, подпольно, конечно, где-то в подвале в Марьиной роще. Бумажный мешок – шесть рублей. И, знаете, довольно большой мешок.

И вот Кося работает на маце и одновременно бешено за мною ухаживает. Цветы, конфеты, прогулки по городу – деться же, разумеется, некуда: дома папа, перс по дяде. И Кося без конца рассказывает свою безумную жизнь в городе Таллинне с разведенной женой Татьяной Евсеевной. Как она изменяла ему, бедному! Как он, бедный, ей изменял! И как, в конце концов, не выдержав, ушел от нее в дощатую коммуналку с холодным туалетом на краю города. В общем, в этом месте он делает мне предложение. Понимаете? Приходит ко мне домой, с цветами, и просит у папы моей руки.

– А ноги? – спрашивает папа с восточной подозрительностью. Словом, примчалась Маринка на такси, распили мы бутылочку коньяка, папа немного всплакнул, потому что растил меня не для Коси, а для своих преклонных лет. Но куда денешься...

Между прочим, Кося хотел немедленно расписаться, но тут выяснилось, что в городе Таллинне он забыл нечаянно свидетельство о разводе с Татьяной Евсеевной, а без этого свидетельства нас отказались расписать. Неважно, сказал Кося, со временем постепенно распишемся. Главное, чтоб любовь была в сердце.

И хотя, честно говоря, я это корректировала уже у какого-то писателя, обаяние Косиной улыбки сильно освежало иные его фразы...

В общем, Кося переехал к нам с папой и перевез свою долю мацы – мешков двадцать, потому что к тому времени поссорился с шурином, хотя на станке продолжал еще работать.

И такая замечательная продукция у них шла, имею в виду мацу: тонкая, хрустящая, поджаристая – что тебе в суп, что с молоком, что с чаем – просто прелесть!

Ну, два мешка купили мы с папой – маца неожиданно прилась папе по вкусу, он ее в суп крошил. Мешок купила Марина, по всему городу везла его в метро до конечной своей, Красногвардейской. Дай, говорит, газеткой только прикрою, чтоб

– Ошибка, девочки, ошибка! – торжественно поднимал палец Соломон Яковлевич. – Внимание! Вы вку-ша-ете вместе с ним! А это сближает...

– А как насчет белья?– выкрикнули рядом со мной.

– Нет-нет-нет! – с испуганным выражением на лице воскликнул Соломон Яковлевич. – Сегодня этот вопрос мы затрагивать не будем. Это огромная важная тема! Работе с трусами мы посвятим большое занятие... А сейчас внимание! Наш сегодняшний урок мы посвящаем поведению в гардеробе. Итак! Мужчина подает вам пальто. Муляж номер два, подавайте даме пальто... Ирочка, не оглядывайтесь, не надо суетиться, он должен поднести пальто к вам тогда, когда вы опустили руки. Это его проблема. Поднес. Муляж номер два, поднес! Небрежно, Ира, небрежно и легко опустили правую руку в рукав. Не оглядывайтесь! Не задирайте левый локоть, вы не кузнечик. Он опустит рукав ниже и поймает вашу руку, это его проблема. Так! Пальто надето. Чуть отклонилась назад, к его лицу, дать на секунду вдохнуть аромат французских духов, и! пошла, Ирочка, пошла вперед, не оглядываясь, он догонит, это его проблема! Муляж! Что вы стоите, как манекен, следуйте за дамой... Ира – нога от бедра, пошла нога от бедра. Вспомнили пятикопеечную монету.

В общем, я не стала дожидаться большого занятия, посвященного работе с трусами, потому что к моей душевной травме работа с трусами если и имела какое-то отношение, то очень, очень косвенное...

И не стала пересказывать Маринке про пятикопеечную монету. Не потому что – жалко. Просто по натуре я – пессимист и знаю, что если уж нет царственной женской осанки, то хоть рубль вставляй, ничего не поможет...

Я все это задним числом рассказываю, так сказать, на фоне тех же декораций – апрель, тепло, огромный сиреневый куст у ворот аллеи. Впрочем, и про это было уже у какого-то писателя...

...С Косей я познакомилась, когда ему не за пятьдесят было, а под. Волосы его седоватые очень эффектно вились, знаете – перец с солью... Бабы под Косю валились снопами. У нас в роддомах очереди большие на аборт, так вот все от Коси. Он очень артистичен был и рассказывал всякие байки из своей жизни так складно, что, бывало, слушаешь его, как щегла: все время новые коленца.

А у меня папа, знаете, по дяде – перс. Подозрительный, властный, деспотичный, и чтоб в девять вечера – дома была. А я же взрослая баба, психологическая усталость накапливается, то, се... И тут появляется Кося из города Таллинна и начинает просто бе-

до того как почистить зубы, вы! Берете пятикопеечную монету и вставляете между ягодицами. Далее! Не роняя монеты, с напряженными ягодицами, подтянутым животом и расправленными плечами и грудью, вы умываетесь, чистите зубы, варите кофе...

Робкая рука тянулась вверх: – С монетой весь день ходить?

– Нет, конечно, нет, – снисходительно усмехался Соломон Яковлевич. – Это вам не по силам. Вы – стоя! – не снимая напряжения ягодиц, с расправленной грудью допиваете кофе, аккуратно вынимаете монету и начинаете свой творческий день. Но осанка – царственная женская осанка, остается...

Возле меня сидело угрюмое юное существо – серый ежик на голове, серьга в одном ухе, – конспектирующее каждое слово блистательного психоаналитика. Существо волновалось. Оно хотело знать, раз и навсегда: как насчет белья?

– А как насчет белья? – с тихим упорством врывалось существо в каждую паузу. Но Соломон Яковлевич то ли глуховат был, то ли не терпел, когда прерывали его монолог, – обходил жгучий вопрос. Существо возле меня ерзало и поскребывало ручкой в сером ежике на голове.

На занятия допущены были трое мужчин. Они служили муляжами. Так и назывались: муляж номер один, муляж номер три. Как правило, подрабатывающие студенты. За день работы они получали 12 рублей.

– Девочки, внимание! – начал занятия Соломон Яковлевич. – К вам на улице пристаёт мужчина. Так, муляж номер два, начинайте приставать к девушке. Да двигайтесь поживей, вам за это платят! Девочки, быстро вспоминаем технику отшивания, мы проходили это на прошлых занятиях.

В коротеньком перерыве все пили чай с печеньем за счет кооператива. Соломон Яковлевич опускал в стакан печенье углом, угол набухал, отваливался, и Соломон Яковлевич долго гонялся ложкой за лохматыми кусками, и только по этому видно было, что он уже очень пожилой человек.

– Девочки, слушайте старого Соломона Яковлевича, который только из любви к вам взялся вести эти занятия, – говорил он, вылавливая ложкой кусок печенья. – Над мужчиной надо работать всю жизнь. Чтобы из поросенка воспитать мужчину, нужно потратить годы и годы. Девочки, милые, поверьте старому Соломону Яковлевичу, он знает все, сам был поросенком.

– Девочки, внимание! Вот он пришел домой, с работы, голодный. Что вы делаете?

На едином страстном выдохе девочки выпевали: – Кормлю-уу!

своего мужа Леночки. Как и все хорошие детские писатели, Маринка – человек, просветленный до циничности.

– Познакомилась с вашим... Эмилия Кондратьевна! – весело крикнула она, повергая в оторопь сидельцев за окрестными столами. – Он думал, что я засмущаюсь, как вы, и обращусь в бегство, да не на ту попал!

Она с аппетитом взялась за свою котлету и продолжала с полным ртом:

– Я ему тут же принялась рассказывать, как осатаневшие студенты нашего художественного училища на «картошке» вырезали из поленьев чудовищных размеров фаллосы и развлекались, гоняясь друг за другом и строя мизансцены в духе «Декамерона»... Когда студенты уехали, – рассказывала я ему уже в убегающую спину, – на полях остались разбросанные всюду, черные от дождей фаллосы, похожие на посеянные зубья дракона из греческого мифа о Персее...

– Зачем же ты помешала его скромным удовольствиям? – строго спросил Миша.

– Фу-у, девочки... – поморщилась Эмилия Кондратьевна. – За столом-то... Он убежал?

– Да, он пуглив, как лесная серна! – ответила Маринка, доедая ужин.

Миша заржал и надкусил огурец, а Кириллов пробормотал с акцентом: – Ну, имеем неплохое развитие темы...

Маринка подмигнула мне и сказала: – Это, пожалуй, покруче, чем «Школа женского обаяния»... – что было большим с ее стороны свинством, потому что именно она устроила меня посещать эту самую школу после моей душевной травмы, о которой я задним числом расскажу...

– Проветрись, – сказала Маринка, вручая абонемент, – может, научишься чему путному, – хотя по глазам ее было заметно, что она сильно сомневается в моих способностях. – Это курс лекций одного мощного кооператива психоаналитиков, психоэнергетиков, сексопатологов и патологоанатомов. Очень ушлые ребята.

И я пошла в «Школу женского обаяния». Набилось на курс всякого женского отброса – так, шелуха картофельная... Ну, и я среди них. Читал курс старый психоаналитик Соломон Яковлевич.

– Девочки, внимание! Вы просыпаетесь! – торжественно восклицал Соломон Яковлевич. – Что вы делаете первым делом?

Загубленные жизнью девочки тянули робким нестройным хором: – Зарядку?

Соломон Яковлевич отмахивался: – Можно, но необязательно. Внимание, девочки! Вы проснулись! И! До! Умывания, завтрака,

жется, что это я уже корректировала у какого-то писателя. Профессионально... Ничего не подделасшь.

В Малеевку мне Маринка достала путевку. Собственно, это и не путевка была, а так, курсовка, оплаченное питание. Просто в номере оказался лишний диван. Маринка приехала по путевке, обнаружила напрасно пустующий диван, увидела мощные сосны за окном и тем же вечером вызвонила меня из Москвы.

– Здесь сосны, здесь бильярд! – весело орала она в трубку. – Приезжай, тебе полезно после травмы!

И я поддалась... Знаете, после моей душевной травмы... но о ней я задним числом расскажу. В общем, утренней Бородинской электричкой с Белорусского до Дорохова, а там малеевский автобус ждет. И – ах, этот воздух, эти леса... Впрочем, это было уже у какого-то писателя.

Дело еще в том, что я помогала Маринке укрывать от администрации Лакки. Он боялся одиночества в номере, выл и когтил лапами паркет. Мы ходили в столовую по очереди, чтобы Лакки не чувствовал себя таким одиноким. А часов в шесть утра этот пес выволакивал меня на оправку и, одуревая от свежего воздуха, тащил волоком по просекам, задирая то одну, то другую заднюю лапу, похожую на мохнатое весло.

В ту неделю Маринка заканчивала рассказ для детей, которому одним известным писателем было еще по черновику предсказано большое будущее. Сюжет был прост, для детей всегда простота нужна. Собака. Всю жизнь прожила в трехкомнатной квартире, три раза в день ожидая, что на нее наденут ошейник с поводком и выведут по нужде. Вдруг хозяйева купили дачу, в Уваровке. Собаку вывезли. Совершенно обалдевшая от воли, простора и счастья, она гоняла по огромному участку, но, когда захотела справить нужду, принесла хозяину в зубах ошейник с поводком. Иначе она не могла. Конечно, прообразом героя был Лакки, английский сеттер – чудная интеллигентная морда. Глубинные ассоциации рассказа: вот так и все мы. Без поводка не можем. Маринка всегда писала ослепительно просто, но с мощными глубинными ассоциациями...

Итак, мы с Маринкой и с Лакки, английским сеттером, престарелая критик детской литературы Эмилия Кондратьевна, девушка и тонкая душа, соавторы Миша и Руся и мрачный Кириллов с акцентом – действующие лица этой... ну, скажем, интермедии... Апрель, тепло, огромный сиреневый куст у поворота аллеи...

Второй на этого странного человека напала Маринка. Она опаздывала к ужину – веселая, румяная, в жестком большом свитере

передав в процессе воспитания невинному русскому мальчику свой ужасающий жмеринский акцент. Из-за этого акцента в литературных кругах к Кириллову относились с недоверием. И он мог сотни раз рассказывать, что тетя Фира его только воспитала, но все равно у Кириллова была трагическая судьба: его встречали по открытому славянскому лицу, а провожали по акценту...

...После ужина мы собирались обычно на террасе перед столовой, темнело, зажигались тоскливые фонари, и сосны страшно стояли черной стеной вдоль центральной аллеи...

– Я растерялась, знаете, крикнула: «Дурак! Безобразие!» И помчалась, как сумасшедшая, даже сон пропал, пришлось сесть за машинку и, не поверите! – отстукала до ужина пятнадцать страниц. Очень плодотворно поработала...

Миша треснул пятерней по струнам гитары и запел:

Руц-туц-перевертуц: бабушка здорова,
Руц-туц-перевертуц: кушает компот,
Руц-туц-перевертуц: и мечтает снова,
Руц-туц-перевертуц: пережить налет!

– Наверное, он страшно одинок, – задумчиво проговорил Руся, качаясь в плетенке.

Миша заржал коротко и сказал:

– Я думаю!

Кириллов молчал. У него всегда было такое лицо, точно все плохое, о чем ему приходилось слышать, он давно предсказал в какой-нибудь своей пьесе.

– Интеллигентный эксгибиционист... – саркастически проговорил он. – Это-таки интересно. Это – тема... – хмыкнул, почесал щеку и протянул со своим ужасным акцентом: – эт-то-таки тема...

Миша опять ударил по струнам гитары и запел оперным речитативом:

А-дин интеллигент уселся на дороге
И стал на солнце греть свои большие ноги.
И! Кое-что еще. И! Кое-что другое,
О чем не говорят, чего не учат в школе...

– Фу-у, мальчик! – укоризненно протянула Эмилия Кондратьевна.

...А я вообще ни при чем была среди них. Я по профессии корректор. Знаете, напряженная, очень вредная работа. Вкус к жизни отбивает. Абсолютно неинтересно, например, с людьми иметь дело. Разные ситуации, там, слова, чувства... Все время ка-

...Кроме Эмилии Кондратьевны, детского критика, сидели еще за нашим столом Миша и Руся, такая, ну, пара, что-ли, они работали вместе: писали прозу, одну на двоих, как братья Вайнеры или братья Стругацкие, только Миша и Руся не братьями считались, а просто – соавторами. Миша грубоват был и бряцал на обшарпанной гитаре довольно симпатичные скабрезные песенки времен сельскохозяйственного студенчества семидесятых годов. Томный хрупкий Руся при нем находился и очень нервничал, когда, бывало, Миша на литфондовском автобусе уедет в Дорохово за прыжниками и опоздает к обеду.

Маринка считала, что они, конечно, спят, но она не злословила, потому что неизменно добавляла при этом:

– Ну, и на здоровье, литературе ведь это не мешает...

Я как раз не думаю, чтоб они спали – к ним, как ни постучишь, Руся на машинке щелкает, а Миша мечется по комнате и диктует. То есть, может, они и правда только соавторами были, но зачем для этого один номер на двоих снимать?

Миша и Руся работали по-крупному, в смысле стиля. Называлось это «библеизм», то есть имелся в виду стиль, в каком Библия написана. Например, один из Миши-Русиных рассказов начинался так: «И пришли они к женщине этой. И было это в седьмой день, воскресенье. При них выпить было, и много желали они поселиться. Но дверь эта женщина не отворяла. И возопил тогда Вася: «Откроешь ли ты, блядь, в светлое воскресенье Господне?!»

Справа у окна сидел мрачный Кириллов, драматург. Маринка говорила, что никто его не ставит, но в определенных кругах очень ценят, он гонит «чернуху», жутко талантливую, куда Петрушевской! Кириллова вот-вот должны были начать ставить, ведь в литературе все давно переломилось, поэтому Кириллов сидел месяцами в Доме творчества писателей, «Малеевке», и гнал «чернуху».

Каждый день он отстаивал очередь к автомату в вестибюле главного корпуса и громко кричал с трубку: «Теть Фира! Теть Фир! Если приедет Глубоков из МХАТа, дайте уже ему пьесу «Бардак» в красной папке! Да на ней прямо сверху написано черным фломастером: «Бардак»! Теть Фир! Не ту красную папку, что на этажерке, не спутайте. В той две одноактовки: «Расчлененный труп» и «Главный гинеколог». Не спутайте. Та красная, которая таки именно та, лежит в верхнем ящике письменного стола...»

Маринка говорила, что у Кириллова трагическая судьба. Не в том смысле трагическая, что младенцем он остался сиротой, это еще полбеды, а в том смысле, что воспитала его соседка тетя Фира,

«ОДИН ИНТЕЛЛИГЕНТ УСЕЛСЯ НА ДОРОГЕ...»

М. Москвиной

Говорили, что на центральной аллее появилось новое лицо – человек с велосипедом...

Подозревали, что приезжает он из деревни, то ли из Глухова, то ли из той, что за оврагом, – но выражением лица обладает явно не деревенским, а городским, да и выше бери – гуманитарным...

И вот, обладая таким-то выражением лица, он приезжает на велосипеде, сомнамбулически крутя педалями, – в светлом длинном плаще, излишнем для теплой такой погоды, застегнутом, впрочем, только на три верхние пуговицы, и, прислонив велосипед к сосне, подстерегает на аллее одиноких дам, удовлетворенно бредущих из столовой в корпуса...

Первой наткнулась на него Эмилия Кондратьевна. Могучие малеевские сосны, светясь перламутровыми стволами, звали к вдохновенному творческому труду, но Эмилия Кондратьевна, хоть и заправила с утра в машинку чистый лист и даже страницу пронумеровала – 63-ю, тащилась после обеда в номер, поспать.

Она брела к нашему корпусу «Б», мурлыкая свое любимое: «Послеполуденный отдых фавна»...

Кстати, о фавне: этот мерзавец стоял за деревом в светлом плаще, предусмотрительно застегнутом лишь на верхние пуговицы. И такое у него утонченное лицо, рассказывала нам, бурно дыша, возмущенная Эмилия Кондратьевна, – и очки, очки! – что в голову не приходит опустить взор!

Микроавтобус Илья шел привычным ночным маршрутом. В привычных местах ждали люди, садились, здоровались – «шалом, как дела, как здоровье, слава Богу, порядок...»

Илья вспомнил:

«Вы можете сразу заказать обратный билет». – «Не надо».

Илье стало не по себе. Еще один пассажир...

Марина отколола кипу, положила себе в сумку...

«Деньги можешь прямо Григорию Моисеевичу»...

Микроавтобус развернулся на шоссе и помчался назад.

...Мышка постучала в дверь Марины. Не услышав ответа, она пошла к себе.

Микроавтобус остановился у гостиницы, Илья выскочил и помчался наверх.

Он вышиб дверь и увидел под потолком голову Марины.

Илья положил Марину на кровать. Сел, закурил, обвел комнату глазами...

Мышка заглянула в дверь:

– Илья?

– Тихо, Мышка.

– Почему тихо?

– Закрой дверь.

– Что с Мариной? Заболела?

– Она повесилась.

Мышка тихо охнула и опустилась на колени перед кроватью.

Всхлипывания сменились бормотанием – Мышка и не заметила, как забормотала слова молитвы сначала на иврите, а потом на русском:

«Отец милосердный, обитающий в высотах, по великой милости своей пусть вспомнит он с состраданием благочестивых, прямодушных и непорочных».

Проводив сына, Марина вышла из здания аэропорта, и ей стало плохо, в беспамятстве она сползла по стене на землю. Илья подхватил ее.

В комнате Гольдиных стояли собранные чемоданы.

– Тебя Мышка искала, – сообщил Яша. – Она хотела сегодня перебраться. Жаль, Илюха.

– Яша, ты извини, что я тебе двинул...

– О чем ты. Меня столько раз били, что, честно говоря, мне трудно вспомнить, кто меня не бил.

Илья вошел к Марине в то мгновение, когда она, стоя к нему спиной, пила из бутылки водку.

– Опять я одна остаюсь, – сказала она. – Ну давай, как говорится, на посошок.

– Нет, я на работу иду.

– Но твой Йорам сказал, что еще будет думать.

– Вот я и приду.

– Да пусть подумает лишний день, что ему станется? Если ты потеряешь эту работу, тебе же лучше. Бросай ночные смены. Ты так Мышку потеряешь.

– Я ей уже не нужен.

– Глупости. Никто никому никогда не нужен.

– Я не могу бросить работу. Я за ремонт машины платить должен, тебе еще две тысячи за экзамен должен.

– Кстати. Чтобы отправить Антона, я у Григория Моисеевича деньги взяла. Так что ты можешь прямо ему отдать.

– Не понял: почему ему? Я тебе отдам.

– Ну... хорошо. Я тогда на телевизор собирала. Надо было его купить... Неужели ты не выпьешь сейчас со мной?

...Илья сидел за столом.

– Ты говоришь, никто никому никогда не нужен, но я не могу так, я ехал сюда, потому что считал, что уж здесь-то я точно буду нужен, и вдруг оказалось, что и здесь я не нужен, зачем мне тогда здесь оставаться?..

А Марина не слушала его и продолжала свое:

– Первым делом надо было купить телевизор, это была ошибка. Я бы привыкла сидеть одна перед телевизором. Сплошные ошибки. За Сережку замуж вышла – ошибка. Врачом стала – ошибка. Сюда приехала – ошибка. В гостинице поселилась – ошибка... Илья, не уходи, пожалуйста.

– Нет, Марина, я должен бежать.

– Вы ко мне? – сказал интеллигентный молодой человек. – Подождите, пожалуйста, я скоро освобожусь.

Он был занят разговором с Мариной.

– Нет, я не еду, – объясняла ему Марина. – Я хочу отправить своего сына в гости к отцу. У него отец в Москве. Сыну восемь лет. Помогите мне отправить его в гости.

– Это я могу сделать.

– Антон Слуцкий. – продиктовала Марина. – Один билет до Москвы.

– Вы можете сразу заказать обратный билет.

– Не надо.

– У вас есть телефон, по которому я смогу вам сообщить?

– Нет. Я сама к вам зайду.

Марина поднялась. Столкнулась с Ильей:

– Ты тоже заказываешь билет?

– Нет, я только узнать.

Марина и Илья прощались в аэропорту с Антоном. Марина давала последние наставления:

– Папа тебя встретит в Шереметьеве. Он сказал по телефону, что встретит. Если же что-нибудь случится и он тебя не встретит, в этом карманчике его адрес. Ты помнишь адрес? Повтори.

– Москва, улица Обручева, дом сорок один, – сказал Антон.

– Правильно. В такси не садись. У тебя доллары, и тебя могут ограбить таксисты. От Шереметьева идут автобусы, ты доедешь до Москвы на автобусе. Это если что-то случится и папа тебя не встретит. Ты понял? Ты доедешь до центра и там станешь в очередь на стоянке такси и на такси поедешь к папе. Никто не должен знать, что у тебя есть доллары. Ты не спутай карманы. Здесь у тебя доллары, а здесь рубли. В такси будешь расплачиваться рублями. Ты все запоминаешь? Если вдруг окажется, что папы нет... Я только вчера вечером разговаривала с ним, но мало ли что, если вдруг ты не увидишь папу, у тебя есть адрес тети Дуси, ты ей позвонишь и все объяснишь. Ты понял?..

Марина присела перед сыном, отколола кипу, обняла.

– Иди.

– А куда ты кипу положила?

– Не помню. Потом найдешь. Зачем она тебе в Москве?

– Ты ее в свою сумку положила.

– Да? Как это я так... Иди, Антон, счастливо!

– Он у отца Шауля. Старик так привязался к нему, не хочет отпустить... Шауль нам квартиру нашел, наконец-то мы уедем из этой гостиницы.

– А деньги?

– Мы с тобой теперь оба работаем.

– А если я потеряю работу?

– Я тебя прокормлю, я! Ой, я опаздываю, бай!

Она исчезла – деловая, уверенная в себе. Илья поднялся, подошел к окну.

Под окном дрались мальчишки, русский и эфиоп. К ним летела женщина:

– Ты что, паскуда черная, делаешь!..

Она съездила мальчишка по затылку. Молодой эфиоп схватил ее за руку.

– Убива-а-ают!!

– Эфиопы наших бьют! – пронеслось по коридору. Люди выскакивали из квартир.

Во дворе дрались. Больше кричали, чем дрались, но и дрались тоже. Марина, Илья, Григорий Моисеевич пытались разнять, развести, урезонить... Яша озверел, лупил кулаком черные скулы, и Илья, не помня себя, ударил его по лицу.

Сбежались полицейские. Подъехала полицейская машина. Кого-то хватали, кто-то убегал, кто-то, всклокоченный и запыхавшийся, пытался объяснить полицейскому:

– Совсем от них жизни нет!!

В этой суতোлке Илья видел, как, поправляя на ходу всклокоченные волосы, по крыльцу поднималась Марина, а один из полицейских, молодой и красивый, самодовольно показал на нее коллеге в очках. Илья в это время находился в каком-то оцепенении.

В этом же оцепенении он шел по коридору. За полуприкрытой дверью молился старик в талесе:

– Будь вечно благосклонен к народу твоему Израилю...

...Стоя посреди комнаты, Марина страстно сказала:

– Уезжай! Что ты здесь время тратишь?! Уезжай отсюда скорей! – она схватилась за поясницу и застонала. – Подвела меня таки спина. Вот такие дела, Илья. Кажется, я допрыгалась...

Илья отыскал среди витрин вывеску:

КОНТОРА ПО ОФОРМЛЕНИЮ ДОКУМЕНТОВ НА ВЫЕЗД В РОССИЮ

Он приоткрыл дверь.

привяжется. Ну что я тогда? Куда я денусь? Кроме как уборкой квартир я тут на хлеб не заработаю... Старая я, Илья.

– Ты старая? Тебе сколько, тридцать?

– Мне сорок. Вот так. Только никому не говори. И про позвончик никому не говори... Ладно, спи.

– Ты мне не мешаешь, я не хочу спать.

– Не знаю, что со мной. Стала бояться оставаться одна. Может, я душевнобольная?

– Просто ты безработная, вот и все.

– Да. Мы к этому не привыкли.

Микроавтобус Илья мчался по ночным улицам. На одной из них Илья подобрал Цвику...

На перекрестке он заснул на какую-то долю секунды и проснулся от толчка: врезался правым крылом в затормозивший впереди рефрижератор. Выскочил из машины, увидел смятый кузов.

Вернулся за руль, тронулся. Цвика сказал:

– Дома надо спать. Больше я к тебе не сяду.

– Я на какую-то секунду заснул. Даже не заснул...

– Нет, я с тобой больше не поеду.

– Но один раз с кем не бывает, Цвика. Ты сам шофер. Я всегда аккуратно работаю.

– Я не хочу вместе с тобой разбиться. У меня семья, я ее кормить должен.

– У меня тоже семья, я тоже должен ее кормить.

– Это твоя проблема.

Йорам осмотрел машину и пошел в контору, ничего не сказав. Илья поплелся следом.

В конторе разговаривали Йорам и Цвика. Цвика замолчал на полуслове.

– Йорам, что я должен делать? – спросил Илья.

– Иди домой.

– Ты меня увольняешь?

– Я подумаю.

– Ремонт я оплачу.

– Я подумаю. Иди.

Илья проснулся, когда Мышка склонилась над ним.

– Спи, спи, – сказала она, – я снова убегаю.

– А где Мика?

– Должен быть с ней.

В комнате был еще один человек, которого Илья не сразу заметил. Он стоял спиной к двери у газовой плитки. Из таза перед ним шел пар. Человек этот вывалил зеленое месиво из трав на полотенце, размазал и понес к кровати. Откинул простыню и припечатал месиво к спине Марины.

...Набросив сверху простыню, он повернулся к Илье, и тот узнал араба, который помог ему когда-то на ночной дороге.

– Привет, хабиби.¹

– Вы знакомы? – спросила Марина. – Мы с Хусейном вместе в ульпане учились, он тоже врач. У меня проблемы с позвоночником. Ты не знал? Никому не говори. Я не хочу, чтобы знали. Хусейн меня за неделю на ноги поставит, да, Хусейн?

...Илья и Хусейн сидели за столом.

– У тебя тогда, кажется, были проблемы? – спросил Илья.

– Так, семейные проблемы... Ты вовремя оказался со своей машиной.

– Ты тоже вовремя оказался.

– Мы с Мариной вместе учились.

– Она мне сейчас сказала... Пойду спать. Я ночами работаю.

– Это трудно.

– Да. Шалом.

– Шалом.

Илья разделся, лег на свою кровать. Пришел Яша.

– Спишь? Слышь, этот Хусейн, который у Марины, – араб?

– Не знаю.

– Ясно, араб. Уже до арабов докатилась.

– Яша, мне надо спать.

– Полицейский к ней ходит. Молодой, вот с такой будкой...

– Яша, дай спать.

Вошла Марина, сказала Яше:

– И ты здесь. Все гадости про меня говоришь?

– Мариночка, я про тебя только хорошее!

В комнате были только Илья и Марина.

– Я сегодня полы в одном доме мыла, и вдруг как вступит – не могу разогнуться. Я всегда этого боялась. Не дай Бог, если

¹ Хабиби – приятель.

Теперь все повернулись к Мышке:

– Нас три семьи, мы хотим жить вместе, но чтобы у каждого... Погоди, Гриша, я уж начала объяснять, дай я кончу. Три семьи хотят жить вместе... Понимаете, мы должны уложиться в четыреста долларов на всех...

– Я поняла. Но я заранее скажу, что это невозможно.

– Что ты им сказала? – спросил Шауль.

– Сейчас тебе все переведу. Я только сказала, что невозможно за четыреста долларов снять квартиру на три семьи.

– Правильно, но я могу...

– Погоди, не мешай. Сначала я у них все выясню.

– Правильно.

– Что он тебе сказал? – спросила старушка.

– Он спросил, что я вам сказала, и я сказала, что невозможно за четыреста долларов снять квартиру на три семьи.

...Оставшись наедине с Гольдинами, Шауль сказал:

– Мышка, мне нужна переводчица. Я буду платить тебе тысячу в месяц.

– Но у тебя надо работать с утра до вечера.

– Да, Мышка. Я сейчас на мели, я не могу платить тебе больше. Но сейчас приезжает много русских, они будут покупать, и они пойдут к тем маклерам, которые говорят по-русски... Я буду еще платить тебе за каждую проданную квартиру.

– По-моему, ты должна попробовать, – сказал Илья.

– Господи, – сказала Мышка, – ты сегодня вообще не прилег. Как же ты работать будешь?

...На шоссе между Тель-Авивом и Хайфой Илья проехал перекресток на красный свет. Тормозили машины, Илья как бы издали слышал обращенную к нему ругань... Проехав еще немного, он съехал на обочину, выключил двигатель и решил немного поспать.

– Кто там? Илья? Зайди... Антон, я же тебе велела запереть дверь!.. Заходи, Илья, чего уж теперь.

Марина лежала ничком на кровати, накрытая простыней, упираясь подбородком в кулаки.

– Мышка мне ничего не передавала? – спросил Илья.

– Нет.

– Мика с ней?

– Ну и что? Люди уезжают, возвращаются – это нормально. Что тебя здесь держит? Кто ты здесь?

– Человек.

– Нет, – сказала Мышка, – чтобы стать человеком, надо чувствовать себя человеком. Я не чувствую себя человеком. Меня нет.

– А кто же это все говорит.

– Перестань. Нас нет. Бог знает, что мы такое.

– Бога нет, Мышка.

– Бог есть, это нас нет.

Ужинали молча, каждый думал о своем.

– Мы сейчас пойдем к тивуху¹ и снимем отдельную квартиру, – сказал Илья. – Нормальную квартиру в нормальном доме.

– Где ты деньги возьмешь? Мы еще долги не отдали. У нас своего холодильника нет.

– Можно снять квартиру с кем-нибудь.

– С кем?

– С еще одной маленькой семьей.

– С какой?

– Ну, вместе с Мариной ты не хочешь...

– Ты хочешь снять вместе с Мариной?

– Почему обязательно с Мариной?

– Но ты сказал: с Мариной.

– Я?! В общем, пойдем к тивуху и узнаем все.

Семья из России, человек шесть, окружила стол Шауля. Пытаюсь объяснить с ним, они перебивали друг друга, говорили разом:

– Мы хотим, чтобы можно было... – Подожди, Маша, дай я объясню... – Понимаете, адони, важно, что мы... – Шалosh мишпахот!² – Гриша, дай я...

– Рэга, рэга! Ани ло мевин русит!³

Мышка поздоровалась, сказала:

– Здравствуй, Шауль, мы хотим переехать из гостиницы в недорогую квартиру.

– Мышка, я сейчас освобожусь.

– Мика, ты куда полез?

– Вы знаете русский? – обрадовалась одна из старушек.

¹ Тивух – маклер.

² Шалosh мишпахот – три семьи.

³ Рэга, рэга! Ани ло мевин русит! – Минуту, минуту! Я не понимаю по-русски.

была надпись: «Из архивов КГБ, подарено следователем Поздеевым». Письмо Мышка читала на ходу:

«Привет трудящимся Ближнего Востока! Отвечаю на ваше письмо с опозданием. Дело в том, что нам сбагрили два заказа из нового Министерства путей сообщения и один большой заказ из гражданской авиации, и мы работаем сутками...»

Мышка драила чужую ванную комнату и мысленно перечитывала письмо:

«...без вас, конечно, тяжело, и без тебя, Илья, и без тебя, Мышка. Работать некому. Если у вас что не сложилось там, на исторической родине Ильи, возвращайтесь на родину настоящую...»

Мышка продолжала читать письмо Илье – тот, полупроснувшись, лежал в кровати.

«...возвращайтесь на родину настоящую. Насчет жратвы не обещаю, но работа будет интереснейшая. Да и со жратвой, в общем, как раньше, терпимо. Не жируем, но и не голодаем. Коля Аникеев ушел от своей Зойки к Валентине Малышевой. Зойка по этому поводу в депрессии и лепит такие ошибки, что после нее все надо делать заново...»

Мышка подняла глаза на мужа – тот спал. Она встала и принялась готовить ужин.

– Что ты замолчала? – вдруг проснулся Илья. – Я не сплю.

– Там фотография, – Мышка не обернулась.

– Гм-м... Неужели это ты?

– Да, это я.

– Глуповатый у тебя вид, однако. Какими мы были глупыми...

– Конечно, от мытья унитазов я сильно поумнела. – Мышка помолчала и решила: – Тут есть контора. Платишь триста шестьдесят шекелей, и тебя привозят прямо к самолету. Ты работал бы программистом, делал бы диссертацию, Мика был бы с бабушкой и дедушкой, что из него тут вырастет? Он здесь не будет своим. Нужно две войны, чтобы мы тут стали своими...

Не получив ответа, Мышка замолчала. Илья проснулся и сказал:

– Ну, ну, я слушаю.

– Ты спишь.

– Я все слышу. Конечно, езжайте.

– Конечно, мы тебе не нужны. Мы и не видимся. Ночью я одна, днем я тебе мешаю спать. Кормит тебя Марина. Она давно решила отбить тебя.

Илья сел в кровати.

– Мы уже уехали. Мы уже уехали! Мы уже здесь!

проснулся, ужаснулся, что опоздал, и перед глазами сфокусировались из тумана играющие Антон и Мика.

- Антон, это ты забрал Мику из сада?
- Я. Меня тетя Мышка попросила.
- Она приходила сюда?
- Нет, она маму просила. Она еще одну уборку себе нашла.

Мышка мыла окно в чужой квартире. Хозяйка подошла и стала рассматривать стекло.

- Откуда эта царапина?
- Что? Я не понимаю, - сказала Мышка.
- Царапина. Вот.

Мышка всматривалась в стекло. Она не знала слово «царапина».

- Что вот?
- Царапина. От кольца, - хозяйка показала на обручальное кольцо Мышки, и та наконец поняла.
- Но этого не может быть.
- Это от твоего кольца.
- Этого не может быть от кольца, - сказала Мышка, но тут же сняла кольцо и сказала: - Хорошо, пусть будет по-твоему.

Мика спал на кровати Марины. Мышка взяла его на руки и перенесла к себе. Он не проснулся. Подойдя к столу, она увидела сигареты. Распечатала их и курила, пуская дым в роскошные розы. Рядом стояла сковорода Марины. Мышка подцепила вилкой кусок мяса и, не выходя из оцепенения, стала есть.

Она заглянула к Марине. Та строчила на швейной машинке. Мышка вошла.

- Это ты Илью кормила?
- Я Антону готовила, заодно и Илье занесла. Он дрых без задних ног.
- Зачем ты это делаешь?
- А что тут такого? Ты против?
- Не нужно этого. Спасибо большое, но не нужно.

...Утром, торопясь отвести Мику в сад, Мышка вытащила из ящичка письмо. Она вскрыла конверт, лишь когда Мика исчез за калиткой сада. В конверте была фотография: милиционер вырывает у Мышки плакат с надписью «Гласность». На обороте

– Прямо, километров пять.

...Дорога кончилась. Фары освещали только кучи мусора.

Послышались голоса впереди. Илья вышел из машины, осторожно пошел на эти голоса. Замелькали неясные силуэты. Илья окликнул:

– Эй!

В свете фар пробежали двое в косынках на головах. Илье стало жутко. Он повернул назад и наткнулся на молодого возбужденного араба. Илья ждал удара ножом.

– Я ищу Пардессию.

– Я покажу. Я сяду?

Араб забрался в машину. Трогаясь с места, Илья косился на него.

– Пардессия, – сказал араб.

Под фонарем у темного дома стоял человек. Он сел в машину.

– Парень, я полчаса тут жду.

– Я сожалею, я в первый раз, – сказал Илья. – Еще плохо знаю дорогу.

Человек покосился на араба. Тот отвернулся.

– Сколько езжу, такого еще не было, – продолжал ворчать пассажир. – Пусть Йорам оплатит мне эти полчаса.

– Я оле хадаш¹, я сегодня первую ночь за рулем. Ты не говори Йораму, ладно?

– Я не понимаю тебя. Ты на каком языке говоришь?

– По-моему, я говорю с тобой на иврите.

– Я не понимаю твоего иврита.

– Прости меня. Я заблудился. Больше такое не повторится.

После смены усталый, небритый Илья попросил в лавке сигареты – не «Ноблес», как обычно, а американские. Смуглый марокканец бросил на прилавок пачку, но Илья передумал:

– Десять чачек.

Продавец забрал пачку и положил на прилавок блок.

В пустой квартире Илья расставил на столе блок сигарет, коробку конфет и букет роз в детском ведерке. Сев на кровать, он завел будильник, лег на спину, закрыл глаза и... будильник зазвонил. Илья открыл глаза и снова провалился в сон. Снова

¹ Оле хадаш – новый репатриант.

– Быстро же ты прогрессируешь, – Мышка стояла в дверях и гневно щурилась. – «Я хочу что-нибудь сделать для этой страны». Ты уж выбери что-нибудь одно. Или ты приехал спасать Израиль, или ты жулик.

– Я жулик.

– Никакой ты не жулик. Ты на это не способен.

Илье почудился упрек.

– Я не способен молиться, не веря в бога...

– Не тебе упрекать меня за это!

– Я же тебе не мешаю это делать!

– Я, может быть, уже немножко верю!

– Я на это не способен! А разбить машину я способен!

– Но я тебя не пушу!

Вошла Марина.

– Ну что вы распетушились. Илья, ты, однако, нашел же с кем связаться, ты что, до сих пор не понял, кто такой Яшка?

– Я ж говорю: я его не пушу.

– Ты тоже хороша. Отчего ты не хочешь взять у меня деньги?

Марина ждала ответа. Мышка промолчала.

– Как я должна к этому относиться? – сухо спросила Марина.

– Как хочешь.

– Даже так. Я в чем-то виновата перед тобой?

– Нет...

– Мышка, ты знаешь, как это ни смешно, у меня, кроме вас, в общем-то, никого нет.

...Сидя за своим столом в конторке, Йорам сказал:

– Я тебя беру на ночные смены.

– Всегда только ночью?

– Твоя смена с восьми вечера до восьми утра.

– Йорам, но я женат.

– Ты отказываешься?

– Нет, Йорам, я рад, спасибо тебе.

... Микроавтобус Ильи мчался по ночному шоссе, неуверенно затормозил на перекрестке – Илья высунулся, но некого было спросить, – свернул на боковую дорогу, и вскоре Илья понял, что заблудился. Вокруг не было ни огня. Показался встречный автомобиль. Илья посигналил – тот остановился.

– Пардессия,¹ – сказал Илья.

¹ Пардессия – название населенного пункта (пардес – апельсиновая роща).

– Я бы сам кувыркнулся, – сказал Яша, – но, во-первых, я хочу, чтобы и ты кое-что поимел, а во-вторых, я уже две тачки разбил, я засвечен.

...Яша и Наташа спустились в овраг, а Илья за рулем осторожно съехал вниз и остановился на склоне. Снял с головы мотоциклетный шлем, отстегнулся, виновато сказал:

– Не кувыркается.

– Не хочет. Ничего, сейчас она у нас запрыгает.

Наташа забралась на шоссе. Подождала, пока промчатся машины, и крикнула:

– Давайте!

Илья и Яша стали переворачивать машину.

– Быстрее! – крикнула Наташа.

Машина легла на крышу. Илья и Яша обошли ее – ни царапины.

– Ничего ему не делается, – сказал Яша. – Не машина, а танк. На ней с Саддамом Хусейном воевать.

Из остановившегося вверху на шоссе грузовика выскочил темпераментный израильтянин.

– Ой-ваавой, ма кара?!¹

... Грузовик вытащил «мерседес» и – «тода раба, тода раба – ата мазал шеляну – бай²» – умчался. Илья сел за руль. Яша и Наташа совещались сзади: «Может, Фиму попросить?» – «Достала ты меня со своим Фимой.» – «Ну уж разбить машину...» – «Задницу тебе разбить – это он может...»

Впереди шел тралер со свисающей стальной балкой. Илья пытался обойти его слева – тралер брал влево, справа – тралер уходил вправо. Показался перекресток, зеленый цвет сменился желтым, тралер стал притормаживать. Илья вошел в азарт, закусил губу.

– Ложись!

– С ума сошел? – завопил Яша, падая на Наташу.

Стальная балка, круша стекло и сминая жесть, вошла в кузов.

Мышка стала перед дверью и сказала твердо:

– Я тебя не пущу.

На лбу Ильи белели полоски лейкопластыря. Они не дали Илье гневно прищуриться.

– Я должен быть у Яши через десять минут.

¹ Ма кара? – Что случилось?

² Тода раба – ата мазал шеляну – бай – большое спасибо – тебе повезло – пока.

- Я не знаю, но я чувствую, что нельзя продавать.
- Тогда скажи, где достать деньги на экзамен. У Марины заниматься ты не хочешь.
- Не хочу.

Мышка, как гостя, сидела на кровати Григория Моисеевича. Тот шагал по комнате, перешагивая через длинные ноги Яши.

– У меня тысяча семьсот, но надо очки купить, они тут двести стоят.

Одно стекло в очках Григория Моисеевича было с трещиной.

– Меньше читать надо было, – упрекнул Яша. – Все читал, читал, думал, что это бесплатно.

– Так что полторы я могу свободно дать.

– Мышка, у вас с Ильей один выход – ложиться на Яшку, – сказал Яша.

Авторемонтная мастерская приютилась среди других мастерских в захламленном квартале возле рынка. Яша провел Илью внутрь.

– Селям-алейкум, Вася. Как дела?

– Хашмаль¹ отключили.

– Опять в банке минус? Ну эксплуататоры!

Среди автомобильных деталей и узлов сверкал новый кузов «мерседеса», который вызвал умильную отцовскую улыбку на лице Яши.

– Видал красавца? Скоро все поймешь.

Около мастерской стоял мятый, облупившийся «мерседес».

– Тот кузов просится сюда, – сказал Яша. – Надо ему помочь. Садись. Эта дверца не открывается; садись с другой стороны.

На заднем сиденье потеснилась молодая женщина.

– Наташа, – представил Яша. – Ее машина.

...Ведя машину по шоссе, он объяснял:

– Теперь слушай меня внимательно. За этот драндулет Наташа платит такую страховку, что нашему Моисеичу хватило бы на жратву на год. Зато если машину разбить, ремонт бесплатный. У Наташи будет новый кузов, а мы с Васей кое-что поймеем от страховой компании.

Машина остановилась у крутого оврага.

¹ Хашмаль – электричество.

Дети разных народов,
Мы мечтою о мире живем.
В эти светлые годы...

Мышка и Григорий Моисеевич подхватили песню. Марина пустилась в пляс. Вошел Илья, и она затанцевала перед ним.

– Мышка, сейчас я у тебя мужика отобью!

Песню мира запевают молодежь,
молодежь, молодежь...

Мышка и Илья лежали в постели.

– Он ничего не обещал. Но если бы были права, я бы уже сегодня работал.

– Где же мы возьмем три тысячи?

– А может, возьмешь у Марины?

– Почему именно у Марины?

– Она не откажет. У нее есть, она на телевизор собирает.

– Я не хочу у нее брать.

– Почему?

– Не хочу.

Илья звонил из автомата.

– Боря, ты не знаешь никого, кому нужен компьютер 386?

– Продаешь?

– Мне срочно нужны три тысячи.

– Ты продаешь за три тысячи?

– Нет, я хочу продать хотя бы за четыре, я говорю, три мне нужны срочно.

– погоди, может, Света кого знает, – Боря закрыл трубку рукой и сказал жене: – Илья продает компьютер 386 за три тысячи. Надо брать. Он семь – восемь стоит.

– Скажи, за две возьмем.

– Илья?.. Света говорит, она знает человека, который за две возьмет.

– Я не хочу продавать, – с непривычной твердостью сказала Мышка. – Мы с тобой математики. И ты еще будешь работать программистом.

– Мы с тобой работали, когда у нас не было своего компьютера.

– Главное тут – туалеты... Осторожнее! – крикнула она парню, пристроившемуся к писсуару. – Поаккуратнее не можешь? Не научили писать?.. Ты им спуску не давай, а то суток не хватит убирать за ними.

В туалет ввалилась ватага школьников. На женщин они не обращали внимания. Среди мальчишек мелькнул Антон, который, заметив мать, спешно ретировался в коридор. Марина выскочила следом.

– Антон!!

Он неохотно вернулся.

– Тетя Мышка сегодня задержится, так что заberi из сада Микку и покорми. И сам поешь. Ну иди, иди.

Антон убежал.

– Из-за него я и ухожу. Стыдится, болван такой, что мать туалеты убирает.

Пили водку в комнате Марины. Мышка с ногами забралась в колченогое кресло. Она все время нюхала свои руки. Марина варила кофе. Кроме них были еще Григорий Моисеевич и молодой бородач с гитарой.

– Русская интеллигенция приказала долго жить, – говорил Григорий Моисеевич. – Она с таким шумом хоронила марксистскую идею, что не заметила, как скончалась сама. За ее светлую память. Пусть земля ей будет пухом.

– Сколько раз ее хоронили? – недовольно сказала Марина.

Она не любила «умные» разговоры, а тут сама согрешила:

– В семнадцатом хоронили, в тридцать седьмом хоронили, в шестьдесят восьмом...

– Это ее основное занятие, – сохранял пафос Григорий Моисеевич, – хоронить самое себя.

Он выпил. В отсутствие Яши он выглядел величественнее.

– Вы до сих пор живете в вымышленном мире, – сказал бородач. – Интеллигенция, польза обществу... Уже по уши в дерьме, а все про абстракции. Меня все это не колышет. Мышка, споем?

Ах, дорогая эфиопка,
Ах, эта ручка, ах, эта ножка...

– А менее расистское нельзя? – спросила Марина.

– Менее расистское! – голосом конференсье объявил бородач и запел:

– Обычное дело. Эксплуататоры. Я в пиццерии месяц вкалывал, мне шиш под нос. – Яша снова налил. – Я тоже был эксплуататором, но я всегда платил.

– Может, не говорить ей сегодня?

– Давай за нее. В порядке баба. Большая редкость, тебе повезло. Тут есть на морду ничего и ноги откуда надо растут, но жадные жуть, жидовская натура, чего ты хочешь. Не знаю вот, как эфиопки. Они русским не дают.

Мышка молилась на иврите. Илья сказал:

– Мышка, побойся Бога.

– Ты зря так к этому относишься. Это вечерняя молитва. Ее повторяют каждый день перед сном. Ты послушай по-русски: «Я прощаю всякого, кто обидел меня, кто оскорбил меня, кто нанес мне ущерб – лично мне, или имуществу моему, или моему добру имени, или чему-либо из того, что мне принадлежит, – вынужденно или добровольно, по ошибке или умышленно, словом или делом, в этой жизни или в предыдущей». Представляешь, всю жизнь каждый день перед сном евреи повторяют эти слова.

– Мышка, я тебя люблю... У тебя остались сигареты?

– Я нечаянно последнюю выкурила.

...Илья мыл рефрижератор. Йорам наблюдал за ним из конторки и вызвал по селектору:

– Илия, бой тиканес¹.

Разговор в кабинете шел на иврите:

– Израильские права есть?

– Вот, – Илья показал.

– С этим только на своей машине ездить. Если б были права, я бы тебе сегодня дал работу.

– Я получу права.

– На это уйдет время. Обязательные уроки... Это тебе будет стоить две – три тысячи шекелей.

– Я получу права, Йорам.

– Смотри. Я тебе ничего не обещаю. Мне сегодня водитель нужен...

В окно туалета Мышка увидела школьный двор и играющих детей. Марина вводила ее в курс дела:

¹ Бой тиканес – зайди ко мне.

– Нет, я ничего не чувствую...
– Чем-то вродедохлой кошки...
– Мм-мм...
– Терпеть не могу этот запах. Неужели не чувствуешь?
– Да черт с ним, с запахом, Марк.
– Нагрели они меня. Сволочи. Понимаешь?
– Как?!
– Обстоятельства изменились. Им это уже не нужно.
– То есть как? Мы зря работали? – Илья кричал, прохожие смотрели на него. Он все отказывался понять. – Марк, мы же работали, мы же сделали программу, ты должен нам заплатить!

Марк молча взялся за тачку мусорщика. Покатил ее, Илья шел рядом.

– Мы компьютер купили, все свои деньги на год вперед потратили...

– Свободное предпринимательство – это риск. Разорятся фирмы с сотнями компьютеров.

Марк остановился, собирая мусор. Из дверей маколета¹ выставили пустые коробки, и Марк заорал. Его разговор с хозяином в русском переводе звучал примерно так: «Убери свое дерьмо!» – «Чего орешь!» – «Слишком умный?» – «Чего орешь? Сумасшедший, да?»

Марк зашвырнул коробки назад в дверь магазина, в ноги выходящих покупателей. Хозяин не решился связываться: взбешенный великан с ассирийской бородой выглядел страшновато. Ругань продолжалась: «сумасшедший, дерьмо, иди отсюда...»

Илья вернулся домой с папкой в руке. У крыльца сидели старики-эфиопы, в коридоре базарили русские бабы, из общей кухни вышел Яшка с огромной горячей сковородой, наткнулся на Илью и не дал ему опомниться:

– Быстро ко мне, быстро, быстро, Илья, вперед за орденами!..

В комнате Яша бросил на стол обжигающую сковороду, сказал Григорию Моисеевичу:

– Хорош.

Григорий Моисеевич стриг перед зеркалом усы щеточкой. Яша вытащил из холодильника бутылку и торопливо налил...

– Мы с Мышкой зря работали, – сказал Илья, выпив. – Прямо не знаю, как ей об этом сказать.

¹ Маколет – продовольственный магазин.

– Для нас, Мариночка, ты всегда была самым лучшим врачом, а теперь ты и для израильтян врач.

– Что экзамен, – сказала Марина. – Экзамен работы не дает. Вот если б я работу получила.

– Она еще и недовольна!

Мышка тихо спросила у Ильи:

– А где Леша?

– Леша завалил, – сказал Яша. – У него иврит не пошел. Если иврит не пошел, тут уж ничего не сделаешь.

В пустом гостиничном коридоре Марина постучала в одну из дверей, потом, оглянувшись, своим ключом открыла ее и вошла. Зажгла свет. В раковине валялись использованные лезвия, на столе – пустая пачка из-под сигарет.

...В свете дисплея лицо Марины стало жестким и чужим.

– Вся жизнь я горю синим пламенем. Почему со мной можно, как с собакой? Ну не сдал экзамен. Это серьезно, это большая беда, но записку оставить можно? Одно слово написать!

– Марина, он наверняка не сегодня-завтра объявится, – попыталась успокоить Мышка. – Почему ты решила, что он пропал навсегда?

– Он пропал. И именно навсегда. Он давно понял, что пропал. И я это сразу поняла. И он знал, что я это понимаю.

Илья отложил работу и пошел варить кофе.

– Тебе хорошо, – тихо сказала Марина. – С тобой что-нибудь случится, Илья с малым останется. А если со мной что-то вдруг, куда Антон денется?

– Твой муж в России остался?

– Куда ему сюда. Сама видишь.

– А ты к нему вернуться не можешь?

– Он уже женился. На моей лучшей подруге.

...Илья и Марк стояли на улице.

– Что, сделал, что ли? – Тон у Марка был такой, словно случайный прохожий назойливо пристаёт к нему, но у него всегда был такой тон, и Илья не придавал значения, он был очень доволен своей работой и все пытался всучить Марку свою папку.

– Да ты взгляни!

– Ну и жарница сегодня. Чем-то пахнет... Чувствуешь?..

лучил заказ. Наша сила в чем? В том, что мы согласны работать за гроши. То есть, это по-ихнему гроши. А для нас три тысячи шекелей в месяц -- не так уж плохо для начала. Что, ты, Мышка, не сможешь составлять программы для городского управления?

– Но у меня нет компьютера.

– Вот. А мне сегодня предложили 386-й за полцены. А я все в квартиру убухал, весь в долгах. Идиот. Начинать надо не с квартиры или машины, а с компьютера.

...Мика спал, слабо освещенный экраном дисплея. Илья писал, черкал, писал, протягивал листки Мышке, та вводила команды в компьютер.

– Хватит уже курить, оставь, – она вытащила сигарету изо рта мужа, докуривала, не прерывая работы. – Это какая сегодня?

– Восьмая.

– Восьмую выкурили, когда Мику укладывали. Это десятая. Мы тратим на сигареты больше, чем на еду.

– Нельзя же от всего отказываться...

...Во дворике перед белым корпусом собралось сотни две врачей из России. Эта толпа поразила Мышку. Марина со многими была знакома, здоровалась: «ты сегодня прелесть, у вас разве нет двадцати лет стажа, ну вот, хоть здесь всех увидишь, хоть бы позвонили, что ли», – кому-то издали махала рукой и объясняла на ходу:

– Смотри, Шварц, заведением Боткинской больницы, к нему мечтали попасть, месяцами очереди ждали, а теперь он, как мальчик, должен экзамен сдавать, Комаров, нейрохирург, я и не знала, что он уже тут, Господи, какие люди, куда мне с ними тягаться, Гися Абрамовна Мехлис, Господи... Где ж Алексей, он сказал, что подождет меня...

Алексей сидел на траве, отрешенный от всего, Марина его не увидела.

...За столом сидели те же, кто был на дне рождения Марины. Не было лишь Алексея. Яша взял на себя роль тамады:

– Марина, ты молоток! Мы гордимся тобой! Сто шестнадцать человек сдавало, и только семь сдало. Соображаете? Ни хрена ты, Гриша, не понимаешь, это математика, да, Мышка? Сто шестнадцать и семь!

Немолодая женщина сказала:

– Через полгода я буду пять тысяч в месяц иметь, – сказал Марк.

Борис забраковал две майки, третью натянул.

– Я к тебе как к другу.

– Между прочим, тебе как начинающему бизнесмену полезно знать, что у друзей не занимают. А если прогоришь? Посторонний может тебя в суд потянуть, а друг не может.

Мышка смотрела, как Света одевается – тоже в майку и джинсы с прорехами, как муж.

– Света, ты гиюр проходила?

– А зачем мне? Я и так еврейка.

– Ты? С каких пор?

– Я в Союзе себе метрики купила. Неужели ты не купила?

– Нет. А это в самом деле важно?

– Черт их знает. Может, и не важно. На всякий случай я купила.

– Света! – торопил Борис.

– Я готова.

Борис заглянул.

– Ты готова? Где ж ты готова?

– Я готова, – повторила Света вопреки очевидности.

Мика играл с дорогой радиоуправляемой игрушкой.

– Мика, не трогай, – сказала Мышка.

Борис вернулся к приятелям в салон.

– Никаких нервов не хватает.

– Боря, – сказал Илья, – мне надо с тобой поговорить. С чего начинать? Мы с Мышкой послали свои автобиографии во все фирмы, никто не отвечает.

– От руки или на компьютере?

– На компьютере.

– Это правильно. От руки не читают.

Возникла Света.

– Кто кого ждет? Я готова. Ребята, как жаль, через десять минут мы должны быть на брит-миле.

Когда она, сидя за рулем «мицубиси», помахала им рукой и машина укатила по бульвару, Илья спросил:

– Марк, скажи, с чего начинать?

– Вот, – указал Марк вслед уехавшим. – Ей пять тысяч положили в американской фирме и ему столько же. Начни с того, что займешь здесь двоюродного брата.

Они присели в тени. Мышка вытащила из сумки хлеб с апельсинами. Протянула и Марку, тот взял.

– Я могу добывать заказы, – сказал он. – Работать можно и дома, был бы компьютер. Главное – заказы получать, так? Я по-

Утром Илья пришел в гараж и терпеливо стоял, пока хозяин разговаривал с водителями и девушкой-диспетчером. Тот делал вид, что не замечает Илью, потом не выдержал:

- Ты чего пришел? Я же тебе сказал: работы нет.
 - Нет так нет. Я завтра приду. Может, завтра будет. До свидания.
- Илья пошел к воротам.
- Подожди, – сказал хозяин. – Окна вымой.

Накрыв на стол, Мышка сказала Мике:

– А что надо сделать перед едой? Что в Танахе¹ написано? Обязательно руки помыть.

Илья листал газету:

– Опять требуются программисты.

Он дотянулся до своей картотеки, надписал конверты, пролистал карточки и вдруг замер.

– Мышка, мы туда уже писали.

Мышка остолбенела.

– Как? Почему же они нам не ответили, если им нужны программисты?

Илья разорвал только что надписанные конверты.

...Дверь открыл Борис. Увидел Мышку и Илью с Микой на руках и завопил:

– Мышка! Класс! Я в отпаде! Старик, привет! А это что за герой?!

Из какой-то двери высунулась Света.

– Гольдины! Вы настоящие сабра²! Я одеваюсь! Какая жалость, нам нужно убежать! Мышка, иди сюда!

Борис провел Илью в салон. Там сидел великан с ассирийской бородой, мрачно ждал, когда сможет продолжить разговор.

– Марк! – обрадовался Илья.

– Привет, – буркнул Марк и продолжил разговор с Борисом. – Всего две тысячи под любые проценты.

– Марк, ну если б были, неужели я бы не дал.

Илья вручил письмо и посылочку. Борис вскрыл пакет.

– Света, слышишь? Тебе авторучки и советскую помаду прислали!

– А чего ты от них ждал? – откликнулась Света.

¹ Танах – Библия.

² Сабра – коренной израильтянин.

- Марина, это обязательно?
– Чего ты боишься? Антон, скажи, больно было, когда тебе брит-милу делали?
– Не-а.
– А если не сделать? – спросила Мышка.
– Думаю, у него будут проблемы.
– Марина, я русская.
– В документах? – Марина даже рассердилась. – Вы с Ильей дети какие-то. Не могли переделать метрику? В Союзе все было можно!
– Что ж теперь.

Они сидели на стульях в учрежденческом коридоре.

– Я не знаю, имеет это значение или не имеет, – продолжала Марина. – В Союзе мне тоже говорили: не надо преувеличивать, у нас национальность не имеет значения. Даже мой бывший муж: знаменитые актеры евреи, профессора евреи, а ты говоришь, вас притесняют, – Марина перешла на иврит, пресекая чью-то попытку войти в дверь. – Геверет¹, есть очередь, я ничего не хочу понимать, есть очередь, ты за мной. – По-русски: – Я знаю, что русские женщины проходят тут гиюр, то есть становятся еврейками через религию. – На иврите: – Что значит только спросить, мы все тут только спросить! – По-русски: – Раз это делают, значит надо, что мы с тобой умнее всех?

...Илья возвращался домой и еще из коридора услышал стук. Мышка прибывала к двери мезузу².

– Это еще что?

– Я была в рабануте³ и сказала, что хочу принять иудаизм. Меня записали на курсы, выдали книги, слушай, это так интересно! – полюбовавшись мезузой на двери, Мышка оглянулась на мужа и только тогда заметила, что тот сник и прячет глаза. – Илья, ну чего ты, мне в самом деле интересно... Илья!.. Какой ты странный...

– Это никому не нужно, тут демократия...

– Я так хочу, это, в конце концов, мое дело, я так хочу!

¹ Геверет – госпожа.

² Мезуза – пергаментный свиток с фрагментами из Торы, помещаемый в специальный футляр, который прикрепляется к дверям дома.

³ Рабанут – раввинатский суд.

– Меня зовут Шауль, а тебя?
– Лариса.
– Ля-ры-са. Очень приятно. Хочешь кофе? Садись, пожалуйста... Говоришь по-английски?
– Мм-мм...
– Если тебе нужна квартира на съем или ты хочешь купить дешевую квартиру, я помогу тебе.
– Он говорит, тетя Мышка, что если вам нужна квартира, он может помочь.

Подошла Марина:

– Уже квартиру покупаешь?
Вернувшись за столик, Мышка еще была полна впечатлений от своего первого разговора на иврите, а Марина сразу перешла к делу, вытащила из сумочки бумаги.

– Это направление в детский сад. Я всюду за тебя расписывалась.

– Мариночка, что бы я без тебя делала?!

– Мама, писать.

– Как ты мне уже надоел с этим своим «писать».

– Антон, посади его куда-нибудь, – скомандовала Марина и продолжала, извлекая из сумки маленькую кипу: – Очень хороший сад, датишный¹. Рядом с гостиницей. Я вот ему кипу купила.

– И он должен всегда в ней ходить? – Мышка была смущена. Она смотрела на кипу Антона, который расстегивал Мике штаны. – Марина, Антон верит в Бога?

– Антошка? Я как-то не спрашивала...

– А он?

– Что он?

– И он тебя не спрашивал?

– Спрашивал поначалу...

– И что ты говорила?

– Есть Бог, нет Бога – я знаю? Может, ты знаешь? Тебе, между прочим, идут очки. Только надо купить хорошие.

Мальчики вернулись. Антон возбужденно зашептал что-то на ухо матери. Лицо Марины вытянулось.

– Мышка, вы ему брит-милу² не сделали? Он необрезанный?

– Мика?

– Мышка, ты уж совсем. А по-твоему, кто? Илье твоему, слава Богу, в детский сад уже не надо ходить.

¹ Датишный сад – сад для детей из религиозных семей.

² Брит-мила – обряд обрезания.

– Дай ему шланг, – сказал деловитый человек рабочему и спросил Илью: – Машину вымыть сможешь? Не понял? По-английски говоришь? Вымой машину, – повторил он по-английски, увидел, что Илья понял и сказал рабочему: – Покажи ему, он, по моему, понятия не имеет, как это делается. И дай ему фартук.

Когда Илья закончил работу и заглянул в конторку, его работодатель разговаривал по телефону.

– Еще работа есть?

– Нет.

– Завтра приходите?

– Нет у меня работы.

– Я приду, может, будет.

Хозяин уже не видел Илью, продолжал свой разговор. Илья поклонился: «Леитраст»¹.

Мышка, Антон и Мика ели мороженое за столиком открытого кафе.

Мышке нравились сверкание и суета улицы, и она чувствовала себя частью этой прекрасной жизни.

На нее смотрел усатый ближневосточный красавец. Он сидел за стеклянной стеной с наклеенными на стекле разноцветными объявлениями – квартирный маклер в своем офисе. Заметив его взгляд, Мышка отвернулась, подумала и надела темные очки. Увидела себя в зеркале ближайшей витрины и не разочаровалась. Именно такой, по ее мнению, надлежало быть. И тут она обнаружила, что Мика исчез.

– Антон, где Мика?

Мика под столиками прошествовал в офис, и теперь усатый красавец приманивал его конфетой.

– Тетя Мышка, вон Мика.

Мышка ринулась за сыном.

– Эйзе мотек², – сказал усатый.

– Ани мицтаэрэт³.

Разговор продолжился на иврите:

– И мама красивая. Из России?

– Да, мы из России.

– Хорошо в Израиле?

– Да, очень хорошо!

¹ Леитраст – до свидания.

² Эйзе мотек – какой сладенький.

³ Ани мицтаэрэт – простите.

– Я схохну от этой жары, – сказала Марина. – Илья, ты не оби-дишься, если я слегка разденусь?

– Мне совсем не жарко, – заметила Мышка, но Марина уже сбросила халат, оставшись в одних трусиках.

Вошел «супермен» Алексей, сел в кресло позади Марины, оце-нил количество надписанных конвертов:

– Это столько программистов требуется? Где ж они найдут столько программистов?

– Я знаю людей, которые устроились по объявлениям, – возразила Марина и отвела руку Алексея от своей потной спины. – Леша, пересядь, пожалуйста, это кресло тебя не выдержит, я его на улице подобрала.

– Я тебе мешаю?

– Приму душ и тогда все, что ты хочешь, но я не люблю, когда я такая потная. Леша, ну пожалуйста.

Леша пересел и сказал серьезно:

– Советую набрать автобиографии на компьютере. Написанное от руки они просто не читают.

Они бросали конверты в желтый почтовый ящик на оживлен-ной улице. Мике это занятие очень нравилось: «Я хочу! Пап, я хо-чу!» – «Илья, дай ему.» – «На, брось.» – «Это мамин или твой?» – «Это мамин.» – «Молодец. На еще. Это папин. Это мамин.»

Вдоль улицы по обе стороны сплошь шли ворота и заборы – мелкие мастерские, склады, гаражи. Илья заходил подряд во все ворота, спрашивал:

– Еш авода?¹

– Эйн авода?²

Он набрел на пропускной пункт с охранником и шлагбаумом, за которым в конце мощеной площадки стояли под навесом грузовики и рефрижераторы. Рабочий мыл из шланга машину. Де-ловитый человек, проходя мимо, остановился, стал что-то объяс-нять.

– Шалом, – сказал Илья. – Еш авода?

– Ми Русья? Нэаг?³

Дальнейший разговор шел на иврите.

– Я математик, но у меня в России была своя машина.

¹ Еш авода? – Есть работа?

² Эйн авода. – Нет работы.

³ Ми Русья? Нэаг? – Из России? Шофер?

Илье хотелось говорить:

– Мой отец делал «Скады», эти «Скады» рвались здесь, и мне стыдно...

Григорий Моисеевич вел свой разговор с Мариной:

– Ну вот такой Яша приехал сюда. Это хорошо? Это плохо для Израиля, плохо для России, где таких предприимчивых дефицит, плохо для него самого. Был хоть и плохой, но человек, а сейчас просто мусор.

– Что ты сказал?! – взвился Яша.

Григорий Моисеевич, не ожидавший, что Яша его услышит, растерялся.

– А ты на хера здесь, старый пердун?!

Не сумевший завоевать аудиторию Илья сосредоточился на сцене:

– Мы с Мышкой программисты экстра-класса, я хочу... это звучит, может быть, смешно... я хочу приносить пользу этой маленькой стране...

Яша матерился, Григорий Моисеевич покидал общество, пытаюсь в спешке сохранить величавость. Супермен поднялся, бросил Илье:

– Погоди...

Он и Илья вышли в коридор в то мгновение, когда Яша съездил по школе Григорию Моисеевичу. Яша этим удовлетворился, но и супермен оказался с нервами, отшвырнул Яшу к стене. Григорий Моисеевич заплакал.

...Работали втроем за обеденным столом Марины. Илья выискивал в газетах объявления о работе, Мышка переписывала адреса из газет на конверты, а Марина переводила на иврит их биографии:

– ... авадти ба махон¹!.. вы и работали вместе? Ну, вы прямо-таки... мисрад аагана... в министерстве обороны? Ну, вы даете... ба британмоацот²...

– Вот еще, – нашел Илья. – Требуется программист с пятилетним стажем.

– Может, хватит пока? – предложила Мышка. – Подождем ответа.

– Нет, пошлем всем сразу.

¹ Авадти ба махон – работали в учреждении.

² Ба британмоацот – в Советском Союзе.

– Четыреста долларов в месяц.

– Вот жида пархатые, пользуются тем, что люди ничего не знают. С меня берут триста, и с вас столько должны брать, завтра пойдем к ним вместе, вы ж на иврите не сможете, кран капает, окно не закрывается, это надо все сразу показать, а то потом вы будете за все платить...

– Большое спасибо, – сказала Мышка.

– Все нормально. Так, Мика? Слушайте, соседи, у меня сегодня маленький праздник, вы как? Гости у меня, в общем, люди тихие.

...За накрытым столом разместились человек десять, шумели, говорили одновременно, да еще бородатый парень напевал под гитару:

Ах, дорогая эфиопка,

Ах, эта ручка, ах, эта ножка...

Пружинистый, гибкий Яша не отпускал Мышку:

– Слушай сюда. У меня было шесть заводов, три теплохранителя...

– Здесь?

– Здесь?! В Союзе! А здесь эксплуататоры! Что я сделаю, если меня эксплуатируют? Слушай сюда...

Одутловатый, с усами щеточкой Григорий Моисеевич захватил Марину:

– Ну и что?! Толстой и Достоевский не любили Петербург, ну и что из этого следует? А Пушкин – любил! Люблю тебя, Петра творенье, люблю твой строгий, стройный вид, Невы державное течение...

Женщины, вынужденно слушая подгулявших мужчин, следили за своими: Мышка за Микой, а Марина за молчаливым мрачным красавцем суперменистого типа. Илья был пьян и пытался произнести тост:

– ...что бы ни случилось... знаете... что бы ни случилось... я никогда не пожалею, что приехал сюда...

Супермен усмехнулся. Мышка сказала ему:

– Ешьте хлеб, мы его вчера в Москве покупали, настоящий русский черный хлеб.

– Я не люблю русский хлеб, – холодно отсек супермен.

– Евреи, между прочим, Мышка... слушай сюда, ничего твоему Мике не сделается, евреи, между прочим, самый паскудный народ в мире, самые эксплуататоры...

Илья распаковывал вещи.

– А когда мы в Израиль поедem?

– Мы в Израиле. Это Израиль.

– Нет! – Мика запаниковал.

– Мы отдохнем и знаешь куда пойдem? – успокаивал его Илья. – Знаешь? На море! Помнишь сказку про Буратино? На берегу Средиземного моря жил старый-старый папа Карло. А теперь мы тут, на этом самом море.

– Как папа Карло, – сказала Мышка.

– Не хочу на море!

– По-моему, он заболел.

– Просто устал, надо его спать уложить.

– Где у нас градусник?

– Зачем тебе градусник? Он просто устал!

– Чего ты кричишь?

– Я кричу?!

Постучали в дверь и вошла высокая молодая женщина, та, что ссорилась с соседками в коридоре.

– Можно? Здравствуйте, я ваша соседка, так что давайте знакомиться. Меня зовут Марина.

– Илья.

Мышка рылась в бауле.

– Я хорошо помню, что положила градусник вместе с лекарствами.

– Ка-акой богатырь, – взялась гостья за Мику. – А я знаю, как тебя зовут. Хочешь скажу? Тебя зовут Мика. Как я узнала?.. У него нет температуры.

– Ты не помнишь, куда я положила лекарства? – Мышка не хотела замечать гостью.

– Вы можете мне поверить, – терпеливо сказала Марина. – Я врач. Я не педиатр, но у меня пятнадцать лет стажа. Антон!

– Ну, – послышалось из-за стены.

– Принеси мороженое! – велела Марина и подтвердила то, что прочла в глазах Мышки и Ильи: – Да, тут такая слышимость. Это не стена, а перегородка. За ней мы с Антоном.

Семилетний мальчик в очках и кипе принес мороженое. Получив его, Мика успокоился, а Марина сказала сыну:

– Возьми в коробке на столе шекель и сходи купи себе свой арктик-керах¹. У нас, – продолжала она объяснять Илье, – общий номер. Его разделили перегородкой. Сколько с вас взяли?

¹ Арктик-керах – мороженое.

Пока Борис решал, вступить ли за родителей или промолчать, Илья продолжал свое нападение:

– Может, посоветуешь, где перекантоваться пару дней? Куда мне ехать из аэропорта?

– Илюха, выбирай центр страны. Только не север. Они там в аэропорту всех гонят на север или в пустыню, а там совсем нет работы.

Жена сказала:

– Что ему было ехать сюда?.. Идиот.

– Да, да, обязательно повидаемся! – Борис положил трубку и сказал жене:

– Он все намекал, чтобы у нас остановиться.

– А ты готов всех к себе взять, – несправедливо упрекнула жена.

Илья вернулся к Мышке. Она сидела в почти уже опустевшем зале с заснувшим Микой на руках.

– Привет тебе от Бори и Светки, – сказал Илья.

– К ним нельзя?

– Не получается.

– Я ж говорила.

– Ну что ты нервничаешь?

– Я не нервничаю.

– Нет, ты нервничаешь.

– Да я не нервничаю, это ты нервничаешь... Листок упал.

– Что?

– Листок у тебя упал, все свои адреса растеряешь.

...В обшарпанном гостиничном коридоре им пришлось с чемоданами в руках продираться среди ссорящихся женщин. «Скажи своему Антону, чтобы не водил сюда черномазых, они всех перезаразят!» – «Как бы ты сама всех не перезаразила, расистка!» – «Что?! Вы слышали?! Проститутка!!» Илья открыл дверь с номером 415, и они с Мышкой увидели запущенное, какое-то нежилое помещение с мусором, оставшимся от прежних жильцов. Из ржавой раковины сиганула и повисла на стене под самым потолком полупрозрачная ящерица.

Мышка без сил опустилась на голый матрас. Мика чего-то испугался и жался к ней.

– Мика, смотри, как хорошо тут, – бодрилась она.

– А когда мы домой поедим?

– Мы дома!

– Нет!

– Да, Мика. Это теперь наш дом.

ГОСТИНИЦА ЦАРЯ ДАВИДА

*Киноповесть*¹

...Они приземлились, но они еще пассажиры, эти люди в креслах рядами, семьи со стариками и детьми. Они ждут, когда выкрикнут их имена, прислушиваются ко всем разговорам вокруг, роются в своих документах, заполняют бланки, стараются понравиться чиновникам, – они еще пассажиры и боятся куда-то опоздать. За их спинами, тут же, рядом с регистрационными столиками стоят телефонные автоматы.

Илья, сверяясь с бумажкой, набрал номер.

– Боря? Привет, Боря!

В жаркой Тель-Авивской квартире Борис с женой лежали в кровати – гладкие, потные, молодые. Прикрыв трубку, Борис пояснил жене:

– Это Илья. Из аэропорта звонит.

– О господи, какой еще Илья?

Илья усердствовал:

– Привет тебе от твоих родителей! У меня письмо и посылочка для тебя!

Борис передал жене:

– Письмо от стариков и посылка.

– И здесь нет покоя, – сказала жена. – Пусть по почте перешлет.

¹ Печатается с сокращениями.

плоть и кровь, войти в тебя как некая естественная часть твоей жизни, дойти до твоего сознания своей неоспоримой реальностью.

...В Старом городе Ефрем знает каждый дом, каждый камень, каждое дерево. Святая Земля — это книга, великая книга, которую Мастер читает вслух. Война его народа — это его Война, и не только Ливанская, в которой он участвовал вместе со своим сыном-десантником, но и Шестидневная, которую он пережил в России, и даже та, невероятно далекая, когда был разрушен Второй Храм, и та, даже та, самая давняя, еще в начале времен... Всем этим несметным сокровищем он щедро делится с окружающими его людьми, литераторами, художниками, которым только еще предстоит найти, понять, обрести...

Тонкий знаток еврейской истории, философии, иудаизма и его сокровенного учения — Каббалы, Ефрем Баух собственными силами прошел нелегкий путь Познания, поднялся ступенями безмерной Лестницы Иакова и сегодня ведет за собой многих.

Это ли не счастливая судьба писателя?

Леонид Гомберг

летном живом жесте, последовавшем огорчении и начавшемся в тот же миг торжестве Истории.

Целые цивилизации мертвы, а жест этот, неловкость заревого утра человечества, когда Ривка или Рахель уронила кувшин, — жив и пронизывает тысячелетия».

Ефрем Баух родился в Молдавии в 1934 году. В России издал несколько книг стихов — «Грани» (1963), «Ночные трамваи» (1965), «Красный вечер» (1968), «Метаморфозы» (1972).

Но по-настоящему дарование писателя раскрылось после переезда в Израиль в 1977, где уже через год после репатриации вышел его поэтический сборник «Рухах», за который он был удостоен литературной премии Рафаэли. В начале 80-х появляется его первый роман «Кин и Орман», ставший началом грандиозной много-томной эпопеи под общим названием «Сны о жизни».

Далее последовал роман-эссе «Камень Мория» (1982).

«Текущее этим бременем (событий) и временем пространство жизни имеет свои внутренние законы, в которых элементы созидания и разрушения равно важны, и развалины Иерусалима и Рима не менее, если не более созидательны, чем разноможающиеся простым делением архитектурные элементы новой жизни».

Выдающимся достижением писателя стал его известный роман «Лестница Иакова» (1987), остро сюжетное психологическое повествование, главный герой которого врач-психолог Эммануил Кардин, пройдя адскими тропами брежневской застойной тяготины, обретает новые ориентиры, лишь встав на путь постижения духовных истин своего народа.

Потом — роман «Оклик» (1991 — 1992).

Сегодня к выходу в свет готовится пятая книга «Снов о жизни».

Союз русскоязычных писателей, входящих в Ассоциацию союзов писателей, насчитывает сегодня около двух сотен поэтов, прозаиков и публицистов и по численности уступает лишь организации писателей, пишущих на иврите. В его составе такие известные авторы, как Игорь Губерман, Давид Маркиш, Дина Рубина, Михаил Хейфец, Елена Аксельрод и многие другие. Во главе Союза вот уже много лет стоит Ефрем Баух. Причем не просто — «стоит», «сидит», «возглавляет». Несмотря на непомерную занятость общественной и политической деятельностью, на титаническую литературную работу, Ефрем — душа писательской организации. Вечера, семинары, экскурсии для литераторов — все это не просто «отбытие номера», а, равно как и художественное творчество, дело его жизни...

Писатель, репатриировавшийся на историческую родину, как и все прочие смертные, пребывает банальным эмигрантом до той самой поры, пока всем своим существом не станет неотделимой частью своего народа, своей культуры, своей истории, то есть всего того, о чем в недавнем прошлом он имел самое смутное и поверхностное представление. Слова «Иерусалим» и «Иерихон», озеро Кинерет и крепость Массаса, Кумранские рукописи и царь Давид — все это до поры до времени абстрактные понятия, символы, пусть подсознательно и дорогие, но совершенно неосязаемые. Все это каким-то непостижимым образом должно обрести

ВВЕРХ ПО ЛЕСТНИЦЕ, ВЕДУЩЕЙ... ВВЕРХ

(о прозе Е.Бауха)

Ефрем раскрыл книгу и начал читать. Это был «Сон об Иерусалиме» из поэтического сборника «Руах», стихотворение, написанное в России в 70-е годы задолго до репатриации. Поэт, рожденный в Союзе, впитавший в себя русскую культуру, пишущий по-русски, грезит, тоскует, фантазирует об Иерусалиме, об Израиле, о Святой Земле...

Да, существует мощная река единой русской культуры, но рядом с ней живет и небольшой родник – еврейская русская культура. Она возникла в России задолго до образования государства Израиль, жива она и сегодня — и в диаспоре и, конечно, в Эрец Исраэль. Причем, как ни странно, образование еврейского государства с его многоликой культурой, привезенной извне, дало новый толчок развитию этого непреходящего явления — еврейской литературы на русском языке.

В диаспоре и по сей день проживает примерно две трети всех евреев. Совершенно естественно, что в странах рассеяния писатели-евреи пишут на своих родных языках. Россия вовсе не является в этом смысле исключением. И это неудивительно, если учесть ту лютую безжалостность, с которой во времена сталинщины вырубалось всякое слово на иврите, а затем и на идиш.

Среди большого разнообразия тем, изначально связанных с еврейской литературой диаспоры, преобладающими представляются лишь две: жизнь еврейского местечка вне зависимости от географии (Касриловка Шолом-Алейхема, украинное московское Черкизово Ф.Розинера, центральное Зарядье Е.Бауха) и – тоска, вечная, непреодолимая тоска о возвращении на Святую Землю.

Приехав из России в Израиль, писатели не отказались от своего творческого кредо, да и не могли бы этого сделать, даже если бы захотели. Большая алия 90-х годов создала так называемый русский слой, который в лице литераторов-репатриантов нашел своих бытописателей — апологетов и нигилистов. Изменилась только география. Но тоска осталась неизменной... Возвращение, Восхождение, Алия не есть простое перемещение в пространстве: каждому возвратившемуся на историческую родину предстоит долгий и нелегкий путь к вершинам своей духовной культуры.

Если мы намерены всерьез говорить о современной еврейской литературе на русском языке, то имя Ефрема Бауха, самого значительного «русского» писателя сегодняшнего Израиля, должно быть, конечно, произнесено в первую очередь. Мыслителю, поставившему себе невероятную цель: охватить многомерное сознание еврейского общества — и Израиля, и диаспоры — в одиночку удалось подняться в такие заоблачные дали, откуда единственно и открывается величественный пейзаж многотысячелетних процессов мировой истории.

«Раскопки у южной стены Храма. Иерусалим. Город Давида.

В разрезе – древний водоем, на дне которого при раскопках обнаружили кувшины. Более двух тысяч лет назад их уронили иерусалимские хозяйки.

Цивилизация за цивилизацией превратились в прах, лишь кувшин, который женщина уронила на дно водоема, высохшего в тысячелетиях, повествует о мимо-

через реку, и попутчики его, охваченные страхом, как столбняком, с ужасом смотрели ему в глаза, светящиеся веселым безумием. День за днем прятался у берегов, до рези в глазах вглядываясь в любое завихрение пыли на равнинах Моава, зная, что однажды эта пыль обернется мерно и сильно идущим народом. Он уже приближался к водам Иордана, уже можно различить отдельные группы вооруженных людей и безоружных в священнических одеждах, и шли они, словно бы не иссякая от самого Авел-Шитима.

Это был народ, и только он один мог понять, какое чудо свершилось, но уму человеческому непостижимо было, как из скопища людей – стариков, женщин, детей, ушедших, как в пекло, в пасть к дьяволу пустыни, мог образоваться этот сильно и мерно идущий по земле народ, от поступи которого сотрясались степи, города и народы.

И он видел, теперь он видел ясно: священники вошли в высоко текущие воды, и опять воды встали стоймя, более чем на десять километров вверх по течению, от самого Адама, что недалеко от Цартана, и опять, как тогда, народ этот переходил посуху, и он удостоился дожить то этого, и значит, дано ему было свыше остаться в живых, увидеть два подобных чуда, а народ переходил и переходил, а перед глазами его так ясно вставало жаркое, ольывающее сухостью жерло пустыни, поглотившее беспорядочное скопище рабов с их семьями и скарбом и теперь выпустившее, в бессилии, крепкий, обоженный, как кувшины, с горячим дыханием в ноздрях народ, и он, притаившись, совсем рядом видел их лица и узнавал как бы помолодевших отцов их и не узнавал – в прямой и сильной поступи, свободной уверенности.

Он был чужд им, и, заметив его, они приняли бы его за соглядатая и тут же убили бы, но для него главным было другое: замкнулась связь Времен, которая сразу и целиком высветила смысл его жизни, казавшейся бессмысленной, ибо приподняли край завесы Господней да так и оставили в неведении. Теперь все стало на свои места, и ни смерть от их меча, ни последующее неверие суетливого рода человеческого ничего уже не могли изменить...

А народ этот переходил и переходил с того берега, ми эвер¹ Иарден, и шел в сторону Гилгала, и стены Иерихона, что напротив, уже подрагивали, чтоб окончательно рухнуть при звуке труб этого народа...

¹ Ми эвер – со стороны.

Вяло, буднично шел сороковой год от тех дней. В таверне, где после долгого пути собирались курить кальян караванные купцы, начали носиться и усиливаться слухи: из пустыни, по ту сторону реки Иордан, шел какой-то сильный народ, и уже пали на его пути аморрейские цари Сигон и Ог, и в городах по ту и эту сторону Иордана ослабело сердце и не стало духа против того народа. До того уже страх дошел, смеялись купцы, что народу тому приписывают и вовсе невозможное: будто бы Бог их иссушил перед ними воды Черного моря, когда они почему-то шли из Египта. Чуть ли какая-то, говорил купец, затягиваясь из трубки, и только сумерки помешали ему видеть белое лицо и дрожащие руки соседа. Господи, что они говорят: невозможность, чуть ли... Все дремавшее в состарившемся сознании, покрытое сорокалетним пеплом, вернулось с прежней силой. Да, это были *они*.

По Филистимской дороге он опять идет в Газу, подымается к Араду, вот уже под ним – тусклый блеск вод Мертвого моря. Он ночует в городе Цоар, у южного берега, при устье ручья Зеред. Здесь уже просто гул стоит, с утра до вечера только и говорят о народе, от которого отделяют всего лишь вот эти Моавитские горы, и вроде бы идет он на север по Царской дороге, и давно миновал Кир-Моав, пересек ручей Арнон и сейчас где-то между Дивон-Гадом и Алмон-Дивлатаим.

Из Цоара он подымался в горы, идет по кочевым тропам, и между скал то возникает, то пропадает слева темно-синяя, как закаленная пламенем сталь, поверхность Мертвого моря. Загорелый дочерна, сухой, как мумия, с седыми курчавыми волосами на груди, завернутый в белые ткани, с горячечным блеском в глазах, он пугает всех, кто встречается на его пути.

С высот между Мертвым морем и Дивон-Гадом на востоке он впервые видит шевеление и мерное движение масс далеко внизу. Они идут, казалось бы, не очень быстро, но напор их подобен удесятеренной силе шедшего в ту ночь войска фараонова, и горячее дыхание их доносится сюда, на высоты. Ночью движение отмечено огнями костров. Он еще не видел их лиц, но он уже знает, чутьем приобщенного в то время к Событию, что это – они.

Он мало ест, у него совсем легкое дыхание, он весь как бы превратился в одни глаза. И глаза эти лихорадочно следят из-за скалы, в любую щель проникают, если туда доходят отблески их походных огней. У подножья горы Нево они стоят долго, словно набираясь мощи. Когда они вошли в Шитим, словно затопили город, он тайком добрался до берегов Иордана. Воды стояли высоко, как бывает в дни жатвы пшеницы. На случайной лодке переправился

райского сада, что на Ливане, и надо было дойти до того места, где через перевал можно было проникнуть в пустыню Фаран. Боязнь этой стеклянно-желтой жаркой пучины удесятерила силы.

Он шел вдоль сухого вади¹, по которому весной, взбухая пеной, бежал к морю ручей, как говорят, текущий от каких-то глубинных оазисов среди горных хребтов. На второй день он дошел до места, где кочевая дорога неожиданно заканчивалась, и продолжение ее от древних времен не было известно, на третий – среди обладающих мертвым жаром голых скал – он понял, что не рассчитал сил и вряд ли вернется. В распадке между скал виднелась внизу опаляющая пустыня Син, и то ли мираж плясал перед глазами силуэтами пальм и журчанием воды, то ли и вправду в дальней дали брезжил оазис Кадеш-Барнеа. Последнее, что он увидел и что, как ни странно, вызвало болезненный приток сил, – достаточно обширное кладбище, какие, но гораздо меньших размеров, встречаются вдоль кочевых дорог. Величина его смутно рождала догадку, что оно связано с теми. У подножья близлежащих скал разбросанные в беспорядке вызывающе белели человеческие кости, и последнее, что мелькнуло в сознании, – почему-то успокаивающая и как бы даже насмешливая мысль: вот он, конец истории, начавшейся тем Событием...

Его опять спасли купцы, и, очнувшись в сумерках у их костров, на каком-то становище, он в состоянии эйфории стал их расспрашивать, видели ли они там, в пустыне, большую массу народа с семьями, детьми, скотом или хотя бы большие поля костей. Купцы качали головами, отделявались репликами: мало ли какой люд шляется по пустыне, она ведь притягивает, заражает безумием, и человек, не зная, где колодец или источник, бросается в это пекло и, часто бывает, мечется и умирает, а в десяти шагах за холмом – колодец или оазис.

Купцы привезли его в Яффу. Текли годы, он жил недалеко от шумного порта, равнодушно глядел в морскую даль, пробавлялся случайной работой, старел в одиночестве, и даже вид соотечественников, бритобородых сынов Нила, не вызвал в нем оживления. В свободное время покуривал кальян, и в ярких, полных свежих красок галлюцинациях вставали халдейские города, звезды Двуречья, шумные караванные пути, но никогда не возникало в его видениях Событие, словно бы и в памяти, как в цветущей дуге цивилизации, прямо посреди нее был провал, куда все это исчезло. И сны почти не снились.

¹ Вади (здесь и далее – иврит) – русло.

ка, и по горам, вотчине Амореюв, спускался в ханаанские города в долине Иордана. И вправду видение ослабевало. Но однажды ненароком увидел людей, чье развязное и навязчивое любопытство ко всему окружающему и плохо скрываема неувренность побудили в нем подозрение, и он увязался за ними, пытаясь поближе рассмотреть их лица, и сердце его опять бешено колотилось: он почти не сомневался – они были из тех, словно воскресшие из небытия, он даже мог про себя назвать имена некоторых – вот Игаэль, вот Иошуа, вот Амиэль. Он долго шел за ними, боясь подойти, как боятся иметь дело с призраками. Они все высматривали да высматривали, и в Хевроне он их потерял: исчезли, как сквозь землю провалились, быть может, опять в одну из пучин...

А потом прошло еще пятнадцать лет и еще пять, и он все странствовал по этой цветущей дуге цивилизации, луком изогнувшейся вдоль моря и Двуречья, где кишело множество разного люда, города и караванные пути полны были пестроты, гула и движения, и чудом было то, что среди этого огромного пространства людской суеты и интенсивной жизни в самой середине ее ушло в небытие, как в какой-то провал, исчезло огромное племя, поглощено было жарким зевом пустыни, и уже начинало казаться, что происшедшее и вправду – сон, тем более, что вокруг шумело новое поколение, умирали те, кто был невольным соучастником десяти казней, и в знакомых тавернах молодые слушали его со скучающим любопытством, перебрасываясь последними новостями, какой царек с каким опять подрался, и местные войны, как семейные свары, беспрерывно завязывались то в приморской низменности, то в горах, то в постоянных дворах и питейных домах. И он выглядел взъерошенной одинокой белой вороной, когда, впадая в пьяный раж, прославлял Событие, описывал мелкие и жуткие детали, чтоб убедительней было, но за ним уже прочно укреплялась слава сумасшедшего. Событие представлялось до замшелости древним, обломком полузабытой легенды, подобным черепкам старых сосудов, которые находили на караванных путях, разрывая пепел кострищ. А видеть участника События казалось и вовсе безумием.

Однажды в состоянии какого-то трезвого столбняка, когда словно бы твердеют глазные яблоки и в твой взгляд до рези вливается выпуклая и угловато-жесткая реальность окружающего мира, он собрался в путь, взял еды и питья на несколько суток, все это взгромоздил на верблюжий горб и двинулся от Газы на юго-восток по овечьего цвета равнине с невысокими, как покатые овечьи бока, холмами, проросшими скудной и жесткой растительностью. На востоке, вытягиваясь к югу, шли горы от самого Эдема,

щей массой неразличимо двигалось в ночи, шестьсот колесниц единым напором разгорячало воздух, хотя шел низовой ветер, раздувая ноздри запахом близкого моря. Вот уже совсем рядом колеблются огни костров, их множество, как и людей, окружающих эти костры, и они стремительно приближаются, еще мгновение, кажется, и они будут стерты с лица земли неотвратимым движением огромного войска, но в этот миг словно бы кто-то гигантской губкой стирает с грифельной доски ночи костры, скопища. Сплошной чревный мрак, тягучий и клейкий, в котором, увязая, тяжело идут кони, люди, катятся колесницы – облачный столб, по краям которого различимо что-то вдали, как при боковом зрении, встает перед глазами. Потом все – словно бы в чудовищном сне. В неожиданно разорванной, подобно тяжелой ткани, сплошной тьме – сначала брезжуще, будто протираешь глаза, потом более отчетливо – воды морские, вставшие стоймя, дыбом, как волос на голове, и между двумя стенами вод – уходящие по дну люди, арбы, скот и уже входящие в этот прозор – кони, колесницы, воины и какой-то непрерывный рев, то ли ржание коней, то ли рев вздыбленных вод, прерванных в обычном своем движении и набеге волн, вопли и звон металла и внезапный страх у едущих сзади, и колеса, внезапно отваливающиеся у колесниц, и колесничие, по пояс вязнувшие в иле, и столь же внезапно опадающие воды, а мы, тяжело-вооруженные, бежим навстречу воде, и последний великий крик, и тотчас – великая тишина вод, покрывших все войско и колесницы. И в восходящем, по-утреннему ясном солнце последнее – ярко, за миг до потери сознания увиденное и навек врезавшееся в жизнь, – две пучины – одна морская, вглубь, с копошащимися людьми, лошадьми, колесницами, другая, пустынная, – вдали, залитая расплавленным стеклом раннего жара, куда, как в жерло печи, уходит другое скопище...

И с криком просыпаешься...

Две пучины: мгновенная гибель в одной и медленное умирание – в другой, как две незалечиваемые раны.

Он хорошо знал многих из тех, ушедших: вереницей лиц проходили они в его снах. Говорило ли кровное родство, хотя он усиленно гнал даже мысль об этом? Зачем нужно было ему это спасение, ставшее ежедневной мукой? Долгий отрезок времени после того мига вообще выпал из памяти. Он припоминал себя, как внезапно приходят в сознание или выходят из материнского чрева, в одной из таверн Яффы, и опять, как ни странно, первый звук пришедшей жизни – шум волн великого среди земель моря. Он не мог усидеть на одном месте, словно бы хотел сбегать от видения. И странствовал по городам Негева, вотчине царей Амали-

зах, плясали сады Семирамиды, так легко висащие в воздухе поверх каменных стен, но куда бы его не заносило, он избегал набережные, отводил глаза от мощно бегущих желтых вод Евфрата. Увязавшись за купеческим караваном, он шел в Мари, подолгу жил в Харане, Дамаске, сменил уйму постоянных дворов по всем городам – государствам царей ханаанских, царей Амалика. Он напивался до потери сознания в Газе и Яффе, так он пытался вычеркнуть из взгляда и из памяти видение великого моря, которое в городах этих было видно, куда бы ни пытался от него сбежать, нарочито лезло в глаза, и бежали, бежали белые воротники волн, и из-под них выворачивалась и выворачивалась пучина...

Там, в Двуречье, в халдейских краях, он чувствовал себя спокойнее. Здесь, направляясь в родную страну нильскую по морской дороге с караванами, все время пребывал в напряжении: забываться, взглядывал направо – вид моря обжигал. Приходилось идти или колыхаться на верблюжьих горбах, все время отворачивая голову влево. Но и на царской дороге, в глубине гор Иудеи, он старался не глядеть направо, а взгляд сам тянулся к убегавшей в пекло пустыне, к этой влекущей стеклянно-жарким своим безумием – пучине...

Море и пустыня – две пучины – одна вглубь, другая вдаль – были его мучением до скончания века.

В тавернах Мемфиса, где толклось множество люда из нильской долины, из земли Гошен, начинал, прикрываясь незнанием и чужеземной бородой, затевать разговоры, истязая самого себя даже с наслаждением при коверкании родной речи. Может, и вправду это болезненное удовольствие связано было с тем, что он знал о своем происхождении? Родителей не помнил, но говорили, что он не чистокровный сын Нила, что какой-то частью он из тех. Может, это его и спасло?

Удивительно, как память человеческая коротка. Всего-то шесть лет прошло, а люди смутно припоминали: было что-то, вроде бы давным-давно, нашествие жаб, или песьих мух, или саранчи, град страшный, язва моровая, тьма долгая, первенцы умирали, но помнят это, быть может, потому, что шло это подряд одно за другим, иначе бы начисто забыли. Почему? Кто-то, видно, прогневал богов подземных? Илом забвения покрывало память. Это спасало. И он вместе с ними пил, толкался на площадях и в храмах, впадал в преувеличенную радость и минутами ловил себя самого на мысли: может, и вправду ничего этого не было...

Но приходила ночь. Стоило только задремать, как начинались движение, конский тяжелый топот, металлический звон оружия, скрип колесниц, мощное дыхание коней и людей, и все это давя-

напрочь преступные грешные души, чтоб в обход Божьей справедливости забросить их в рай, но рай холодно и безучастно расступался, и рыба вынуждена была возвращаться вниз, в преисподний мир, уже разворачивающий свои садовые кольца, бутырские валы, кремлевские рвы.

В этой страшной «пермской обители» обнаружил забитое инъекциями существо, из истории болезни которого явствовало, что оно было ни более ни менее как милиционер, и в маниакальной ненависти своей к советской власти однажды в течение целой ночи отбивало голову памятника Ленину в одном городке: милиционера потрясло и привело в бешенство, что внутри Ленина оказались железные прутья арматуры; однако их перешиб, а голову отволоч и закопал за несколько километров и объяснял, что сделал это единственно потому, что представлял, как на суде перед ним на красном бархате судейского стола будет лежать гипсовая отрубленная голова Ленина, и ему будет ужасно неприятно. В мире массового психоза самая безумная идея оказывалась реальной почти на уровне быта.

СВИДЕТЕЛЬ СОБЫТИЯ

(из книги «Камень Мория»)

Как скрывает калека свой недостаток, так он скрывал то, что был очевидцем События. Не помогало: это было неотвязно.

Затем, как тот же калека, от стал обращать этот, как ему казалось прежде, недостаток в достоинство. Но и это не помогало: не верили.

То, что он остался жив, было сверх понимания. Минутами ему казалось, что он – некто другой, не тот, кто видел это своими, вот этими глазами. Прошло уже немало лет после События, и они виделись ему сплошным побегом от тех мгновений. Бритоголовый и бритобородый по обычаю родной страны нильской, он отращивал волосы и бороду и с удовольствием в каком-то беспамятном наслаждении ловил свое отражение в зеркалах, продающихся среди бесчисленной многоцветной пестроты базаров Ура халдейского, пил вина разных марок и крепкую сикеру в тавернах и увесилительных домах Вавилона, знаменитая башня двоилась в его гла-

варищем Микояном: от Ильича до Ильича без паралича» – опять о себе; «я их, бандеровцев, сионистов и прочих антисоветчиков, как вошей, давил» – это уж совсем о себе; «Хегеля ему подавай, эту, как ее, хенеалогию фашистскую, а?..» – это уже не о себе. Кардин вздрогнул, чувствуя, как знакомая тошнота подкатывает к горлу, попытался отвлечься, как это делал нынешней ночью, вспоминая лучшие минуты тех ленинградских ночей и дней. Но всплывало лицо Даничева, лица других – верующих, сопротивляющихся, просто неугодных «вошей», истории болезни которых он читал, и каждую, отчаянно сопротивляясь внутренне, примеривал к себе и чувствовал, что каждая могла бы быть шита и на него.

Между тем сделалось какое-то движение. Знакомый коротышка-майор, багровый от гордости, что получил свою порцию из рук «самого», бойко распорядился выпрождением падающих с ног дорогих гостей и их собутыльников.

Нестареющие курсанты трубили за бесконечными заборами – серыми, зелеными, деревянными, каменными, с колючей проволокой, сигнализацией, вспаханной полосой, вышками, – и не спасала, не спасала память студенческой юности, и хотелось в детство, как тянет иногда свернуться клубком: вернуться в утробу и вообще не родиться...

Увозили в аэропорт штабелями. И там, в отдельной для особых гостей комнате, продолжали лакать. Страсть к даровой выпивке одолевала возможности организма. Уже стоя у трапа, отъезжающие целовались друг с другом, не узнавая никого, путая улетающих с остающимися, и тут же начинали драться. Одна из девок впала в истерику, рвалась в самолет, визжала, что надоело ей в этом пермяцком дерьме, что хочет в любую дыру, к чертовой бабушке, но только не оставаться. Ее уговаривали, под видом объятий заламывали руки. Пьяный вдрызг Хлыстов, наоборот, изъявил упорное желание остаться навсегда в Перми, несмотря на уговоры более стойкого к выпивке Волченкова. Он отчаянно упирался, хватался за окружающие предметы, потом за трап, но его силой втолкнули в самолет, впихнули в кресло, и он мгновенно уснул.

В полупустом старом, трясущемся, как колымага, среди облаков самолете ИЛ-18, в разболтанных креслах со стертymi, а местами облезлыми багрово-красными чехлами спали мертвецки пьяным сном дорогие гости, и скудный ацетиленовый свет падал на их синюшные лица. В кондиционированном воздухе пахло клопами.

Кардин отрешенно глядел в иллюминатор, и по-прежнему за ним простирался рай, солнечный и пустынный, и самолет казался дьявольски ревушим Левиафаном, гигантской рыбой из библейской книги пророка Ионы, проглотившей, однако, не пророка, а

оживленно поблескивали, и главное, в разговоре никто из них не жестикулировал, а все потирали руки в предвкушении. Хлыстов с Волченковым, под хмельком уже с ночи, ходили в обнимку, как неразлучные братья, гордые возложенной на них миссией. Им было поручено написать какой-то кому-то куда-то отчет о мероприятии, в котором они все участвовали, но никто не знал, что же это было: то ли проверка, то ли конференция, то ли симпозиум, то ли обмен опытом, то ли вообще прихоть кого-либо свыше, не поддающаяся объяснению, но, как ни странно, именно эта неопределенность и бестолковость воспринимались участниками как самое важное в деле, как нечто хитро задуманное, чтоб кого-то – неважно, что и самих участников – сбить с толку. И неизвестно еще, кто кого больше боялся: местные ли приезжих или приезжие местных. Но завал бутылок на столе объединял их в искреннем чувстве: приближались минуты их истинного человеческого братства. И Кардин, старающийся скрыть напряжение и нерассасывающуюся тяжесть под ложечкой вымученной улыбкой, не вызывал даже подозрения или излишнего внимания, как ослабевшая особь в стае, ноздри которой раздувает запах близкой добычи. Его похлопывали по плечу, сажали, предупредительно подвинув стул, наливали, чокались. Сигнал к хищному броску самим своим появлением дал тот человек в гражданском костюме, но теперь даже и без галстука брезгливо подергивающий шейей. Кардин тоже пил, но ни опьянение, ни расслабление не приходили, а вокруг все глотали и глотали – «на брудершafft», «на посошок», «по маленькой», «на одном духу», «прямо в пищевод», «с горла» и опять «на посошок», главный был уже пьян в стельку и обнимал раскрасневшуюся девку скорее для того, чтоб не упасть. Кардин украдкой разглядывал человека, брезгливо поводящего шейей: тот был невысок, плотен, с одутловатым лицом человека, работающего по ночам, с редкими волосами, зачесанными назад, сквозь которые поблескивала красноватая лысина, говорил хриплым властным голосом, произносил тосты, речи, шутки, анекдоты, как приказы, ужесточая квадратное свое лицо, явно вопреки его желанию рассчитанное на скучную и безвкусную жизнь. О, как он жаждал веселиться: лающе смеялся, натужно тискал девок, но как-то походя, и пил, мешая все напитки, наливаясь ими и багровея.

До слуха Кардина доходили отдельные какие-то реплики, говорящие о детски свирепом самохвальстве этого человека: «...вы приехали не делиться опытом, а делить ответственность» – это об их мероприятии; «у меня орденов, товарищи, – операцию надо делать по расширению груди» – это о себе; «у меня опыт работы с то-

Кардин читает: «Меня кололи аминазином и еще какой-то пакостью. После выворачивало, трясло, как в эпилепсии. Можно ли отменить хоть часть инъекций? Не рискуйте. Я не жалуюсь».

Духота неимоверна.

На миг кажется Кардину – как бывает при выключении сознания, – это не Даничев, это он, открывшийся истинным, сидит перед самим собой, неистинным.

Господи, до такого раздвоения личности дойти?

Или – разложения личности?

И одна его сущность говорит лозунгами, как тот кирке-горовский пук соломы со стеклянными глазами. И другая пишет и, вероятно, наиболее искренна. А третья думает, третья трясется в страхе: зачем, зачем я, болван, все это делаю, ведь бесполезно? А вдруг у них подсматривающие камеры? В любой миг ворваться может конвойный? Не забыть, не забыть даже клочок бумаги – изорвать, сжечь, слить водой в унитазе гостиничного номера.

Но, но... можно ли себе представить, что означают для заживо погребенного эти несколько минут простого человеческого общения?

Кардин пишет: «Как жить после всего этого?»

Дрожащие пальцы Даничева выводят твердо: «Крепитесь!»

Кардин встает.

Он уходит на волю – со всеми ее страданиями, фальшивыми ли, истинными ли, но – на волю.

А этот – заживо погребенный, без всякой надежды на выход, без даже намека на желание идти на попятную, дорожащий совестью больше, чем жизнью, остающийся в лежище мертвых, – жалует его и вместо «прощайте навек» или «не поминайте лихом», говорит: «Крепитесь!»

Кардин поднял руку, слабо и нелепо пошевелил пальцами, пытаясь изобразить жест прощания. И вышел из каптерки, как выходят из склепа.

В день отлета из Перми, с утра, в еще не пришедшем в себя с ночного похмелья ресторане гостиницы, перекрыв все ходы-выходы, устроили отвальную отлетающим дорогим гостям. Соединили несколько столов, и на них среди скудной закуски завалом громоздились бутылки – спирт, водка, коньяк, перцовка и даже спотыкач. Все кружились поодаль, как стая хищников над жертвой, вокруг стола, ожидая клича вожака – наброситься, растерзать, не оставив и клочка. Были здесь и незнакомые для Кардина мужики и девки, но даже знакомые были неузнаваемы: лица их как бы набрякли томительной страстью нетерпения, глаза

даты, студенты. Но все можно выдержать. Умираю без книг и бу- маги».

– Вот вы опять за свое, – говорит Кардин, – неужели вы думаете, что совесть и душу можно сохранить лишь благодаря крайней озлобленности против окружающих, против страны, в которой вы живете?

– Ничего я не имею против страны, – говорит Даничев, – и если хотите знать, я верю в ее будущее. Но уже более шестидесяти лет нам затыкают рот кляпом, и свои ведь, а не германцы, как во времена Петра. Хотя и тогда свои работали. Не бульжник, а топор – вот оружие пролетариата...

Кардин читает: «Просил: хотя бы Гегеля «Наука логики». Обычное издание. Пригрозили инъекцией. Только вспомню названия – «Феноменология духа», «Генеалогия морали», начинает голова кружиться, как после недельной голодовки. Совсем лишен воздуха. Хоть час в день свежего воздуха... Не рискуйте. Я не жалуюсь...»

Всему научись: заживо погребенный умеет экономить воздух для дыхания, писать быстро, коротко и по делу, быть собранным в каждый миг, как в последний.

Кардин же еще недостаточно опытен – говорить одно, писать другое, думать третье – и все это одновременно, – хотя именно этим занимается все время, но в плане любительском, а не в каменном мешке, где вырабатывается невероятная жизнеспособность. Кардину не хватает воздуха, и он хватается его, как рыба, он истекает потом, улавливая из быстро начертываемых слов, что у погребенного нет зла ни на кого, ни на больных, ни на врачей, солдат, студентов-медиков, ибо он их жалеет: все они жертвы общего зла и тяжелой жизни, а он, упаси Господи, не жалуется, ведь фамилия его – Даничев – от предков, что на все отвечали: «Да ни че...»

В давно не мытое зарешеченное окно каптерки льется, отекает слепым белком гжучее пермяцкое солнце, и пришиблены немилосердным жаром города и веси, забвенные пространства, где обитают, мелко семеня и осклабясь в беззубой улыбке цинготными деснами, коми-пермяки, мордвины, татары, и нет более подходящего места, чем земля их предков, для создания лежбищ мертвой жизни – лагерей, тюрем, психиатричек, и названия сами так и ластятся к этим гибельным гнездам: только взять одно – Потьма, тьма и тьма все возможное время человеческой жизни.

– Гражданин доктор, – говорит Даничев, – я ни от кого ничего не требую. И это мне тоже вменяют в вину. Я говорю, что зла на них не имею, а жалею, и это у них вызывает здоровый смех. Для них это ответ безумного...

– Ладно, чего там. Одним все миром мазаны. Когда надо, и допрос можем, а когда и беседу... Волченков, в ту каптерку, понял?... И дежурного у двери...

И вот сидят друг против друга, в тесном помещении с часовым за дверью. У Даничева бледное худое лицо и усохшее тело, забывшие нормальные условия жизни, мелко подрагивающие, пропитанные безумием холодных ночей и затхлых полдней, безумием тусклых безвыходных стен и низких потолков вместо неба, в трещинах которых один всегдашний астрологический прогноз: захоронен заживо; безумием горящих всю ночь ламп и постоянно наседающих на тебя со всех сторон угрюмых искривленных лиц. А в прошлом, далеко за всем этим, как явствует из «истории болезни», – высокооплачиваемая работа в секретных частях, командировки по всей стране и вместе с этим замечаемые товарищами (стукачи не дремлют) проявления «негативного синдрома» (с чем его едят, даже Фрейд затруднился бы ответить), выражаемые в эйфоричном состоянии при слушании передач враждебных радиостанций и припадочном пристрастии к чтению антисоветской литературы. (За недостаточностью улик по «антисоветской пропаганде» или «измене Родине» и направлен в психиатрическую больницу, по сути, пожизненно.)

– Вы знаете, кто мы, – говорит Кардин, – слышали при обходе. Читал вашу историю болезни и стенограммы ваших бесед с врачами. Вы категорически не хотите выполнять их рекомендации. Что означает это нездоровое, я бы сказал, сумасшедшее упрямство? Ведь положение ваше безнадежно...

Кардин говорит, и рука его пишет на стопке принесенной с собой бумаги четким почерком: «Говорю для посторонних ушей. Знаю всю правду. Положение ваше безнадежно. Чем помочь?»

Даничев быстро прочитывает, поворачивает листок, берет ручку, говорит, и голос его неожиданно слаб, как будто лишили его звуковой энергии:

– Я здоровый человек, я об этом твержу врачам, и они знают, что это правда. Моя вина в том, что я говорю то, что думаю. Они называют это болезнью. У меня все отобрали. Только и осталась у меня моя совесть, моя душа. И я не могу их уступить ради чьей-то прихоти...

Кардин читает: «... Я вас отличил сразу. Благодарю. Сил нет, хочется поплакаться. Пять лет я не один: клевета, слезка, издевательства. Постоянно на моей голове – больные, сотрудники, сол-

ненасытно тех, себе подобных, еще и неизвестно почему вычеркнутых из жизни.

Наметанный глаз Кардина улавливал высунувшуюся из-под чистого покрывала грязную пятку больного, и застарелость этой грязи говорила о патологической антисанитарии, отмечал туберкулезный румянец на лице одного и сифилитические признаки на лице другого больного, а ведь лежали все вместе, почти вповалку. Более ста пятидесяти больных насчитал Кардин в отделении: можно было себе представить, что творится в этом тесном помещении для приема пищи, сидят почти друг на друге, выхватывают друг у друга ложки, миски. Пахнет хлоркой, значит, явно есть случаи дизентерии. Открытые к приезду «комиссии» окна не могут даже чуть проветрить застоявшийся, слежалый дух множества запертых, больных, угнетаемых людей. Господи, и это их учили в институте, какую особую атмосферу нужно создавать вокруг душевнобольного.

Так вот опускаются в Ад: как на вызов к пациенту.

Кардин не увидел, скорее, ощутил этого человека, невидимую энергию, излучаемую его спокойным бледным лицом. Человек полулежал в постели в затхлом углу и в толпящейся ватаге врачей внимательно выделял Кардина взглядом, и только по жадности, с какой были набросаны на листках бумаги, лежащих поверх одеяла, математические или физические формулы, густо наскაკивающие друг на друга, можно было определить, что дали ему бумагу только по случаю приезда «комиссии».

Вышли на свежий воздух, вдыхая его.

– Это тот самый Даничев? – небрежно спросил Кардин.

– Он самый, – сказал Волченков.

– История болезни у вас?

– Так точно, простите, да, да, у нас...

– Одному врачу не разрешено с ним беседовать, – сказал Волченков, избегая прямого взгляда, – минимум вдвоем или комиссией. Поверьте, он опасен.

– Послушайте, – обратился Кардин к главному, глаза которого бегали то ли от страха, то ли после очередной пьянки, – неужели специалисту необходимо выслушивать такие глупости, чтоб судить об уровне работающих у вас врачей?

– Вы только нас не пугайте, – враждебным голосом сказал главный, а глаза его светились заискивающим добросердечием.

– Речь идет о врачебной беседе, а не о допросе, – совсем уже взвинченно сказал Кардин, тут же жалея о сказанном.

Но главный как будто смягчился:

лядываешься, и скачут в глазах твоих мушино насиженными буквами – Пермь, Вятка, Казань, Колыма, Обь да Чердынь – о, почему только женские имена у этих гиблых мест? Почему?..

Не подобны ли они страшным маткам, пожирающим своих самцов во множестве после того, как те оплодотворили их своей жизнью, страданиями, духом, – пожирающими их и разбухающими мерзостью, жестокостью, каким-то уж запредельным равнодушием, чтоб родить того самого страшного... Левиафана, о котором, содрогаясь в страхе, бормотал Плавинский?

Неужели у соседей твоих так притупились клыки и слежалась шерсть, что не ощущают содрогания, идущего от тебя, Кардин, или, быть может, именно так эта отвратительная и неотвратимая матка заигрывает с очередной своей жертвой?

– Даничев его фамилия. Упорный бред...

– В институте Сербского лежал...

– И чего ему не хватало: крупный инженер, физик, ученый, в секретных частях...

– Что значит не хватало? Что ты мелешь? Он же спятил. В деле, тьфу ты, я говорю, в истории болезни записано: «Опасное развитие шизопатологии»...

– Вот, доктор Кардин. Познакомьтесь, да, да. Специалист по этому делу.

– Кардин.

– Волченков. Я и говорю, какой он ученый, все просит, как студент, какой-то курс лекций этого профессора, ну, забыл фамилию...

– Простите, вы какой кончили медицинский?

– Томский...

– Принесли халаты. Товарищи...

Разговорившись, расслабившись, «товарищи врачи» шли гурьбой в обход, перебрасываясь репликами. За нарочито рассеянным вниманием ощущал в себе Кардин то невероятное внутреннее напряжение, ту изматывающую памятьливость, от которой ничего не может укрыться: и предупредительные санитары у входа в отделение с конвойными глазами и коваными сапогами, торчащими из-под халатов, и обшарпанные палаты, которым наскоро пытались придать пристойный вид, сменив постель и салфетки на тумбочках, но палаты были набиты больными, кровати стояли почти впритык друг к другу; тихий гул голосов переговаривающихся больных, выдающих ослабленную таблетками и уколами ярость жизни, перекрывался властной болтовней ватаги врачей, и этот яростный шумовой поток растирал и распластывал безжалостно и

и потому все время подергивал шеей и брезгливо оттягивал галстук. Главный произвел бы впечатление своим прямотушием, если бы не лебезящие нотки, проскальзывающие в его голосе в совершенно неожиданных местах, и внезапный испуг, торопливо скрываемый в уголках глаз, чье общее улавливаемое выражение, включая цвет и движение век, выдавало давнее пристрастие к рюмке.

А ее уже вносили в старых толстого стекла граненых графинах, и была она в одних белого, а в других медового цвета, то ли перцовая, то ли облепиховая, а вносили ее две молодые бабы, пышущие румянцем и коровьей силой, белохалатные и вяло-халатные, что-то раскрывали и резали.

– Закусь-выкусь, – сочился чей-то алчущий голос этаким благородным полуматерком.

– Мясо должно дымиться и соком истекать, – опять тот же алчущий жирный голос.

– С прибытием...

– Очень рады...

– Добре пошло...

– Начнем с общего обхода?..

– Обменяться, так сказать, опытом...

– Что? С истории болезни?..

Масляные лица, умильное братство, рожденное обильным выделением желудочного сока, переступание и перестукивание копыт, которые черти в последнее время взяли в моду обувать в кованные сапоги: всего-то человек десять в помещении, а в их движении, поведении, хрипло-панибратских голосах безжалостно давящая самоуверенность пьяно-оловянного сторожевого дела, но ты-то, Кардин, каким витком оказался среди них?

Каким потоком мертвой воды через годы твоей жизни оттеснило от тебя, отнесло всех, кто был тебе дорог, близок дыханием и горечью понимания, и ты, уносимый водоворотом, видишь уже в дальнем далеке их бледные лики, вот уже и последнюю троицу, уменьшающуюся, как в перевернутом бинокле, вытесняемую из поля зрения разбухшим во все небо кладбищенским брюхом?

Каким потоком мертвой воды принесло тебя сюда, сдавило компанейским кругом опьяненных собственной сторожевой силой стучащей, оглушающих тебя волчьим своим дыханием?

Как незаметен спуск. Каждая ступень обставлена бытом и отвлекающими мелочами. Но вот оглянулся. Поражен: как глубоко опустился.

И сидишь в их застолье, чуточку выпиваешь, опираясь спиной о стенку, на которой карта, то ли области, то ли края, то и дело ог-

ПЕРМСКАЯ ОБИТЕЛЬ

(из книги «Лестница Иакова»)

Утром за ними прикатил старый, черный и длинный, как похоронная колымага, «Зим». За рулем сидел солдат, рядом с ним – грузный коротышка-майор, который изо всех сил пытался продемонстрировать интеллигентность и обходительность, что давалось ему с превеликим трудом.

Увидев это существо, Кардин вовсе замкнулся.

Падение было окончательным.

И надо было стать камнем, чтоб не разбиться при первом же ударе.

Издали – стены, колючая проволока, вышки, так напоминающие игрушечный ГУЛАГленд, – с казарменным кокетством заигрывали с окружающим впритык лесом.

Солдат у ворот взял под козырек. У стены караулки кормили овчарок, и эти собаки, обычно сдержанные, давились едой, яростно ворчали, языки их дымились, и дыбилась шерсть на загривках. Все встречные – солдаты, вольнонаемные, медсестры и, вероятно, студенты на практике, – с провинциальным простодушием старались подчеркнуть свою незаинтересованность прибывшими «высокими гостями», но широко раскрывали глаза и говорили преувеличенно громко.

Главный врач, высокий прямодушный мужчина с повадками медвежатника, крепко жал каждому из вошедших руку, не говорил, а рубил фразы, изредка поглядывая на сидящего сбоку человека, который, по всей вероятности, был высокий чин, но по случаю приезда «столичной психиатрии» надел гражданский костюм

П Р О З А

Ефрем БАУХ

Арнольд КАШТАНОВ

Дина РУБИНА

Леонид ГОМБЕРГ

Марк КОТЛЯРСКИЙ

ПОЭЗИЯ

Елена Аксельрод
Жизнь после смерти есть
98

Борис Камянов
Я одинок как плач кочевника
106

Лариса Володимерова
Отчизне все равно, где я вновь оживу
115

Илья Войтовецкий
Здесь мой желанный берег
121

ОЧЕРКИ, ЭССЕ, ВОСПОМИНАНИЯ

Игорь Губерман
Заметки о десятой музе
126

Елена Игнатова
Венедикт
138

ЦОМЕТ – ПЕРЕКРЕСТОК

Да будет свет на перекрестке
*

СОДЕРЖАНИЕ

Израиль

ПРОЗА

Ефрем Баух

Пермская обитель (из книги «Лестница Иакова»)

6

Свидетель События (из книги «Камень Мория»)

15

Леонид Гомберг

Вверх по лестнице, ведущей... вверх (о прозе Е. Бауха)

22

Арнольд Каштанов

Гостиница Царя Давида

25

Дина Рубина

«Один интеллигент уселся на дороге...»

56

Леонид Гомберг

Рыжий кот сестры Хармса

79

Контрабандистка

85

Марк Котлярский

Молния

93

Деревья стояли как вкопанные

94

Тихо и темно...

94

Альманах «Перекресток - Цовет» издается совместно
независимыми литераторами Израиля и России.
Произведения печатаются в авторской редакции.
Авторские права на произведения, опубликованные в альманахе,
принадлежат авторам.
Часть тиража этого выпуска распространяется в Израиле, часть – в России.

Альманах выпускается при участии фирмы

Шевя Кассров и Ко

П 27 Перекресток – Цовет: Литературный альманах. – Вып. 1. –
Тель-Авив – Москва, 1994. – 304 с.

ISBN 5-86225033-6

В первый выпуск альманаха «ПЕРЕКРЕСТОК – ЦОМЕТ» вошли произведения московских литераторов, ныне живущих в Москве, и тех, кто по тем или иным причинам покинул Россию, избрав местом проживания Израиль. Это проза, поэзия, публицистика, воспоминания, написанные в разное время и по разным поводам.

П 4702010000–12 Без объявл.
335(03)–94

ББК 84(2 Рос-рус)6

«Перекресток – Цовет»

Литературный альманах

В ы п у с к п е р в ы й

Редактор В.Е. Полищук
Технический редактор Т.С. Казовская
Менеджер выпуска Г.Т. Моськина
Компьютерная верстка О.Н. Емельяновой
Корректоры И.В. Алферова, В.Ю. Елгазина, Т.Г. Берзина

Сдано в набор 17.03.94. Подписано к печати 26.04.94. Формат 60 x 84 1/16. Бумага офсетная.
Гарнитура «Таймс». Печать офсетная. Усл. печ. л. 17,67. Уч.-изд. л. 17,0. Тираж 2000 экз.
ЛР № 070824 от 21.01.93 г.

Издательство «ИНФРА-М», 127247, Москва, Дмитровское шоссе, 107.
Типография «ПОЛИМАГ», 127247, Москва, Дмитровское шоссе, 107.

Ц О М Е Т

ПЕРЕКРЕСТОК

ЛИТЕРАТУРНЫЙ АЛЬМАНАХ

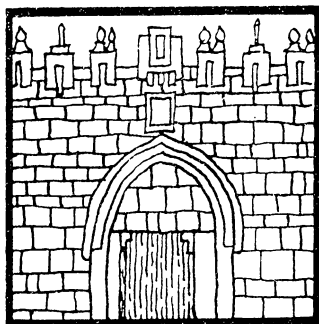
ВЫПУСК ПЕРВЫЙ

Главный редактор
Леонид Гомберг (Израиль)

Соредактор
Рада Полищук (Россия)

Составители выпуска:
Марк Котлярский (Израиль)
Рада Полищук

Художник
Марат Закиров (Россия)



Тель-Авив Москва
5754 1994



0066 426709 426709 410068 426709 410066 426709 426709 4100

ШОМЕТ
ПЕРЕКРЕСТОК

